ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ПОД ЗНАМЕНЕМ МАРКСИЗМА

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ФИЛОСОФСКИЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ЭКОНОМ. ЖУРНАЛ

№ 12
ДЕКАБРЬ

ИЗДАНИЕ ГАЗЕТЫ „ПРАВДА"
МОСКВА—1925

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ПОД ЗНАМЕНЕМ МАРКСИЗМА

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ФИЛОСОФСКИЙ И ОБЩЕСТВ.-ЭКОНОМ. ЖУРНАЛ

№ 12

ДЕКАБРЬ

ИЗДАНИЕ ГАЗЕТЫ „ПРАВДА“
МОСКВА—1925

Главлит № 53406. Тираж 4000 экз.

Типография из-ва „Правда“ и „Беднота“, Москва, Серебрянич. наб., д. 23 а.

СОДЕРЖАНИЕ.

Трибуна.

Библиография.

Сообщения и заметки.

Два вооруженных восстания.

1825—1905.

М. Покровский.

На последний декабрь пришлись сразу два революционных юбилея: столетний декабристов и двадцатилетний московских баррикад. Можно было опасаться, что они помешают друг другу—это опасение сквозило в первых статьях, ставивших юбилей 1905 года в порядок дня. Этого, однако, не случилось. Юбилеи мирно размежевались. Масса населения, в первую голову учащаяся молодежь и рабочие, обратила внимание только на двадцатилетие пятого года: а наша старая интеллигенция занялась декабристами,—о которых массы, увы, не вспомнили, хотя ежедневная печать, особенно сообщения о разных «открытиях» из Ленинграда, наводила их на это воспоминание достаточно усердно. И теперь можно определенно сказать: если бы юбилей пятого года не был поставлен, получилось бы чисто интеллигентское празднество, без масс или с массами в виде пассивных зрителей.

В чем же дело? Только ли в том, что московские баррикады для московских масс (о том, как проходили юбилеи в провинции, у меня пока нет сведений)—живое прошлое, на любой фабрике можно найти не один десяток рабочих, которые видели их своими глазами, тогда как о декабристах можно читать только в книжках? Но ведь интеллигенция о декабристах тоже знает лишь по книжкам, а видевших пятый год и среди нее порядочный процент. И в то время, как старики-рабочие «вспоминали» с большой охотой, что-то ни одного «вспоминателя» из беспартийной интеллигенции видеть не пришлось. А вот декабристы эту беспартийную интеллигенцию очень расшевелили.

И там, и тут вооруженное восстание. В чем же дело?

Сопоставление двух юбилеев очень поучительно в том именно отношении, что оно напоминает нам легко забываемую истину: есть революция и революция, есть н а ш е вооруженное восстание, и есть н е н а ш е, хотя тоже вооруженное и тоже восстание. Всякий класс делает революцию п о с в о е м у, и

как бы мы ни ясно себе представляли историческую закономерность чужой революции, она никогда нас не тронет так, как революция своего класса.

Кто такое были декабристы? Дворяне и помещики,—ответит всякий комсомолец. Это верно—и это очень характерно отразилось в их программах, так скупых в большей своей части на землю и на права для крестьян. Но почему же они взбунтовались против царя? Почему взбунтовались именно эти помещики, а не все помещики вообще? Почему другие помещики этих взбунтовавшихся помещиков не поддержали? В другом месте я старался показать, что для помещиков и буржуазии вооруженное восстание вообще не подходящий метод действия. И зачем помещикам была нужна республика? А все вожди декабристов, не только на юге, но и на севере, республиканцы.

Качество декабристов, как помещиков, определяет их только отрицательно: об'ясняет нам, чем они не могли быть, чего они не могли хотеть, почему от них за версту пахнет барином, почему они не желали принимать в свою среду купцов—и приходили в настоящий ужас, узнавая, что те или другие из наименее знатных членов водятся с мелкими чиновниками. Но их положительную характеристику, об'яснение того, что сделало именно этих дворян-помещиков революционерами, приходится искать где-то в другом месте.

И тут нам приходит на помощь николаевская следственная комиссия. Она каждому арестованному декабристу неукоснительно ставила три вопроса: 1) где он учился, и кто его учил? 2) какими науками он всего более интересовался? и 3) не слушал ли он каких-либо «особенных лекций», и если да, у кого и по каким предметам?

Комиссия подходила к ним именно не как к помещикам. Тогда спрашивали бы: где имение, сколько душ, какое хозяйство, какие отношения к крестьянам, и тому подобное. Комиссию интересовало не это. Об этом она не спрашивала. Ее интересовал не помещик. Ее интересовал интеллигент.

Якушкин нам рассказал, что офицеры Семеновского полка перед его восстанием в 1820 году,—а эти семеновцы дали основное ядро будущего военного заговора,—после обеда в полковой столовой «читали громко иностранные газеты и следили за происшествиями в Европе», и прибавляет, что—для офицерства, само собою разумеется,—«такое времяпрепровождение было решительным нововведением». Характеристику Якушкина, с иною, конечно, окраской, подтверждает и Николай I. В своих записках он отмечает, как один из разрядов подчиненного ему офицерства, «говорунов дерзких, ленивых и совершенно

вредных». «Сих последних,—прибавляет он,—гнал я без милосердия и всячески старался оных избавиться; что мне и удавалось. Но дело сие было не легкое, ибо сии-то люди составляли как бы цепь через все полки, и в обществе имели покровителей», умевших испортить репутацию ретивому великому князю, занимавшемуся изведением «говорунов». Что он и тут говорит правду, подтверждает показание одной придворной дамы, большой поклонницы Николая, но вынужденной констатировать: «Очень печально для великого князя Николая, что поведение его было столь неразумно; он вызвал ненависть и проклятия со стороны войск; его считают вспыльчивым, суровым, мстительным, скупым» [1]).

«Говорунам» не надо было попадаться на зубок. Они делали репутации, и со сделанной ими репутацией «свет» должен был считаться. Надо прибавить, что очень многие хорошо владели не только языком, но и пером. Не говоря уже о профессиональных литераторах из их среды Рылееве или Бестужеве-Марлинском, целый ряд декабристов из самых различных слоев, Волконский, Якушкин, Фон-Визин, Горбачевский, оставил нам мемуары, которые, в чисто литературном отношении, можно отнести к классической литературе этого рода. Словом, это были подлинные сливки тогдашнего дворянства. Когда эти сливки сняли и отправили в холодное место по ту сторону Байкала, осталось снятое молоко, интеллектуальная температура дворянского общества понизилась на несколько градусов,—это общество «поглупело сразу на три аршина», как сказал кто-то, чуть ли не Герцен.

Итак, декабристы были не просто дворяне, это была дворянская интеллигенция, и революционерами они стали не в силу своего дворянского звания, а потому, что они были интеллигенты, несмотря на свое дворянское происхождение.

Зачем понадобилась в то именно время т а к а я интеллигенция? Ответ мы найдем, если пересмотрим ответы декабристов на вопросы об их образовании и воспитании, задававшиеся следственной комиссией. Всякий раз оказывается, что допрашиваемый занимался прежде всего математикой и физикой, затем естествознанием вообще, затем интересовался философией и «политическими» науками: каждый из декабристов начинал с того, что нужно было для в о е н н о й науки, как раз в те дни складывавшейся на основе опыта революционных и наполеоновских войн. Европа стояла в ту эпоху накануне введения нарезного оружия, тяжелой артиллерии, стреляющей разрывными снарядами, расцвета инженерного искусства, первых опытов воен-

---

[1]) Из писем Гурьевой-Нессельроде,—«Красный Архив», X, стр. 267.

ного воздухоплавания («мечтания» на этот счет мы находим в 1830 годах у известного реакционного публициста и военного писателя, в то же время, Булгарина),—наконец, накануне железных дорог и парового флота, перевернувших вверх дном всю стратегию. Уже бунтовавших в 1820 году семеновцев перевозили в Кронштадт—для дальнейшей отправки в финляндские крепости, где они должны были быть заключены—на «паровых судах». Новое, основанное на науке, военное искусство стучалось в двери, и сливки военной интеллигенции спешили его усвоить. Разгром декабристов, помимо всего прочего, был не без вины и в двух десятилетиях русской военной отсталости, и в горькие дни Севастополя Николаю, вероятно, приходило иной раз в голову, что люди, которых он заслал на восток Сибири, были бы теперь куда полезнее на берегах Черного моря. В лице декабристов военная Азия, с ее культом холодного оружия и заваливанием противника телами солдат, столкнулась с военной Европой, начинавшей использовывать индивидуальность солдата и брать верх техническим превосходством. Или, еще лучше, тут спорили две эпохи военного искусства: тактика Семилетней войны, с ее армией-машиной, когда именно и сложилось все это обожествление «носка» и шагистики, и тактика войн Наполеона, где победу решала артиллерия.

Итак, мы получили еще один признак: декабристы были не только дворянской *интеллигенцией*, но они были еще и *военной* интеллигенцией. И поглядите, как, при свете этого признака, становится понятна тактика декабристов. Трубецкой, окончательно выяснив, что артиллерия будет на стороне противника, окончательно решил «никакого участия в деле не принимать»: ибо для всякого образованного военного было ясно, что итти с одной пехотой на пушки значит итти на гибель. «Хвостистская» тактика Трубецкого об'ясняет нам уже дальнейшее: почему он не сделал никакой попытки захватить артиллерию. Но почему он не захотел захватить только *пушки*, это ясно: опять-таки ему, как военному профессионалу, нужны были «воинские части», а не оружие само по себе. На Сенатской площади офицеры-декабристы мешали солдатам-декабристам стрелять в конницу: но в конной гвардии были члены общества, у кавалергардов тоже, и во сто раз было выгоднее заполучить к себе эскадрон-другой кавалерии,—и на это была надежда,—чем свалить с седла десяток-другой кавалеристов. Завербовав «Соединенных Славян», Бестужев-Рюмин прежде всего начинает делить их на пехоту и артиллерию. Восставший Черниговский полк двигается на соединение со своими «главными силами» к Гульчину и на пути находит гибель,—тогда как ничего не стоило захватить Киев, который был под боком, и где было

смятение великое. Сочувствие масс нигде не используется, ни в Петербурге, ни на юге, потому что массы, крестьян или городских мастеровых, это «хаос», «беспорядок»,—а «революция» должна итти стройными колоннами.

Прочтите, как набрасывает план предполагавшейся в 1826 г. революции Пестель: «Главное и начальное революционное действие Касильковская Управа предоставляла себе через третий корпус, к которому долженствовали присоединиться все те прочие войска 1 армии, которые к революции пристанут: действие по революционному значению второе, а по устройству временного правления важнейшее представлялось Петербургскому округу, а всем прочим членам и управам с директориею южного края предоставлялось действие по 2 армии и херсонским поселениям для составления при Киеве одного, так сказать, обсервационного пограничного и притом бездействующего корпуса». Это же не план революции, это военная диспозиция!

А если это еще и что-нибудь другое, то это план государственного переворота. И тут начинается горькая и жестокая ирония истории. Когда большевики взяли в октябре 1917 года власть, опираясь, отчасти, на перешедшие на сторону революции военные силы, интеллигенция с презрением отказывала совершившемуся событию в названии «революции». «Здесь не было народных масс,—гордо, и облыжно, ибо массы тоже были,—заявляла она: это все солдаты сделали». Ну, а у Пестеля кто должен был действовать? Не те же солдаты, только не «разложившиеся», то-есть приобретшие революционную инициативу, сами решавшие, на чью им сторону стать, а солдаты, скованные традиционной палочной дисциплиной, которая как раз в полку Пестеля стояла особенно высоко? Характерно, что декабристы, на рассвете своей деятельности решительно выступившие против телесных наказаний в армии, по мере того, как дело стало подходить к развязке, возвращались к старым приемам дирижирования солдатской массой. Даже агитация среди солдат должна была итти в порядке военной иерархии: агитацию должен был вести каждый командир в своей роте, «начав с унтер-офицеров»; а когда агитация охватила бы уже значительное количество людей, разагитированные солдаты, «гласные», должны были стать как бы руководящим слоем роты, которому остальные, «безгласные» солдаты должны были слепо повиноваться.

Всегда и во всех случаях сверху, никогда снизу. И это девиз уже не только военных профессионалов, а интеллигенции вообще. Тут вам и «критически мыслящие личности», и «герой и толпа», и все, что проповедывалось эсерами всех поколений и уперлось в культ Керенского. Что

революцию делают только массы, что «делать революцию» это и значит поднимать массы, что без масс будет, действительно, не революция, а государственный переворот, этого не видели—и не видят до сих пор, ибо иначе это где-нибудь, в какой-нибудь оценке декабристов проглянуло бы. Это захотели увидеть только один раз, ослепленные классовой ненавистью,—и этим признались, что разницу между революцией и государственным переворотом отлично понимают. Но тогда должны понимать и разницу между революцией и выступлением декабристов. Их идеология была революционна—в их практике пока ничего еще революционного не было.

Декабристы, в массе, это—люди, которые очень хотели быть революционерами, но не в силах были вылезти из своей классовой и профессиональной кожи, и потому революционерами не сделались. В этом ключ к тому раздвоению, которое так печально выявилось потом на допросах. Стойкость революционеру перед лицом захватившей его в лапы чуждой силы дает именно сознание связи с массой, сознание гибели за общее дело. Вот почему позднейший революционер становился тем более стойким, чем ближе подходил 1905 год. У декабристов, за единичными исключениями, этого сознания не было—было оно у отдельных единиц, как раз почти сливавшихся с солдатской массой. Их поединок с самодержавием был их личным делом. Они оправдывали свое выступление, конечно, намерением облагодетельствовать массы,—но опять сверху. Пестель считал необходимыми 8—10 лет диктатуры, «временного правительства», т.-е. своей личной диктатуры, ибо временное правительство должно было составиться из его кружка: на этот период времени падало не только все землеустройство, но и определенные акты внешней политики, например, освобождение Греции,—при чем эта война должна была и «умы занять», т.-е. служить средством отвлечения общественного мнения от внутренней политики.

Восстание декабристов было интеллигентской революцией в самом подлинном смысле этого слова. Массы в нем участвовали лишь постольку, поскольку руководители «не досмотрели», «не предвидели» или физически не в силах были участию масс воспрепятствовать.

Первым результатом было то, что, даже имея в руках оружие, им, в сущности, не воспользовались: ни на Сенатской площади, ни под Трилесами боя не было—был односторонний расстрел. Вторым было то, что непосредственный моральный эффект восстания был ничтожный. Декабристы стали маяком, освещающим дорогу русской революции, гораздо позже—когда, к 40—50 годам, сложилась «революционная легенда 14 де-

кабря». Непосредственно же Николай так мало был испуган, что на другой же день после восстания решился произвести смотр одному из бунтовавших полков—Гвардейскому экипажу,—явно не опасаясь быть застреленным, и вернул ему знамя. Приняты были только меры, чтобы помешать возможным преемникам декабристов исправить их ошибку, и опереться на массу: в этой связи был дан ряд рескриптов, имевших в виду снискать симпатии крепостных крестьян, открыт первый тайный комитет по крестьянской реформе (6 декабря 1826 г.), сменен Аракчеев и прекращено дальнейшее развитие каторги военных поселений и т. д. Но непосредственно декабристов боялись лишь до тех пор, пока было не ясно, что это за движение и какова его тактика,—то-есть в течение первых 24 часов.

Таков был исход движения, мыслившего, как мы видели, корпусами и армиями, и имевшего реально в руках полки и бригады, т.-е. тысячи и десятки тысяч штыков.

И если воспоминание о пяти виселицах и сотнях каторжников Петровского завода оживляло в ряде поколений русской интеллигенции ненависть к самодержавию, то идею собственно вооруженного восстания декабристы скомпрометировали надолго. Если уже этим генералам и полковникам не удалось поднять сколько-нибудь серьезной, сколько-нибудь грозной для царя вооруженной силы, чего же было ждать от студентов и «разночинцев»? Даже когда в рядах народовольческих военных организаций оказалось офицеров, по количеству, не меньше, чем было в декабристских обществах [1]), вопроса о вооруженном восстании не было поставлено. До Ленина и большевиков никто не осмеливался поставить вооруженное восстание в порядок дня революции.

Когда это было сделано в 1905 году, «благоразумные» люди пожали плечами, вспоминая не только неудачу декабристов, но и более свежие опыты, Парижскую Коммуну («60 тысяч войска было и 1000 пушек!»), а кстати и соответствующие статьи Энгельса. Конечно, всякое сумасбродство может быть, но вооруженное восстание! Кого—студентов и рабочих? Где—в России, с ее миллионом штыков царской армии? «Благоразумным» людям было ясно, что это безумие. И когда декабрьские баррикады кончились, действительно, неудачей, пожатие плеч повторилось,

---

[1]) До 600 по самой широкой оценке, не менее 200 по наиболее реалистической приблизительно так же колебались «широкие» и «узкие» рамки декабристов, людей, формально принадлежавших к заговору, и людей, лишь «прикосновенных» к нему более или менее издалека: «алфавит» Николая I содержит в себе 579 имен, в том числе 456 офицеров; суду был предан 131 человек и 121 были наказаны в административном порядке, т.-е. «активных» было 255 человек из 579.

но уже с видом торжества: мы же говорили! Как же можно было не предвидеть заранее? И в заключение, как припев, слова великого русского революционера, начинавшего превращаться в величайшего обывателя,—«не нужно было браться за оружие». К «примерам» докабристов, Коммуны и Энгельса прибавился еще один [1]).

Но по другую сторону баррикады, где дело шло о собственной шкуре, «пример» расценивали иначе. Одним из наименее удачных образчиков вооруженного выступления всеми считалось ноябрьское, севастопольское. И однако вот как о нем отзывался разгромивший его генерал, Меллер-Закомельский: «Сводя изложенное, заключаю, что малейшее колебание в верности служебному долгу белостокского полка и прочих, перечисленных выше, частей привело бы к тому, что весь флот, крепость, город были бы в руках мятежников, что повело бы к бедственным последствиям».

Уж чего бедственнее! А для предупреждения возможности повторения этого бедствия, Меллер-Закомельский предлагал такие меры (выписываю буквально): «Для предотвращения на будущее время опасности возникновения мятежа, полагал бы необходимым принять нижеследующие меры: 1) Расформировать Черноморский флот, начиная с адмиралов, штаб- и обер-офицеров, не оказавшихся на высоте положения. Убедился, что есть отличные офицера, нужен только тщательный, умелый подбор. 2) Из команд оставить только вполне благонадежных. 3) Держать людей на судах и, по возможности, никого на берегу. 4) Новобранцев не присылать, пока предыдущее не будет выполнено. 5) Местопребывание главного командира Черноморского флота перенести в Николаев.—Все офицеры жалуются на дискредитирование их власти в глазах команд вице-адмиралом Чухниным, а команды—на дурное довольствие и обмундирование, несмотря на достаточные отпуски от казны, благодаря злоупотреблениям портового начальства. 6) Командиры судов и экипажей не знают своих людей и даже способности и годности своих офицеров, вследствие постоянных перемещений тех и других с одного судна на другое. Это существенно важно устранить. 7) Сомкнуть горжи береговых батарей и устроить в них

---

[1]) Мне пришлось оставить за границей, вместе с письмами Ленина, и письмо одного московского большевика, умершего весною 1907 г., члена нашей литературной группы, М. Г. Лунца («М. Васильевский»). Уже очень тяжело больной, он должен был, тотчас после декабрьского восстания, уехать на итальянскую Ривьеру, где жил в одном пансионе с Плехановым. Лунц дает в этом письме бесподобную картину своих бесед с «основоположником», рисующих последнего уже тогда политически вполне мертвым человеком, способным только брюзжать по поводу «ошибок».

казармы для рот крепостной артиллерии. 8) Построить господствующее над городом и рейдом сильное укрепление с могущественной артиллерией, безопасное от атаки открытою силою, с постоянным гарнизоном. 9) Обезопасить все склады боевых припасов, оружия, мин и самый порт стенами и решетками от внезапного нападения. 10) Усилить гарнизон, приведя полки и крепостные батальоны в военный состав, и обратить внимание на пополнение их благонадежными новобранцами. 11) Сосредоточить власть военную и гражданскую исключительно в лице коменданта крепости. 12) Выселить всех евреев из крепостного района. 13) Земли, принадлежащие морскому ведомству, раздать русским крестьянам, на правах собственности, увеличив тем благонадежный элемент в крепости. 14) Морские казармы отдать пехоте. 15) Квартиры для командиров и офицеров выстроить при казармах своих частей. Такой мерой достигается возможность вызвать в наикратчайший срок войска по тревоге и обеспечить безопасность офицерских семейств».

Крепость против внешнего врага предполагалось обратить в крепость против врага внутреннего... И это—что вооруженную силу надо направить внутрь, а не наружу—было вовсе не панической фантазией Меллера-Закомельского, перепуганного до того, что он позабыл о николаевских металлических заводах с их двадцатитысячным пролетариатом и проболтался о воровстве адмирала Чухнина. Писавший в спокойной петербургской обстановке Витте рассуждал точно так же. «Войска были расставлены так или иначе по соображениям стратегическим, а не внутренней политики (!),—жаловался Витте в одном из докладов Николаю.—Теперь войска должны быть призваны главным образом для борьбы со смутою и для поддержания государственных устоев. Очевидно, при таких условиях, дислокация должна быть сообразована с внутренними потребностями государства и соответственно соображениям лиц, на коих ваше императорское величество изволили возложить внутреннюю политику. Ни я, ни министр внутренних дел не только не посвящены в численность военных сил и их дислокацию,—но вся наша деятельность в этом отношении ограничивается просьбами, обращаемыми к военному министру. Когда начались беспорядки в Москве, было ясно, что тамошним войскам не справиться. Подкрепления были отправлены после того, как генерал-губернатор и я несколько дней безуспешно хлопотали о посылке войск. Для меня ясно, что в Прибалтийском крае войск мало, с этими силами генерал-губернатору скоро не удастся раздавить восстание. Можно ли послать еще войска или нет, не знаю. Из прилагае-

мои телеграммы временного харьковского генерал-губернатора обнаруживается, что и там войск недостаточно. То же мне сообщает на мои понуждения наместник и командующий войсками Одесского округа. Та же несогласованность действий, как и наверху, проявляется иногда и на местах, вследствие неудовлетворительности законов. Новый закон по этому предмету внесен в Государственный Совет, но там несколько замедлился. Я просил председателя Государственного Совета поспешить. Нужно выяснить наши силы, их недостаточно, необходимо немедленно прибегнуть к формированию рода ополчения. Оставаться зрителем грядущих событий невозможно,—нельзя терять время и, как ваше величество изволите указывать, постоянно опаздывать».

К этому «ополчению»—вот когда идея белой гвардии-то явилась!—Витте возвращается неоднократно: оно ему казалось особенно важным для подавления аграрных беспорядков, которых он ждал на весну. Но пока еще и только что подавленное в Москве и других пролетарских центрах вооруженное восстание повергло в панику тех, кто его разгромил—и паника эта передавалась Николаю и Витте. Крайне интересно следить спор между этими двумя верхушками всей системы и их исполнительным органом, только что разгромившим Пресню Дубасовым, из-за Семеновского полка, рисовавшегося всем участникам переписки, очевидно, единственной вполне благонадежной воинской частью. Витте очень трусил приближавшейся годовщины «кровавого воскресения». «Так как везде нет достаточно войск,—писал он Николаю,—то все начальники, раз к ним попала какая-либо часть, стараются ее удержать у себя. Точно так генерал-ад'ютант Дубасов усиленно старается удержать у себя Семеновский полк. Хотя там войск мало, что усиливается слабым составом высших начальников, тем не менее я считаю неосторожным оставлять там далее Семеновский полк. По моему мнению, его необходимо до Нового года вернуть в Петербург. Я опасаюсь 8 января».

Подстегнутый страхами Витте Николай шлет в Москву одну настойчивую телеграмму за другой. «Москва. Генерал-губернатору. Подчеркнутое шифром. Когда вы думаете отпустить Семеновский полк? Прошу его не задерживать в Москве».—...«26 декабря 1905 г. Москва. Генерал-губернатору. Лейб-гвардии Семеновский полк подлежит возвращению в Петербург 31 декабря. Николай».

Но только что одержавший на Пресненских прудах победу адмирал,—за это он требовал производства его в следующий морской чин,—несмотря на всю гордость и радость победителя, все же имел душу в пятках, или где-то очень близко от них.

В своей, слишком длинной, чтобы целиком воспроизводить ее здесь, ответной телеграмме, датированной 22 декабря, т.-е. почти на другой день после расстрела Пресни, Дубасов изображает дело так: «Силы мятежников (!) сломлены и рассеяны»,—но не уничтожены: мятежники только «отступили», отступили в окрестности Москвы, оставив «на театре действия, хотя и рассеянных, но самых непримиримых и озлобленных бойцов, которые, заранее обрекая себя на жертву преступной борьбы, видимо, решились продолжать ее, хотя бы и одиночными силами, до последней крайности. Эти бойцы укрываются еще в некоторых квартирах города». «Но, оценивая общие результаты беспримерной прискорбной борьбы, совершавшейся в эти тяжелые дни, я не могу признать мятежное движение совершенно подавленным, главные руководители его, почувствовав близость поражения, рассеялись и бежали, унося нити заговора и намерение продолжать свое преступное дело. Часть таких беглецов скрылась в тайниках, окружающих Москву, и эта часть может снова выступить, если почему-либо почувствует себя сильною. Чтобы считать дело оконченным, надо очистить эти тайники, для чего понадобится целый ряд отдельных экспедиций, которые и намерен предпринять в ближайшем будущем, как только цели ясно обозначатся».

Бедный адмирал, только что переживший осаду в черте бульваров, видел себя теперь осажденным по линии Камер-Коллежского вала и не находил никакой возможности удержаться на этой линии без помощи семеновцев. «Позволяю себе пояснить,—пишет он далее,—что до прихода Семеновского и Ладожского полков, гарнизон располагал для активных действий лишь 1.350 штыков, и этою силою можно было удерживать только положение, занятое в центре города, оставляя все станции железных дорог и все окраины города открытыми. Эти станции и эти окраины были заняты, благодаря прибытию новых 1.200 штыков, и, благодаря этому же прибытию, сопротивление мятежников было сломлено, а все главные скопища их отброшены за пределы столицы».

В дальнейшем «скопища» мятежников превращаются уже «в отступившую мятежническую армию». Читая это донесение Дубасова, со всею очевидностью представляешь себе, до какой степени мы были близки к победе в декабре 1905 года. Не подлежит никакому сомнению, это не домысел историка, а просто факт, что если бы мы сумели использовать ростовцев и саперов, которые шли нам в руки, которых мы не умели взять и повести за собой, и если бы железнодорожный союз сумел остановить Николаевскую дорогу, вторая столица империи была

[illegible] в руках революции. А каким моральным ударом по правительству было бы красное знамя, поднявшееся над Кремлевским дворцом в 1905 году, это трудно себе даже представить, — но не будет чересчур смелым предположить, что февраль 1906 года оказался бы похожим на февраль 1917.

Но что говорить о моральном ударе, когда материальное положение самодержавия было таково, что через три дня после цитированной телеграммы Дубасова Витте отправил свою знаменитую телеграмму в Париж Коковцову: «Не лучше ли вовсе прекратить размен?». Поражение Москвы в самом буквальном смысле спасло самодержавие. А победа Москвы, которая, как мы сейчас видели, представлялась об'ективно вполне возможной самим победителям над Москвой, самодержавие погубила бы.

Надо было не воздерживаться от употребления оружия, а действовать им более смело, более энергично, с большей верой в его силу, чем это делалось. Потому что теперь оружие было в руках не кучки интеллигентов, распоряжавшихся сверху, а в руках самой народной массы. Вот почему эта масса и вспоминает, с правильным классовым чутьем, вооруженное выступление декабря 1905 года, хотя и окончившееся поражением, но обещавшее победу. А движение 1825 года навсегда останется примером революции, самой своей классовой природой осужденной на неудачу.

Из материалов и документов по истории материализма в России.

Извлечения Н. Д. из «Социальной системы» Гольбаха.

И. Луппол.

1.

Нам уже приходилось указывать, что замалчивание, прямое игнорирование и просто пренебрежительное отношение к истории материализма характеризует не только западно-европейских буржуазных историков, но и историков философии, общественной мысли, литературы и т. п. и у нас в России. За весьма малыми исключениями мы ничего не знаем о путях развития у нас материализма.

Если с историей диалектического материализма дело обстоит более или менее благополучно по той простой причине, что история у всех еще «на памяти», если, напр., Чернышевский насчитывает несколько монографий, то путям и проселкам материалистической мысли в России XVIII века (с какого времени, собственно говоря, и следует начинать розыски у нас философского материализма) определенно не везло.

Религиозно-философская мысль отражена в соответствующих исследованиях более чем достаточно. Масонство, в частности мартинизм оказался в особо выигрышном положении. В свое время А. Н. Пыпин дал почти исчерпывающий список масонских лож; позже Г. Вернадский составил,—мы бы сказали с особой старательностью,—длинный список русских масонов, достоверных и, так сказать, «подозрительных» по масонству («несомненных масонов» и «вероятных»—по выражению автора), особо выделив розенкрейцеров [1]); он же дал подробный список масонской мистической литературы; наконец, Семенников в недавнее время дал обширную библиографию изданий известного масона Н. И. Новикова. Все это, вместе с оригинальными исследованиями указанных и других авторов по масонству, действительно, дает возможность составить картину развития мистической и полумистической мысли в России XVIII в.

Слов нет, масонство было значительнейшим явлением в общественной и интеллектуальной жизни России XVIII века. A priori можно сказать, что материалистические веяния были значительно

[1]) Г. В. Вернадский, Русское масонство в царствование Екатерины II, Пгр. 1917.

скромнее по своим размерам, но все же эти веяния в меру объективных возможностей у нас были... Однако, чтобы вскрыть их, приходится итти на поистине мучительные поиски, приходится производить первоначальную черновую работу, так как хоть сколько-нибудь обработанных материалов в этом отношении по вполне понятным причинам не было и нет.

Значительная доля материалов, несомненно, должна выразиться в переводах с французского на страницах наших старинных журналов и книг. Пути развития материализма в России шли в значительнейшей степени по рельсам переводов с иностранных языков, переделок, заимствований и подражаний западной материалистической мысли. Это ни в коей степени не должно унижать русского материализма, ибо именно указанным путем совершались у нас усвоение и переработка материалистических идей стран, более развитых в экономическом отношении.

На самом деле, если оставить в стороне марксизм, XIX век у нас характеризуется русским фейербахизмом и довольно сильным влиянием естественно-научного материализма Бюхнера, Фохта и Молешотта. Аналогично этому в XVIII веке мы должны иметь влияние французского материализма; если говорить об именах, то перед нами встанут хорошо в наши дни известные имена Ламеттри, Дидро, Гельвеция, Гольбаха, Робинэ.

Воздерживаясь до окончания предпринятых изысканий от решительных выводов, мы все же сказали бы уже сейчас, что Ламеттри у нас и мало читали, и мало знали, и, пожалуй, вовсе не переводили. Мыслитель ушел из жизни слишком рано (1751), для того, чтобы Россия могла его узнать. Развитие нашей литературы XVIII века как-никак приходится на царствование Екатерины II. Дидро был известен как редактор «Энциклопедии» и автор пьес и романов. Его основные материалистические произведения (диалоги, «Возражения на книгу Гельвеция о человеке», «Элементы физиологии») были опубликованы значительное время после смерти автора. Гельвеция, конечно, читали, ценили и переводили, и именно поэтому «гельвецианство» следует выделить как самостоятельную тему. Робинэ, как это ни странно, был известен в России и одну его работу, правда, перевод и переделку с английского, перевели у нас в провинции [1]). Остается, таким образом, Гольбах.

Гольбах был известен в России, как последовательный атеист, и именно это обстоятельство стояло непреодолимой преградой к русскому переводу его на страницах легальных изданий. Тем не менее, на основании изученного материала, мы могли бы сказать, что Гольбаха у нас переводили и печатали значительно больше, чем можно было бы думать. Переводили отрывки из произведений Гольбаха, не только не афишируя его имени, но, наоборот, тщательно его скрывая. В этом между прочим и заключается та «мучительность» розысков, о которой мы говорили выше.

Не повторяя того, что уже было сказано о переводах из «Системы природы» и «Всеобщей морали» Гольбаха в другом ме-

[1]) Философское рассуждение о человеке и его превосходствах, содержащее в себе сравнение состояния и способностей человеческих с состоянием и способностями других животных, сочиненное на английском языке, переведенное на французский г. И. В. Робинэтом, которое на российский язык переложил Петр Соколовский. Воронеж, в типографии губернск. правл. 1800, in 8.—В свое время мы вернемся к этому переводу.

сте [1]), мы хотели бы в настоящей заметке (которая не претендует ни на что другое, как только быть «страничкой из материалов по истории материализма в России») остановиться еще на одном своеобразном переводе из Гольбаха.

В 1805 году в Петербурге, в типографии Савинкова была напечатана «с дозволения указного» книга под названием: «Ручная книжка человека и гражданина, или рассуждение о должностях общежития» (203 страницы в восьмую долю листа). В книге нет ни предисловия, ни обычного для XVIII века посвящения. Из текста титульного листа не видно, представляет ли собою книга перевод или оригинальное произведение.

Книжка эта значится у Смирдина [2]) под № 1214. Выписан титульный лист, и только. У Сопикова же под № 5265 после заглавия книги добавлено в скобках: «Из книги Système social» и после скобок: Н. Д. Естественно, что эти добавленные слова не могут не заинтересовать историка материализма в России, ибо невольно вспоминается «Социальная система» Гольбаха.

Беглый просмотр книги слегка озадачивает читателя, ибо ни размеры, ни названия глав не совпадают с «Социальной системой». Книжка делится на следующие, не имеющие нумерации главы: «Человек», стр. 1—33; «Философ», стр. 33—50; «Интерес, польза, корысть, выгода, прибыток», стр. 50—62; «О должностях человека или о нравственной его обязанности», стр. 62—75; «Надежда», стр. 75—81; «О добродетели», стр. 81—132; «Порок», стр. 133—203. Из всех этих названий глав только четвертое является прямым переводом названия седьмой главы первой части «Социальной системы: «Des bevoirs de l'homme ou de l'obligation morale».

Кто был этот Н. Д. и откуда у Сопикова эти инициалы, вставленные без всяких пояснений? Очевидно, отношение Н. Д. к книге было известно какому-либо современнику, или должны были быть какие-нибудь косвенные указания. Историку, живущему в XX веке, остается один выход—детальное изучение литературы XVIII века. При этом имеется риск проделать работу, быть может, уже раз кем-нибудь выполненную. Изучение журнальной литературы открывает в этом отношении следующий любопытный факт: все перечисленные главы были напечатаны в 1786—1787 г.г. в качестве статей в журнале «Зеркало Света» [3]). Подавляющее большинство статей подписаны инициалами Н. Д. Таким образом, «Ручная книжка» 1805 года является простым сборником статей из «Зеркала Света» 1786—1787 годов и принадлежит она, действительно, Н. Д.

Кто же был этот Н. Д. и как, по крайней мере, была его фамилия? Просмотр наших бедных библиографических указа-

---

[1]) «Русский гольбахианец конца XVIII века» (И. П. Пнин) в «Под Знаменем Марксизма» № 3 за 1925 г.

[2]) «Роспись российским книгам»... Александра Смирдина, СПБ., 1825. В. Сопиков. Опыт российской библиографии, СПБ., 1904 и сл.

[3]) Они были напечатаны в следующем порядке: 1786 г. «Человек», №№ 41, 43, 44; «Философ», № 46; «Интерес, польза, корысть, выгода, прибыток», №№ 47, 48; «О должностях человека или о нравственной его обязанности», № 48; «Надежда», № 49. 1787 г. «Добродетель», №№ 54, 67, 70, 75, 76; «Порок», №№ 77, 78, 79, 80, 86, 91, 92.

телей и справочников и проверка их по книгам дают следующий материал (мы располагаем его по годам):

1766. Даира, восточная повесть, перевод с французского, Н. Д., Москва. Посвящение Г. А. Толстому подписано: Н. Даи...
1769. Невинное страдание, или бедственная верность Леоноры Де... перев. с франц. Москва.
1770. Злосчастное замужество девицы Гарви, перевод с франц. Н. Д., Москва.
1781. То же самое, издание второе, Москва.
1782. Невинное страдание и т. д., издание второе, «с присовокуплением к оной повести: о молодой и веселой женщине и о ревнивом ее угрюмом муже, и т. д.», Москва.
(Как первое, так и второе издание анонимны, принадлежность их Н. Д. удостоверяется Сопиковым №№ 6810, 6811 и Смирдиным № 9047).
1786—1787. Указанные выше статьи в «Зеркале Света» (большей частью подписаны Н. Д.), Петербург.
1792. Злосчастное замужество... перев. с франц., издание третье.
1793. То же самое, перев. с франц., Н. Д., изд. четвертое.
1794. Даира, издание второе, Москва.
1801. Ручная книжка и т. д., Петербург.

Прежде всего встает вопрос: одно ли и то же лицо Н. Д., автор-переводчик «Ручной книжки», и Н. Д., переводчик сантиментальных повестей в духе слезливой и мещанской беллетристики XVIII века? Вопрос законный, но, к сожалению, пока на него можно ответить лишь предположительно. Как будто бы против их тождества говорит, во-первых, разносюжетность переводов: один переводил сантиментальные повести, а другой серьезные рассуждения материалиста Гольбаха; во-вторых, повести Н. Д. издавались систематически в Москве, «Зеркало же Света» и «Ручная книжка» выходили в Петербурге.

Однако на эти возражения можно ответить следующее: во-первых, в поисках заработка один и тот же Н. Д. мог переводить и Гольбаха и ходкие на книжном рынке XVIII века «Невинные страдания» и «Злосчастные замужества»; во-вторых, как известно и как будет показано дальше, «Социальная система» Гольбаха не является той работой, в которой мыслитель развивал свой, так сказать, космический материализм. «Социальная система» есть по преимуществу этическая и социально-этическая работа; в ней Гольбах пытается исследовать «естественные принципы морали», «естественные принципы политики» и, наконец, «влияние системы управления на нравы». Иначе говоря, здесь мы имеем этический натурализм, физиологический материализм, примененный к вопросам морали, и, наконец, то, что в другом месте мы назвали «политизмом» или своего рода «политическим материализмом» XVIII века [1]), когда полагают, что не экономика, а политика определяет, скажем, нравы и идеи. Этическая концепция Гольбаха, которая, конечно, не может быть названа выдержанно и последовательно материалистической, хотя бы в силу своей абстрактности, универсальности и антиисторичности, не так уж сильно идет в разрез с «моралью» буржуазной беллетристики XVIII века. Идеальные в глазах буржуазии того времени добродетели и не менее «идеальные» пороки оказывались идентичными как на страницах моральных произведений Гольбаха, так и на страницах моральных повестей писателей; и там и здесь, лишь

[1]) См. нашу работу: «Дени Дидро. Очерки жизни и мировоззрения», М. 1924, гл. IX.

в ранней форме, показывали прелести добродетели и гнусности порока, и там и здесь призывали к первой и отговаривали от второго. Поэтому наш Н. Д., переходя от какой-нибудь «Даиры» к «естественным принципам морали» Гольбаха, менял не сюжет, не тему, не содержание, а лишь форму литературного произведения.

В-третьих, следует отметить, что после переводов из Гольбаха в «Зеркале Света» он не возвратился к переводу беллетристики: между 1786 г. и 1805 г. выходили лишь вторые издания его переводов повестей. Вполне допустимо предположение, что в солидном возрасте Н. Д. отошел от переводов беллетристики и сосредоточился на теоретических произведениях.

В-четвертых, Москва и Петербург, как различные места изданий переводов, не являются решающим мотивом, ибо и в XVIII веке связь между этими городами и переезды из одного в другой были далеко не редки. В-пятых, напротив, рискованным было бы утверждение, что Н. Д., переводчик из «Зеркала Света», несомненно принадлежавший к русской «литературной республике», решил в 1786—1787 г.г. скрыть свое имя под инициалами Н. Д., в то время как в 1766, 1769, 1770, 1781 и 1782 годах появлялись уже книги под этими инициалами (если даже отбросить анонимное «Невинное страдание», то остаются года: 1766, 1770, 1781). В-шестых, сорок лет, от 1766 г. по 1805 г., вполне укладываются в рамки жизни одного писателя. В-седьмых, все работы Н. Д. являются переводами с одного языка, французского.

Все эти соображения приводят, как будто, к достаточно твердому выводу о том, что мы имеем дело с одним переводчиком Н. Д.

Как сказано, посвящение «Даиры» подписано Н. Дан... Этой «восточной повестью» в детские годы зачитывался «чувствительный» Н. М. Карамзин. На стр. 432 «Утра» [1]), в примечании к статье о молодых годах Н. Карамзина, открыто имя переводчика «Даиры». Это Н. Даниловский.

Говорит ли что-либо эта фамилия? К сожалению, ровно ничего. В полном сознании возможных пробелов в своих розысках мы должны сказать, что пока нам не удалось установить никаких данных о Н. Даниловском [2]).

Наиболее солидные разыскания о старинных русских писателях и переводчиках ничего о нем не говорят. Так, напр., у Г. Геннади в его известном «Справочном словаре о русских писателях и ученых» ни имени нашего Н. Даниловского, ни инициалов его нет; «Ручная книжка» остается анонимной. У С. А. Венгерова в «Источниках словаря русских писателей» (т. II, СПБ. 1910) значится только: «Даниловский, Н.—переводчик (1766—1794). Приходится думать, что указанные годы означают не годы рождения и смерти, что было бы вовсе не верно,—а годы выхода первого и второго изданий «Даиры». В. В. Сиповский в своих двухтомных «Очерках из истории русского романа» не приводит даже инициалов Н. Д.; он же в своей библиографической работе

[1]) «Утро», литературный и политический сборник, издаваемый М. Погодиным, Москва 1866.

[2]) Пользуемся случаем выразить благодарность Н. К. Пиксанову, близко принявшему наши сомнения в процессе розысков и помогшему нам библиографическими указаниями.

«Из истории русского романа и повести» знает лишь, что Н. Даниловский—переводчик «Даиры». Таким образом, насколько нам известно, Н. Д., как человек и писатель, был совершенно забыт позднейшими исследователями.

Очевидно, это—одно из скромных и забытых литературных имен. Будем думать, что рано или поздно это имя удастся так или иначе осветить в печати.

2.

Отнюдь не желая видеть в лице Н. Д. последовательного гольбахианца и во всяком случае не большего, чем И. П. Пнин, мы хотели бы ознакомить читателей на страницах настоящей заметки с его переводом Гольбаха и с его собственными добавлениями.

Первая глава «Ручной книжки» называется: «О человеке». Это как бы предопределяет содержание всей книжки. Н. Д. интересуется человеком и его поведением, а не природой; это обусловливает и выбор им мест из Гольбаха; это же, наконец, в глазах современного нам материалиста несколько умаляет интерес к Н. Д., ибо, как известно, в трактовке общественного человека французские материалисты были значительно слабее, чем, напр., в понимании,—в их терминах,—человека физического.

Тем не менее, автор, берущийся рассуждать о человеке, должен определить место человека в природе. Эту проблему Н. Д. разрешает самостоятельно и отнюдь не в духе французского материализма. У него мы имеем скорее деистическое решение вопроса. «Человек,—говорит он в начале первой статьи,—бытия своего не есть творец, а потому признательность и самое врожденное в нем повиновение, побуждают его пасть в покорности духа к невещественным стопам бога, непостижимым своим провидением об'емлющего миры и оживотворяющего населяющие их существа, которых бесчисленность и разнообразие с виною их пребывания и порядком их зарождения, переменения и превращения от понятия человеческого сокрыты»[1]).

Если даже согласиться, что ярко здесь выраженная деистическая точка зрения является лишь словесным покровом,—ибо в дальнейшем она почти не чувствуется,—то не менее ярко выраженный агностицизм Н. Д. проникает все его рассуждения на данную тему. У самого Гольбаха он заимствует как раз те мотивы, которые уже неоднократно давали повод (нужно сказать, необоснованный) причислять автора «Системы природы» к агностикам. Так, в главе шестой «Системы природы» Гольбах писал: «Человеку не дано знать всего; ему не дано познать своего происхождения; ему не дано проникнуть в сущность вещей и добраться до первых принципов». Но отсюда Гольбах делал вывод, что, следовательно, и о божестве, и о творении мы также не имеем права говорить. У Н. Д., строго говоря, мы имеем такой же логический вывод, но предварительно он все же делает реверанс божеству. «О, человек,—говорит он,—размышляй только о том, что ты брошен на точку пространства вселенной обожать непо-

[1]) Стр. 1—2. Все цитаты из Н. Д. приводятся не по «Зеркалу Света», а по «Ручной книжке». Никаких вариантов в этих двух текстах нет.

стижимое существо... и, наконец, не рассуждать, а бредить (курсив Н. Д.) о первоначальных причинах всех слабыми твоими глазами видимых действий». Если размышления о «первых причинах» есть бред, то ведь и размышления о «непостижимом существе», как первой причине всего сущего, также оказываются бредом!

Наш автор, ибо на первых страницах книжки Н. Д. является автором, в поисках сущности человека обращается к ряду древних и новых авторов, к Платону, Плутарху, Марку Аврелию, Монтеню, Попу и Шафтсбери («Попе и Шастерборн» — как переделывает он эти имена на русский язык XVIII века), к Ричардсону, Мариво, Ж.-Ж. Руссо, к Вольтеру, Бюффону, «бессмертному Гельвецию», наконец, к Монтескье. Ни один из них не удовлетворяет автора.

Любопытство его узнать, «что есть человек» — признается Н. Д.—лишало его покоя; с этим вопросом обращался он и к многим «просвещением украшенным мужам», но все они «столько же ясно отборными словами и хитросплетенными изречениями толковали о человеке», как и все не удовлетворившие его авторы. Однажды Н. Д. зашел в книжную лавку и прочел в только что полученной книге ответ на свой вопрос, ответ вполне его удовлетворивший. Этот ответ сводился к тому, что, как сказано, не следует задаваться вопросами о конечных причинах, о происхождении человека, а нужно отправляться от положения «человек существует» и затем «исполнять свято возложенные самою природой на нас должности человека».

Что это была за книга? Данный вопрос является далеко не праздным, ибо, как признается сам Н. Д., автор книги стал его «просвещенным путеводителем в метафизических царствах». Тот ответ, который Н. Д. прочел в книжной лавке, излагается им так, что, если сопоставить его с первой главой «Системы природы», мы получаем любопытное совпадение:

«Ручная книжка», стр. 12.	«Система природы», стр. 9 [1]).
«Смертный, ты весьма слаб проникнуть в невидимую связь всех пружин, составляющих человека, и постигнуть то высочайшее совершенство во взаимном согласии всех частиц, коих следствия действий одни зрим, но причины и образ их движений закрыты завесою непостижимости».	«Пусть он (человек) примирится с незнанием причин, окруженных для него непроницаемой завесой; пусть он безропотно покорится велениям универсальной силы».

Придя домой,—рассказывает Н. Д.,—он еще раз раскрыл книжку и прочел в ней то, что думал он сам:

«Ручная книжка», стр. 13.	«Система природы», стр. 67.
«Во всех метафизических изысканиях должно ограничивать свое любопытство и говорить: сие существует, но что оно есть? как? и для чего? всегда будет камнем претыкания для всех философов, потому что с нашими пятью чувствами и с нашим слабым понятием не дано нам проникать в самую силу существа».	«Если нас спросят, откуда появился человек, то мы ответим, что опыт не дает нам возможности решить этот вопрос, который, собственно, и не может интересовать нас по-настоящему; с нас достаточно знать, что человек существует, и что по устройству своем он способен производить те действия, которые мы наблюдаем у него».

[1]) «Система природы» цитируется по пер. Юшкевича, изд. Ин-та К. Маркса и Ф. Энгельса, М. 1924.

Можно и должно, конечно, говорить, что приведенные положения для Гольбаха не обязательны, что, даже говоря так, он видел в самой природе, в материи «первопричину», но, во-первых, данные положения у него имеются, и, во-вторых, что нам в данном случае и интересно, Н. Д., сам приближаясь к такому же решению, мог и должен был задержаться именно на этих местах «Системы природы».

Нашим сопоставлением мы хотим лишь сказать, что тем автором, который обратил на себя внимание Н. Д. в книжной лавке, был именно Гольбах. Мы находим подтверждение этому в том, что Н. Д. весьма недвусмысленно пишет на следующей же странице, что тот же самый автор, «яко просвещенный мой путеводитель в метафизических царствах, говорит мне: будь доволен следующим»,—и далее начинается перевод главы шестой «Социальной системы» Гольбаха—«человек есть бытие чувствительное, размышляющее, разумное» и т. д. [1]).

В нашей заметке нет, к сожалению, возможности останавливаться каждый раз на добавлениях и исправлениях, которые вносит Н. Д. в текст Гольбаха. Это—дело будущего издания материалов по истории материализма в России, в которых необходимо было бы привести параллельно оба текста. В настоящее время мы ограничимся лишь изложением хода мыслей перевода, оговаривая более или менее существенные отступления Н. Д.

Шестая глава «Социальной системы» несомненно является принципиальной главой. В ней Гольбахом закладываются основы своей натуралистической этики, материалистической у своих физиологических истоков и, конечно, абстрактной в своем продолжении и развитии. Человек, как существо чувствительное, т.-е. чувствующее удовольствие и ощущающее боль, «естественною своею силой побуждается искать первого и убегать последнего». В этом положении, как известно, заключалось, повторяем, в истоках материалистическое, чисто земное обоснование морали, порывающее с моралью трансцендентною, «сверхземною», надчувственною, религиозною. Человек, как существо размышляющее, по Гольбаху, способен избирать средства к достижению своей цели; как существо разумное, он «избирает надежнейшие самые средства и вернейшие пути к достижению желаемого им конца, или цели». «Цель же,—вставляет от себя, но совершенно в духе Гольбаха Н. Д.,—или конец страстей, желаний и стараний человеческих есть счастье», а самое счастье,—продолжает Н. Д. перевод,—«есть продолжение удовольствий или, если удобно, беспрерывное наслаждение предметами наших желаний». Н. Д. развивает эти мысли Гольбаха, восставая против тех, которые навязывают человеку отказ от желаний и страстей. Известно, что необходимость страстей, этих «пружин» поведения человека, особенно подчеркивалась французскими материалистами. Н. Д. добавляет от себя, что «быть без желаний и страстей так же возможно, как жить без головы. Человек стремится к своему счастью, как камень или другая твердая материя к своему покою» [2]).

---

[1]) «L'homme est un être sensible, intelligent, raisonnable, etc» —«Système sociale». premiere partie, chap VI «Principes naturels de la morale». Мы пользуемся лондонским (?) изданием 1773 года в трех томах, in 80.

[2]) «Ручная книжка», стр. 16.

В этом естественном стремлении к счастью материалисты XVIII века видели закон частной «природы» человека. Любовь к самому себе, добывание себе счастья было основой их так называемой эгоистической морали. Однако эта мораль диалектически превращалась в свою противоположность, в безудержный и безграничный, абстрактный альтруизм. Чтобы добыть счастье, человек должен способствовать счастью других; только при выполнении этого правила, человек получает и от других помощь в достижении своего собственного счастья. Эта концепция сближала этическую максиму Гольбаха с таковою же Канта, но у первого она облекалась в более простые и понятные формулировки. «Здравый рассудок,—переводит Н. Д. Гольбаха,—покажет ему (человеку), что, для соделания собственного своего счастья, он обязан стараться о доставлении счастья тем, в коих он нужду имеет для своего собственного счастья» [1]). Для человека таким существом является человек. Таким образом далеко не новая заповедь: поступай с другим так, как хочешь, чтобы с тобой поступали другие—получает у Гольбаха и у Н. Д. не религиозное, а натуралистическое, «естественное» обоснование.

Пропустив полторы странички текста Гольбаха, Н. Д. вновь возвращается к нему, чтобы его словами еще раз сформулировать принципы морали, основанной на личном интересе: «Человек во всех своих деяниях, мыслях, страстях, желаниях одно только свое собственное счастье предметом имеет. Он делается страстным к бытиям своего рода для того только, что он в том находит удовлетворение собственному самого себя люблению» [2]). Если человек не поступает так, если он «начинает быть сам себе вредопосным», то, значит, он ошибается и «разум его не в должном порядке». Если человек зло предпочитает добру, значит он самое зло принимает за добро. Нужно, конечно, быть благоразумным в своих поступках, но само благоразумие «ни что иное есть, как с здравым рассудком согласное распоряжение своей пользы, дальновидностью осияваемой» [3]).

После этих вступительных положений, Н. Д. путем вставки одной фразы о страстях, которые «как воздух нужны для его (человека) сохранения, для его оживления, утешения и его счастья», покидает главу шестую части I «Социальной системы» и сразу переходит к главе четырнадцатой той же части: «О счастье. О страстях и их влиянии на счастье человека» [4]). Перевод этой главы в пределах той же статьи «О человеке» по характеру своему аналогичен переводу шестой главы, т.-е. точный перевод целых абзацев чередуется с купюрами, с собственными вставками и, наконец, с вольным переводом. Не можем не сказать, что такой характер работы Н. Д. сильно затрудняет выверку текста Гольбаха.

Речь идет о страстях. Гольбах обрушивается на тех моралистов, которые хотят сделать человека бесстрастным, апатичным. Н. Д. не только переводит соответствующее место, но усугубляет его собственными дополнениями и выпадами против подобных

---

1) Ibid., стр. 17.

2) Ibid., стр. 18.

3) «La prudence n'est que l'intérêt éclairé par la prévoyance»,—«Systeme social», p. 63.

4) Chap. XIV: «Du bonheur. Des passions et de leur influence sur le bonheur de l'homme», p.p. 167—176.

мутных учителей, безумных и обманщиков; а ведь нужно сказать, что под моралистами, добивающимися «совершенного погашения страстей», у Гольбаха имелось в виду духовенство с его проповедью аскетизма, и эта мысль не могла остаться скрытой для Н. Д. «Без страстей,—добавляет он к словам Гольбаха,—человек был бы несчастнейшее бытие, мучительная скука, гибельная недеятельность; умерщвленные чувствования составили бы существование его несноснейшим бременем». Итак, истреблять страсти или противиться им было бы крайним безумием.

Одна страсть, одно желание, будучи удовлетворены, заменяются другими, новыми желаниями; такой процесс вполне естественен, он является стимулом к деятельности человека. Напротив, пресыщенное состояние человека, его апатичность есть своеобразное бедствие; такое состояние способно вызвать в лучшем случае лишь сожаление. Здесь у Н. Д. следует вставка, более сильная, чем соответствующее место у Гольбаха. Он выставляет в качестве об'екта критики и сожаления в указанном выше смысле «человеков, достигших или, лучше сказать, слепым случаем возведенных на высочайшую степень честей, знатности, могущества, богатства, утопающих во всех изощренным вкусом изобретаемых роскошах, удовольствиях и сладострастных негах». «Сии блестящие светом фосфора кумиры, при всех чинимых им подлыми душами коленопреклонениях», оказываются несчастными [1]).

Нужно сказать, что в «Социальной системе» у Гольбаха в различных местах рассеяны сильные и обычные выпады его против «жрецов и тиранов», против духовенства и деспотов. Эти выпады, встречающиеся по пути Н. Д., или пропускаются им, или смягчаются. Можно, конечно, предположить, что Н. Д. проделывал эти операции над текстом Гольбаха bona fide, но, с другой стороны, вполне понятно, что они и не могли появиться на страницах легального, подцензурного русского издания; ведь они не могли появиться легально и в самой Франции. Тем более интересно, когда Н. Д. самостоятельно вводит в текст вставки с нападками на сильных мира сего, пусть хотя бы в контексте этических рассуждений. Для русской литературы XVIII века и это было незаурядным явлением. Подобную же вставку мы имеем и на стр. 29 «Ручной книжки», после значительного пространственно, но не существенного по содержанию пропуска в переводе. Здесь Н. Д. риторически спрашивает: «Не думаете ли вы, что короли, властители, вельможи, богачи наслаждаются лучшим и сладчайшим счастьем, нежели прочие смертные? Они несчастны между прочим и потому, что «имеют дух весьма слабее, нежели их сан требует».

Гольбах доказывает, что «источник скуки тирана, государей, вельмож и богачей» в их пресыщенности, в отупении у них страстей. Н. Д. переводит этот абзац, но затем покидает своего «путеводителя в метафизических царствах», и самостоятельный конец статьи «О человеке» звучит у него довольно примирительно, впрочем в духе контекста данной главы Гольбаха: счастье не в богатстве или высоком положении, а в добродетели; быть счастливым можно и не будучи богатым или знатным.

Некогда стоики требовали: будь добродетельным, а из добродетельного поведения само собою, логически проистекает счастье.

[1]) «Ручная книжка», стр. 27—28.

Эпикурейцы обосновывали свою мораль иначе: добивайся счастья, но помни, что добиться его ты можешь лишь путем добродетели. Французские материалисты XVIII века, и Гольбах, и Дидро, в этических вопросах примыкали к эпикурейцам. По этому же пути идет и Н. Д. как в переводе, так и в самостоятельных добавлениях.

3.

Следующие за первой две главы Н. Д. не являются переводами Гольбаха. Трудно сказать, оригинальны ли они, или представляют собою перевод или переделку какого-нибудь французского автора. Последнее предположение не лишено основания, поскольку «Ручная книжка» в значительнейшей части является несомненным переводом. Нам, однако, важно установить, что в данных главах путеводителем Н. Д. выступает не Гольбах. Первая из этих глав называется «Философ»; она рисует идеал философа по воззрениям автора или переводчика. В некоторой части этот идеал совпадает с представлениями французских материалистов, но только в некоторой: философу Н. Д. не хватает революционности, не хватает активного элемента, действия, направленного на п е р е у с т р о й с т в о общества, хотя бы и на абстрактных началах «разума». «Философия,—как пишет Н. Д.,—состоит в том, чтобы установлять точное равновесие между страстями, столь нужными для человека, а не умерщвлять их противными здравому рассудку способами». Как видит читатель, Н. Д. отождествляет здесь философию с «наукой о нравах», с моралью, и притом с «моральной наукой» согласно воззрениям XVIII в. Соответственно этому определяется и философ:

«Философ есть в моих глазах бытие превосходное, свыспосланное на землю для исцеления смертных от мучительных язв злоключениями, сердцу их причиняемыми, для утешения их в прискорбиях, горестях и слезах и, наконец, для облегчения тяжести страданий, с человеческим существованием нераздельных. Он есть дух, премудростью просвещенный; бытие отменное, поставляющее свое счастье в усовершенствовании своего о всем понятия, бытие, которое, не утверждаясь на ложном остроумии учености и знаменитостью величающихся человеков, изыскивает самую во всем истину, средствами здравыми, рассудком предписанными; с полным удовольствием в тишине и молчании управляется в своей комнате в изобретении способов к изощрению своего познания, в приведении в наилучшее положение и деятельность своих свойств и в открытии несведомого. Ф и л о с о ф з н а е т р а з л и ч а т ь в ы с о к о е н р а в о у ч е н и е п р и р о д ы о т н е о с н о в а т е л ь н о г о в р е д о н о с н о г о н р а в о у ч е н и я п о л и т и к о в и о т ж е с т о к о г о н р а в о у ч е н и я г у б и т е л ь н о г о с у е в е р и я. Он не весит на одних весах погрешности, происшедшей от одной слабости человеческой, с злоковарным преступлением; он старается просвещать род человеческий тихим и дружеским голосом; проповедует правду, не страшась быть за то истязуему, как за злодейское некое умышление. Но при всем том учением своим, премудрым своим сочинениями, истинную добродетель и долг человека открывающими, не подкапывает он основания трона и жертвенника. Он почитает народные предубеждения, находя и в них общественную сокрытую от простых глаз пользу: чтит председящих на судилище; сообразается с принятыми обрядами и обычаями, и ни на что более не употребляет вольности своих мыслей, как на единое увеличивание совершенств своих понятий и на утверждение спокойствия окружающих его человеков. Он есть точно парящий орел, который старается только сохранить равновесие в части воздуха, им занимаемой, не думая ни мало исправлять всю атмосферу, утишать свирепство ветров и треск страшных громов» [1]).

---

[1]) «Ручная книжка», стр. 35—37.

Мы нарочно привели эту длинную выписку, потому что она характерна не только для Н. Д., как переводчика Гольбаха, но и для всех путей и проселков материалистической мысли в России XVIII века. С одной стороны, философ, изучивший природу и человека, не удовлетворен религиозно-православным и казенно-официальным решением этических проблем. Он против как «вредоносного нравоучения политиков», так и «жестокого нравоучения губительного суеверия». Но, с другой стороны, это еще не философ-трибун, призывающий против царей земных и царя небесного, хотя бы и в виде служителей «жертвенника». Сам он уже пришел к естественному «натуральному» мировоззрению, но он «почитает еще народные предубеждения». Он таит в себе свою философию, она эзотерична по своему содержанию; на долю других, на долю масс от философа достаются лишь слова утешения, ободрения и морального учения; он пишет основанные на «природе» правила индивидуально этического содержания; философское произведение претендует быть «ручной книжкой», т.-е. справочником, своего рода vademecum'ом «человека» и в лучшем случае «гражданина», но не политического деятеля.

В самой Франции такие представления были характерны для первой половины XVIII века. Так, например, в отчетливо материалистическом «Lettre de Thrasibule à Leucippe»,—относительно которого до сих пор еще не выяснено, принадлежит ли оно Фрере или является одним из первых произведений Гольбаха,—мы имеем после пропаганды материализма советы не выступать в боевом порядке против господствующих воззрений. Лишь один Мелье из первой половины XVIII века был боевым материалистом и атеистом, однако, как известно, и он только писал, но не печатал. Но уже в 1751 г. в «Предварительном рассуждении» Ламеттри сдобрил учение о «лойальности» материалистической философии доброй долей иронии. Во второй половине XVIII века материалистическая философия, как известно, становится боевой.

В России же побеги материалистической мысли в силу объективных причин оставались «лойальными» вплоть до последней четверти XVIII века, вплоть до Радищева. Habent sua fata libelli.

Весь очерк «Философ» посвящен обоснованию и развитию той точки зрения на философа, которую мы выше привели. Кроме того, здесь при отсутствии всякой мистики или того, что нам напоминало бы творения отечественных масонов, встречается еще раз деистический и агностический мотив.

Третья глава, очень коротенькая, «Интерес, польза, корысть, выгода, прибыток», также не является переводом из Гольбаха. Однако это рассуждение целиком определено мыслями Гельвеция и Гольбаха; его можно было бы назвать вольным изложением концепции французских материалистов. Особенно отчетливо прощупываются рассуждения Гольбаха из его «Morale universelle» и из шестой главы «Социальной системы». Автор критикует здесь точку зрения тех моралистов, которые думают, «что нет в том, что мы сами для себя делаем, ни заслуги, ни добродетели». Такие моралисты лишь доказывают, что они не знают человека, «не имеют точного познания ни о человеке, ниже о том, что составляет прямое его достоинство или заслуги и истинную добродетель».

«Достоинство,—пишет Н. Д.,—состоит в том только, что нас делает полезными и любезными нам подобным человекам. Добродетель есть расположение делать охотно то, что нужно к достав-

жению счастья ближнему для собственного же нашего блага, о коем мысль никогда от нас не отступает. Вообще интерес есть то, что человек нужным поставляет для собственного своего благополучия» [1]). В приведенных строках вкратце заключается вся суть этической концепции Гельвеция. Больше того, термины «достоинство», «добродетель» есть, собственно, перевод французского слова, применяемого Гельвецием, «probité», которое иногда, в контексте Гельвеция, переводят как «честность» или как «добродетель», и которое, в отличие от честности в собственном смысле слова и в отличие от добродетели в значении vertu, следовало бы переводить более широко—«порядочность». У самого Гельвеция «probité» значительно шире «честности». «Интересу», как основе порядочности и добродетельного поведения, и посвящена вся данная статейка.

Четвертая глава книги «О должностях человека или о нравственной его обязанности», как показывает и самое название, является переводом седьмой главы первой части «Социальной системы» Гольбаха: «Des devoires de l'homme ou de l'obligation morale».

В этой главе у Гольбаха речь идет не только о человеке, но и о гражданине; следовательно, поднимается вопрос об отношении человека к обществу, что в условиях и понятиях XVIII века означало и к государству. Эти «гражданские мотивы» переходят и на страницы перевода Н. Д.

Если «человек есть бытие общежительное», то «надобность или, лучше сказать, необходимость, которую имеют живущие в обществе человеки друг в друге, рождает между ними отношения взаимственности, связи, а от сих происходят должности человека» [2]). Мы уже знаем, что отношения людей друг к другу определяются их личным стремлением к собственному счастью, стремлением, заложенным в физической организации человека, и направляются их личным интересом. Это приводит к тому, что каждый человек обязан содействовать с своей стороны тем, от коих зависит личное его благосостояние». Но это же приводит и к тому, что «мы любим, почитаем, уважаем тех человеков, которые доставляют нам наше благосостояние, удовольствие, утешение, отраду», и ненавидим тех, кто причиняет нам зло и препятствует благополучию. Далее у Гольбаха следует критика богословов, которые думают, что моральные правила обязательны единственно потому, что они якобы возвещены божеством, тогда как на самом деле их обязательность коренится в физической природе человека. Эту диверсию против богословов Н. Д. выпускает в своем переводе.

Продолжая перевод, Н. Д. приводит дословно принципиальный тезис Гольбаха о том, что злой и «вредоносный» человек естественно наказывается общим к нему презрением и что «страх навлечь на себя негодование, презрение и ненависть от окружающих нас бытиев суть сильнейшие и действительные обуздания и самые наказания, нежели удаленные и неизвестные ужасы, коими глупое суеверие устрашает сердца смертных». Но Гольбах развивает последние слова. «Глупое суеверие» для него—религия со своими угрозами вечных мучений на том

---

[1]) «Ручная книжка», стр. 52.
[2]) Ibid., стр. 63.

свете, о котором мы не можем составить себе хоть сколько-нибудь точных представлений. Этот выпад против религии и попов Н. Д. вновь выпускает. Конечно, он не мог появиться на страницах русского легального издания.

То, что действительно в отношении отдельных лиц, то справедливо и в отношении правительств. По аналогии с предыдущим мы вправе ожидать, что, сохраняя и передавая концепцию Гольбаха, Н. Д. вычеркнет из своего перевода все резкие выпады против «тиранов и деспотов». Так именно и обстоит дело. «Гражданин,—переводит Н. Д.,—не может любить свое отечество, как только тогда, когда оно доставляет ему желаемые выгоды и спокойствие» [1]). Напротив, «сердце гражданина отвращается» от правительства, когда он видит в последнем лишь притеснение и несправедливость. «Сие отвращение,—прибавляет от себя Н. Д.,—ожесточает сердца и бывает бедственною причиною страшных несчастий». Несомненно, здесь намек на революции; интересно отметить, что это было написано Н. Д. до Великой Французской Революции.

Положение, что граждане имеют право восстать против правительства, если последнее не соблюдает «общественного договора», было, как это ни странно, фактически выдвинуто в новое время Т. Гоббсом. Это положение вошло в теоретический обиход французского материализма XVIII века. Мы видим теперь, что оно проникло и на страницы русской книги. Правда, Н. Д., сознательно или бессознательно, позолотил свою пилюлю: Гольбах следом за приведенными словами выдвигает еще один чрезвычайно важный тезис, который К. Марксом ставился в особую заслугу французскому материализму, и который гласит о том, что нравы народа определяются общественной организацией; так вот Гольбах пишет, а Н. Д. переводит: «Граждане добрыми быть могут во всей полности слова под правлением только правосудным»; после этого Н. Д. вставляет от себя: «разумным, кротким, каковым мы теперь счастье имеем наслаждаться». В таком виде анонимный Гольбах появлялся перед русскими читателями XVIII века!

Последние две странички русского текста интересующей нас главы написаны самим Н. Д. Они не представляют чего-либо принципиального. Он лишь призывает к снисходительности в оценке поступков людей.

Следующая коротенькая глава «Надежда» [2]) есть, несомненно, плод самого Н. Д. Смысл ее в том, что все предприятия человека предполагают надежду на лучшее будущее. Любопытно лишь его отношение к понятию бессмертия человека. Оно выдержано в духе материализма XVIII века: бессмертие человека есть бессмертие его в памяти потомства. «Мы простираем надежду нашу,—говорит он,—за самый предел смерти, и когда стараемся обессмертить себя в памяти людей, то, преисполнены сим лестным мнением, бываем более расположены погрузить без повращения в бездну вечности». Ортодоксальный христианин нуждается в личном бессмертии «на том свете». Для Н. Д. достаточно надежды на бессмертие в памяти живых грядущих поколений, чтобы спокойно погрузиться «без повращения», т.-е. без возврата, окончательно, в бездну вечности.

[1]) Последнее слово добавлено к тексту Гольбаха самим Н. Д.

[2]) «Ручная книжка», стр. 75—81.

4.

Две последних и самых больших главы «Ручной книжки» являются переводами из все той же первой части «Социальной системы» Гольбаха. Первая из этих глав «О добродетели» уже со второй страницы оказывается переводом восьмой главы Гольбаха: «Examen des idées des moralistes sur la vertu». Подобно предыдущим она содержит и дословные переводы, и вставки Н. Д., и значительные купюры; вольные переводы встречаются очень редко.

Вначале повторяется по Гольбаху определение добродетели. «Достоинство вещи состоит в ее полезности. Равномерно и добродетель всю свою цену, всю свою прилежность имеет от своей полезности... Мы любим добродетель для того, что мы любим самих себя и все то, что способствует нашему собственному счастью» [1]). Мы должны любить добродетель ради добродетели—это, как говорит Гольбах, есть фраза, лишенная смысла. Пока Гольбах развивает эти мысли в положительной форме и приводит исторические примеры, Н. Д. более или менее покорно следует за ним, но когда первый переходит к критике религиозно-поповского обоснования этики, к критике, проникнутой атеизмом, то вместо двух страниц текста Гольбаха мы находим три страницы, принадлежащие Н. Д. и представляющие собой общее восхваление добродетельного поведения. Эти сентенции опять сменяются принципиальными положениями, когда Гольбах выходит на путь позитивного изложения. «Добродетель и любовь к добродетели в человеке не что иное суть, как приобретенные расположения. Человек не родится добродетельным». К приведенным словам Гольбаха Н. Д. даже прибавляет свои выдержанные в духе материалистического сенсуализма раз'яснения: «Человек родится совершенным куском воска с некоторою только разностью в мягкости или жестокости. Из него почти все делать можно, соображаясь только с тою мерою способности его к принятию впечатления, которая ему свойственнее» [2]). Далее, как и следует ожидать, идет рассуждение о роли и значении воспитания и просвещения.

Последние семь страниц главы VIII—«Социальной системы» заменяются Н. Д. семью страницами оригинального текста, не имеющего принципиального значения, и после этого, путем простой связки: чтобы быть счастливым, нужно быть добродетельным,—мы имеем переход к десятой главе «Социальной системы»: «Des vertus morales» [3]). У Гольбаха эта глава имеет, так сказать, прикладной характер: здесь перечисляются и определяются основные воды добродетели. Н. Д. дает перевод этой главы обычным для него способом. Так перед читателем проходят, нужно сказать, довольно скучные рассуждения о «правосудии или справедливости» (la justice), о «человеколюбии» (l'humanité), о «воздержании» (la tempérance), о «благотворительности» (la bienfaisance, о «жалости, сострадании» (la pitié), об «истинной твердости, великости духа» (la force, la grandeure d'âme), о «благоразумии» (la prudence). Как известно, эти рассуждения, типичные для всей моральной философии эпохи просвещения, далеко не составляли

[1]) Ibid., стр. 55.
[2]) Ibid., стр. 91—92.
[3]) Ibid., стр. 100 и сл.

сильных страниц Гольбаха; они абстрактны, универсальны и к нашим дням безнадежно устарели. Если выпустить кой-какие диверсии против «тирании и рабства, которые несовместимы с понятием справедливости», то неизвестно, где кончается материалист Гольбах и начинается идеалист Мабли. Конечно, именно эти страницы Гольбаха были наиболее приемлемы для русских журналов XVIII века. Этим, может быть, и об'ясняется, что, напр., в «Зеркало Света» с № 36 по № 86, т.-е. в пятидесяти номерах, мы насчитываем тринадцать очевидных переводов из Гольбаха, выполненных Н. Д.,—процент изрядный. И хотя имя Гольбаха и тщательно скрывалось, но его морализирующие произведения играли, как видно, роль своеобразного бюллетеня пресс-бюро.

Последняя глава «Ручной книжки» носит название «Порок». Это—самая длинная глава; занимает она семьдесят одну страницу. При внимательном изучении обнаруживается, что «Порок» есть перевод главы одиннадцатой первой части «Социальной системы»: «Du mal moral, ou des vices des hommes, de leurs crimes, de leurs défauts, de leurs faiblesses». По характеру своему перевод выполнен в привычных для Н. Д. манерах, только собственные вставки его и купюры из гольбаховского перевода чередуются почти в шахматном порядке.

Вступление, первые четыре страницы, принадлежит самому Н. Д. Здесь он повторяет свойственную ему мысль о малых знаниях человека. Успехи наук, в частности открытие новых небесных светил, убеждает его в том, что область еще неизвестного гораздо обширнее познаного человечеством. Отсюда он делает вывод, что хвалиться тем, что нам уже многое известно, не приходится, но стремиться к обогащению знания необходимо. В применении к наукам о человеке это означает старое сократовское правило: познавая самого себя.

Поскольку выше уже говорилось, что человек должен убегать порока, постольку, стало быть, он должен знать, что такое порок. С этого места и начинает Н. Д. перевод указанной выше главы Гольбаха.

В отношении порока многие моралисты заблуждались не менее, чем в отношении добродетели. Напр., совершенно неправильно заключение, что «человеческая естественность есть сама по себе развращенная, и что природная наклонность влечет человека ко злу». Причина этого ошибочного заключения коренится также в незнании «природы» человека. На самом деле человек от природы не добр, как то, добавим от себя, думал Руссо, но и не зол, как думал Гоббс. «Человек родится с нуждами»,—говорит Гольбах, и это все; «сии нужды рождают в нем желания сильнее или слабее; сии желания называются страстями, которые по образу хорошего или худого ими управления, становятся пороками или добродетелями» [1]). Стало быть, человек становится добродетельным или порочным «по мере, силе, стремлению, употреблению и управлению сих страстей»,—добавляет Н. Д.

Гольбах перестал бы быть натуралистом в этических вопросах, если бы он представлял человека в виде действительной tabula rasa. Известные особенности организации того или иного

[1]) «Ручная книжка», стр. 138.

человека, конечно, являются моментами, предрасполагающими его в сторону того, а не иного. В среде самих французских материалистов XVIII века были в этом отношении два основных течения: с одной стороны, Гельвеций с подчеркиванием универсального значения воспитания; с другой стороны,—Гольбах и Дидро с учитыванием у первого роли физической организации, а у второго—роли наследственности в деле образования человеческого характера. Так и в данном случае, говоря словами перевода Н. Д., Гольбах уточняет свое основное положение: «Нет в том сомнения, что действующих в человеке страстей больше или меньше, стремительность зависит точно от его врожденного свойства (у Гольбаха: de son organisation, de sa conformation particulière), или его естественности, то есть от силы или слабости его состава, его членов, его пружин, от глаза и понятия уходящих, его сопряжения частиц, его темперамента» и еще,—как добавляет Н. Д.,—«его жизненного невидимого и неосязаемого огня, в движение все его совершенное и чудное устройство приводящего» [1]).

Все эти элементы внутренней организации человека весьма сильны и оказывают большое влияние на характер человека, однако «чрезвычайный труд и попечение неусыпное» могут в значительной мере преобразовать природные склонности. Такое перерождение человека проистекает в процессе в о с п и т а н и я. Больше того, можно сказать, что люди «подвергаются необузданным страстям, т.-е. порокам, слабостям, преступлениям» именно вследствие дурного воспитания, понимаемого в широком смысле слова.

Но «если страсти человеку естественны, то худое их употребление противно и вредно его природе». Мы знаем уже, что,—стремясь к счастью и не будучи в состоянии не стремиться к нему,—человек ищет удовольствия и избегает страданий. Но, ища удовольствий, он не должен переступать границы порока. «Естественно человеку любить самого себя, но противно и мерзко естественности человека не любить никого, кроме самого себя». Это уже будет пороком. Тот, кто любит т о л ь к о себя, не имеет права претендовать на любовь к нему других. Такой человек вредит обществу, поскольку мешает другим добывать себе счастье. А он, действительно, препятствует счастью других, поскольку не помогает им добывать счастья. Поэтому самое общее определение порока будет такое: это—расположения и деяния, «противящиеся непосредственно сами собою или своими следствиями благосостоянию рода человеческого, пользе ближнего, тишине и благоденствию общества».

Если добродетель есть, собственно говоря, совершенное общежитие (у Гольбаха: sociabilité), то «злой человек есть всегда бытие необщежительное и нелюдимое». Такое положение вытекало из жизнерадостной этики французских материалистов. Поэтому-то, между прочим, Дидро так отговаривал Руссо от мысли покинуть Париж, поэтому-то, оставаясь в пределах своей теории, они уже умозаключали к злому характеру Руссо, когда последний перешел к уединенному образу жизни в своем «эрмитаже».

Обоснованию и развитию такой теории порока и посвящена значительная часть интересующей нас главы книжки Н. Д. Под-

[1]) Ibid., стр. 139.

вергать критике эту теорию в нашей исторической заметке было бы неуместно. Эта теория ничуть не совершеннее аналогичной теории добродетели. Повторяем, имев определенное значение и сыграв положительную роль в деле вытеснения этики религиозной, эта теория безнадежно устарела уже во второй четверти XIX века.

Аналогично главе о добродетели глава о пороке строится так, что после общих принципиальных рассуждений идут описания отдельных пороков. Здесь мы встречаемся с несправедливостью (l'injustice), нечувствительностью (l'Insensibilité), гневом (la colère), мщением (la vengeance). ненавистью (un amour exclusif de nous-mêmes), гордостью (l'orgueil), слабостью духа, трусостью, вероломством, подлостью, леностью, праздностью, мотовством, разорительными играми [1]), своеволием, бесстыдством, любострастием, неблагодарностью, завистью, ложью, злословием и т. д., и т. п.

Источником всех этих пороков Н. Д. вслед за Гольбахом считает, вполне в духе просветителей XVIII века, невежество и непросвещение. Если бы люди знали, они, конечно, избегали бы пороков... Последнее противоядие невежеству просветители XVIII века видели в разумном воспитании. Так и Н. Д. заканчивает перевод Гольбаха своими словами: «сие все (ряд «благодетельных» навыков и привычек) поселять в сердца человеков должно при их воспитании; от него прямо зависит и счастливая и несчастная участь человека» [2]).

Тема Н. Д.—человек. Мы должны подытожить его общефилософские воззрения на человека. К счастью, в последней главе имеется большая его вставка, в которой он формулирует свою точку зрения. Эта самостоятельная вставка представляет для историка ценность, ибо является доказательством того, что Н. Д. не механически (напр., ради заработка) переводил Гольбаха, но и сам по интересующей его проблеме разделял взгляды Гольбаха. А чтобы доказать последнее, мы сопоставим эту вставку Н. Д. с одной страничкой из «Системы природы» Гольбаха. Поистине последний был для Н. Д. «путеводителем в метафизических царствах».

«Ручная книжка», стр. 169—170.

«Испытатели природы благоразумною рукою раздробили на части весь человеческий состав. Они нам доказывают неоспоримым образом, что от любопытного глаза и самого понятия уходящее различное смешение соков, жидкостей, крови, их состояние, сила, стремление, тихость, положение, упругость, сплетение, мягкость жил, сосудов, перепонок, мышек и прочих бесчисленных частиц почти невидимых составляет все устройство человека, его нрав, его склонности, его темперамент.

«Система природы», стр. 97.

«Если мы станем анализировать различные способности, приписываемые душе, то увидим, что они, подобно физическим способностям, зависят от физических причин, которые нетрудно выяснить. Мы найдем, что силы души те же, что и силы тела, и зависят всегда от организации последнего, от его собственных свойств, от испытываемых им временных модификаций, одним словом от темперамента... Темпераменты изменяются в зависимости от элементов или веществ, преобладающих в каждом индивиде, и от различных сочетаний и модификаций этих разнообразных, самих по себе, веществ в организме...

---

[1]) Здесь Н. Д. вставляет еще, видимо, специфически русский порок, который он находит, надо думать, у помещиков: псовую охоту.

[2]) Ibid., стр. 203.

Место и состояние его рождения, народные законоположения, обычаи, просвещение или глупость родителей, образ воспитания, поселение первых о всем понятий; род жизни частного общества, примеры подражания образуют и соделывают человека умным или глупым, честным или бесчестным, добродетельным или порочным, любезным или несносным и презрительным».

Мы обязаны своим темпераментом природе, т.-е. своим родителям, а также причинам, которые модифицировали нас с первого момента нашего существования. В утробе матери каждый из нас почерпал вещества, которые будут всю жизнь влиять потом на его умственные способности, на его энергию, его страсти, поведение. Принимаемая нами пища, качества воздуха, которым мы дышим, климат, в котором мы живем, полученное нами воспитание, внушаемые нам идеи и взгляды модифицируют этот темперамент».

Каким же встает перед нами из глубины второй половины XVIII века духовный облик Н. Д., или, как мы думаем, Н. Данилоеского? Прежде всего это—по преимуществу моралист. Он не задается вопросом о конечных причинах, а, говоря о человеке, довольствуется тем, что человек существует. В этом отношении он очень сближается с одним из последних французских материалистов XVIII века, с П. Кабанисом. Но, оставаясь, так сказать, в пределах человека, он разделяет взгляды Гольбаха. Он—не простой переводчик-ремесленник, ибо добавляет к суждениям Гольбаха свои собственные. Но эти самостоятельные дополнения принципиально не вносят ничего нового. Напротив, когда он оставляет текст «Социальной системы», он зачастую переходит к тексту «Системы природы», однако не к тем главам, где развивается материализм космический, а к тем, где Гольбах трактует о физиологической и психологической (в условиях XVIII века) областях. В этом опять духовное родство Н. Д. и Кабаниса.

Н. Д. разделяет все слабые места этической концепции Гольбаха, поскольку он также сын XVIII века. В некоторых случаях он ослабляет выступления Гольбаха против религии, попов и тирании, что вполне об'ясняется русскими цензурными условиями. Но он не критикует таких выступлений Гольбаха, что мог бы легко сделать путем соответствующих вставок. Между тем, он лишь выпускает из перевода выпады Гольбаха против поповской морали. В принципиальном обосновании этики и в понимании человека, как этического суб'екта, Н. Д.—гольбахианец. Он не самостоятельный и оригинальный мыслитель, но один из русских людей XVIII века, который, найдя этическую концепцию Гольбаха правильной и обладая литературным талантом, поставил себе задачу пропагандировать идеи Гольбаха (поневоле скрывая это одиозное имя) на русской почве. В первый раз он сделал это при Екатерине на страницах журнала «Зеркало Света» в 1786—1787 г.г., во второй раз—на страницах «Ручной книжки», в годы александровской «весны».

5.

Как сказано, Н. Д. первоначально помещал свои переводы из «Социальной системы» в журнале «Зеркало Света» (начиная с № 41). Журнал этот выходил с 9 февраля 1786 г., а в конце следующего года уже прекратил свое существование. Редактор-издатель его в последнем (104) номере знаменательно писал:

«Сия часть оканчивает издание «Зоркала Света» понедельно. Разные неудобства продолжения оного прерывают, а малое число подписателей, сей год бывших, а и того меньше на будущий (1788) явившихся, утвердили давно известную о писателях общую пользу предметом имеющих истину».

Между тем, это был довольно любопытный журнал. Издавали его первоначально Федор Туманский [1]) и Ипполит Богданович; вскоре последний ушел и издание осталось на руках у одного Туманского. Кроме неизбежной для конца XVIII века сентиментальной беллетристики и наивных, а иногда и нелепых, анекдотов, там помещались заметки о западно-европейских политических событиях, а также о некоторых, главным образом, придворных событиях в России. Отдавалась дань (впрочем, это, быть может, входило в намерения и желания издателей) и духовным делам. Так, например, в великопостных номерах журнала за 1787 год печаталась статейка (нам представляется, переводная) под оригинальным заглавием: «Се дни поста и молитвы; побеседуем о делах духовных». Содержание ее сводилось к голому сопоставлению взглядов православного катехизиса с взглядами «афеистов» и деистов; далее приводилось «сокращенное начертание главнейших истин христианского учения».

На ряду с этим и в значительном количестве там помещались небольшие статейки на этические темы: «О правосудии. О чести» № 8, «О счастии» № 9, «Об употреблении времени» № 10, «О совести» № 10, «О человеколюбии» № 19, «О ветвях добродетели» № 24 и № 27, «О пользе наук» № 36, «О равенстве обоего пола, к А...» № 40 и т. д. Со следующего номера, как сказано, начались статьи Н. Д. Возможно предположение, что и вышеперечисленные статьи принадлежат Н. Д. Однако против этого говорит, во-первых, то, что они не имеют инициалов Н. Д., во-вторых, то, что они не вошли в «Ручную книжку», и, в-третьих, то, что они не являются переводами из Гольбаха, хотя и напоминают его в некоторых частях. Это—типичные для XVIII века краткие рассуждения этического характера.

Оставляя в стороне любопытное «Рассуждение о сочинителе Петре Беле» (Бэйле) в № 21, написанное в весьма благожелательных для философа-скептика и вольнодумца тонах, мы остановимся еще на одном открытом нами переводе из Гольбаха [2]). В № 18, когда, по нашему мнению, Н. Д. еще не работал в «Зеркале Света», была напечатана статья: «О женском поле к Л...». При ближайшем изучении она оказывается местами точным, местами вольным, с вставками и пропусками, переводом десятой главы, части третьей, все той же «Социальной системы» Гольбаха: «Des femmes». В общем ход мыслей и самый смысл главы сохранен; лишь снова и снова сглаживаются выступления Гольбаха против религии и правительств.

Смысл статьи заключается в следующем. Воспитание женщин поставлено из рук вон плохо. Если судьба женщины во всех

---

[1]) Не смешивать с Федором Туманским, современником Пушкина, поэтом, автором популярного некогда стихотворения: «Вчера я растворил темницу воздушной пленницы моей».

[2]) В № 20 мы открыли еще анонимный и без указания автора — перевод первых страниц поэмы Гельвеция «Le Bonheur». Мы оставляем за собой право вернуться к нему в контексте гельвецианства на русской почве XVIII века.

почти странах заключается в том, чтобы жить в порабощении (и страдать—прибавляет переводчик), то это проистекает как от неправильного воспитания женщин, из которых готовят ветреных и прихотливых капризниц, так и из неправильного уклада всей жизни в обществе по отношению к женщине. Ее принуждают насильно выходить замуж за нелюбимого человека; в больших городах (переводчик выпускает слова Гольбаха: «По небрежности правительства») «девицы из простого рода», в особенности красивые, подвергаются большим опасностям от обольстителей, которым, однако, ничто не угрожает; театр вместо школы правов превращен в орудие порока и т. д. Как средство вывести женщину из унизительного и недостойного человека положения Гольбах предлагает изменить систему женского воспитания и вместо приучения их к нарядам и безделушкам советует «употреблять лучше время сие на изощрение тонкого и проницательного разума».

Этот перевод из Гольбаха показывает нам, что передовые слои русского общества и в таких вопросах, как женский, обращались за решением все к тем же французским материалистам, в частности к автору «Системы природы».

Анонимный материалист XVIII века.

Г. Тымянский.

I.

Ф. Альберт Ланге в «Истории материализма»,—излагая историю материалистического течения мыслей в Германии в XVII и XVIII веках, останавливается с особым вниманием на анонимной переписке по поводу сущности души. Переписка эта носит длинное название: «Обмен письмами между двумя добрыми друзьями по поводу сущности души с приложением веселого предисловия некоего анонима. Гаага, Изд. Петра Аа. 1713 (Zweier guten Freunde vertrauter Brief-Wechsel von Wesen der Seelen samt eines Anonymi lustigen Vorrede Haag bei Peter von der Aa. 1713).

Переписка эта действительно имеет значение для истории материализма, так как представляет собою интересный документ, свидетельствующий о распространенности материалистической философии в Германии, развивавшейся в подполье и постепенно приобретавшей значительный круг ревностных последователей.

Характеризуя эти письма, Ланге видит в них результат влияния английского деизма на немецкую интеллигенцию. Он говорит: «Особенно ясно обнаруживается влияние англичан в книжечке, которая всецело относится к истории материализма и которую мы тем охотнее здесь рассматриваем, что она не удостоилась внимания даже новейших историков литературы и многим из них просто незнакома» («Ист. мат.», т. I, стр. 422, изд. Реклам). Из этой цитаты видно, что Ланге видит в этой переписке изложение материалистических взглядов, взятых у английских философов и просветителей. Мы с этим взглядом, однако, можем согласиться лишь отчасти. Не отрицая влияния Гоббса, Локка и Толанда на автора материалистических писем в этой книжке, мы все же думаем, что ее материализм носит другой характер и в основных своих чертах находится под другими влияниями. Прежде, чем, однако, заняться доказательством нашего предположения, мы считаем нужным изложить историю этой переписки. К сожалению, эта история в высшей степени туманна. Несмотря на указанное в книге место издания—Гаага, книга эта издана была не в Голландии, а в Германии. Голландия, как страна более свободная, в которой свободомыслие было значительно более развито и менее преследовалось, служила местом, где печатались еретические и свободомыслящие книги. Однако множество книг, напечатанных в Германии, указывало для избежания неприятностей местом издания города Голландии.

По всей вероятности, книга эта возникла в результате споров на темы о сущности души, имевшие место в Виттембергском университете. По крайней мере, в веселом предисловии анонима и в 3-ем письме указывается, что виттембергские профессора ожесточенно спорили и занимались вопросами сущности души. Анонимный автор предисловия прямо называет себя студентом Виттембергского университета и довольно художественно описывает, как в Виттемберге спорили по вопросу о том, что такое душа и где она помещается, не только в университете, но и в пивных за бокалом пива или вина.

Кто были авторами этой своеобразной переписки—также неизвестно. В словаре псевдонимов Веллера указаны, как авторы, врач из Делича—Вестфаль и ад'юнкт философского факультета в Виттемберге—И. Д. Гохейзель или Гохейзен. Ланге указывает, неизвестно из каких источников, что в XIX веке авторами переписки считали двух теологов—Рошера и Бухера. Оба эти лица, однако, были весьма религиозными людьми и вряд ли могли быть авторами двух материалистических писем. У того же Ланге возникло еще предположение, что вся эта переписка составлена одним лицом. Мы считаем, однако, это невозможным, ввиду того, что опровержение материализма, имеющее место в одном из писем, обнаруживает недостаточное понимание материалистического учения автора остальных писем и относится скорее к учению Гоббса и Гассенди. Однако, с другой стороны, следует указать, что язык, которым написаны все три письма, мало чем различается и наводит на мысль о едином авторе. Таким образом вопрос об авторстве этой переписки остается темным.

Во всяком случае, кто бы ни были авторами этих писем, как материалистических, так и опровергающих материализм, вполне ясно, что они находились под сильным влиянием атеистического и материалистического движения, которое в это время распространилось среди немецких студентов, теологов, врачей и части ремесленников. Это движение в целом питалось учениями Спинозы, Гоббса и Гассенди и английских деистов.

Вопросы атеизма, спинозизма и материализма стали в конце XVII века и начале XVIII вопросами, занимавшими не только специалистов-теологов, но и более широкие массы. Они обсуждались не только в аудиториях университетов, но и в других местах, начиная от плебейских пивных и кончая королевскими салонами (София Шарлотта). Существовала, однако, одна группа людей, у которых эти идеи из области чисто умственных рассуждений переходили в область экспериментального рассмотрения. Этой группой были врачи. Материалистические взгляды имели среди врачей особенное распространение. Имея дело с человеческим телом, изучая его функции, наблюдая изменения в человеческой психике, в зависимости от изменения функций тела,—они часто приходили к материалистическому выводу, что человек мало чем отличается от остального животного мира. Рассматривая, как гордый человеческий разум ослабевает и лишается силы от какой-нибудь лихорадки, от нескольких бокалов вина, они начинали сомневаться в божественности разума. Постепенно они сталкивали человека с его царственного пьедестала, и тогда человек оказывался просто animal humanum, человеческим животным. Некоторые врачи, развивая эту мысль, становились на точку зрения Гоббса и рассматривали человека,

как машину, как тонкий механизм. Известно, что представление человека как механизма в XVIII веке настолько было распространено среди ученых, что многие серьезно и упорно занимались конструкцией такого механизма. Во Франции к концу века многие достигли больших успехов в устройстве механических кукол, которые многим верующим людям внушали искренний страх и отвращение. В этом увлечении механикой нет ничего удивительного, если вспомнить, что в XVII и XVIII веках математика и механика были фактически единственными науками, заслуживавшими это название. Декарт создал механистическую картину мира, Спиноза видел весь мир в геометрических формах, двигающихся в логической последовательности; Гоббс, Гроций и др. и общественный мир рассматривали как игру притягивающихся и отталкивающихся атомов. В это же время Ньютон свел все движения нашего мира, к нескольким простым и изящным математическим формулам. Одним словом, математика и механика были именно теми науками, выводы и методы которых господствовали в эти века над ученым миром и неудержимо привлекали к себе мыслящее человечество.

Все же иногда, и, как это ни странно, именно в отсталой Германии, в которой влияние новой научной мысли было слабее, чем в других странах и где гнет церкви и духовенства были сильнее, возникали иногда зачатки идей, господство которых наступило лишь в следующем—XIX—столетии.

Некоторые врачи, придя к заключению, что человек не представляет собою ничего божественного, а является одной из форм органической жизни, развивали эту мысль и искали обоснования ее не в механистическом миросозерцании, а в философии, основанием которой являлась биология,—наука, достигшая известного развития лишь во 2-й половине прошлого века.

Тем не менее, уже в XVII и начале XVIII века стал замечаться некоторый сдвиг в области изучения органической жизни. Этот сдвиг обусловился общим ростом научного познания и тем плодотворным методом, который был введен в области физики в связи с значительным ростом производительных сил, в особенности в тех странах Европы, в которых буржуазия добилась прав. Научный энтузиазм, характерный для того времени, заразил многих ученых, занятых во всех областях знания, а успехи геометрического и экспериментального методов привели к тому, что эти методы стали применяться и при изучении живых тел. Бореллиус, например, изучал мышцы тела и делал опыты, пытаясь об'яснить анатомические и физиологические явления на основании принципов физики, в частности, законов движения рычагов. Бойль делал ряд опытов над живыми телами, пытаясь на организме оправдать законы физики. Такие опыты делал еще Декарт и многие врачи, в том числе и Бургаве. Но одновременно с этим механистическим направлением в биологии создавались уже тогда несмелые протесты против приложения принципов механизма при изучении организмов. Мальпигий, Сваммердам, Левенгук выдвигали на первый план процесс роста. Были открыты благодаря микроскопу клетки инфузории, тельца, самостоятельно движущиеся в мужском семени; внимательно изучалась жизнь животных и насекомых. На основе этих, правда, еще зачаточных достижений все же делались обобщения, которые получали свое подтверждение лишь много десятков лет

спустя. Так, характерно, что тогда уже создались теории о передаче болезней путем перехода микроскопических животных от одного организма к другому (contagium animatum)... Теория постепенного развития была в несмелых тонах уже тогда высказана, ее знали даже французские материалисты, но, так как она не согласовалась с механистичностью их общего миропредставления, они не придавали ей особого значения, лишь глухо упоминая иногда об эволюции.

Биология не была, конечно, еще настолько сильным движением, чтобы создать почву для философских обобщений, но все же некоторые попытки могли иметь место, в особенности в Германии, где общественные условия отстали на много от условий других европейских стран.

Эти философские попытки во многом, даже в первых своих контурах, отличаются от философии механистов. Механистическая философия, в том числе и механистический материализм, склонен был рассматривать весь мир, всю вселенную, как некие огромные часы, с вечно движущимся механизмом, все винтики которого связаны между собою. Формами этой связи являлись законы, сплетенные между собою логической последовательностью и выраженные математическими формулами. Идеал Лапласа—единая математическая формула для выражения всего мирового движения—это типический идеал механистического миросозерцания. В этом миропонимании каждая отдельная вещь, представляя собою винтик в механизме, может быть вынут, исправлен, заменен другим винтом. Весь механизм состоит как будто из отдельных кусков—он, так сказать, геометричен. Нельзя отрицать того факта, что такое миросозерцание революционно, что оно рождает представления о возможности полного преобразования мира, или, по крайней мере, части его. Недаром французы, страна которых находилась на пороге революции, чувствуя близость грядущего общественного переворота, с увлечением восприняли механистическо-материалистическую философию. Сущность этой философии в том, что она дает основание для веры в возможность уничтожения всего старого и построения нового, ибо механизм не страдает, а, наоборот, улучшается от перемены и обновления его старых частей.

Другое дело миропредставление, основанное на биологии. Биология имеет дело с организмом, т. е. с таким телом, части которого срослись, сроднились. В организме отделение частей есть отделение органов, что не всегда возможно, а, во всяком случае, вызывает болезненное состояние и создает опасность для всего организма. Механистическая теория не исторична, а всегда носит характер искусственный, конструктивный, между тем как биология создает представление о росте, о созревании, о процессе развития. Если механистическая философия приводит к требованиям общественных реформ, в которых история прошлого развития почти не играет роли, в которых совершенно отсутствует то, что теперь называют исторической перспективой, то биологизм, наоборот, содействует созданию представлений о слабой роли человека в общественном процессе, в котором отдельные формы его вырастают постепенно и медленно. Если механистическая философия революционна, то, наоборот, биологическая в своем чистом виде—реакционна, она оставляет общество его собственному медленному развитию. Недаром теория эволюции

получила распространение после французской революции (Конт) отчасти как реакция против революционных стремлений прошлого века. Нужно было явиться Гегелю и Марксу, чтобы создать систему философии, в которой принципы эволюции и революции соединились бы в едином синтезе. Нужно было выступить на общественную арену классу пролетариата, чтобы создать философию диалектического материализма, рассматривающую как общественные, так и физические явления, как революционные процессы. В XVIII же веке попытки построения философии, основанной на биологии, несмотря на революционный темперамент автора, могли привести лишь к обратным результатам. Это в особенности верно по отношению к Германии, в которой революция не имела достаточных экономических предпосылок, а революционные настроения были навеяны извне и не получили конкретного массового выражения. Если и были некоторые единичные революционные натуры, то, несмотря на скрытое сочувствие передовой части общества, они подвергались преследованиям и книги их уничтожались. Большинство ученых того времени выросло в религиозной среде и, даже ненавидя церковь, они все же не в состоянии были отрешиться от нее. Стоит вспомнить, какой долгий жизненный путь, полный сомнений и борьбы, должен был пройти даже такой выдающийся человек, как Эдельман, прежде чем окончательно сбросить с себя влияние церкви. Обычный немецкий ученый того времени, даже оппозиционно настроенный против церкви, все же весь находился под влиянием церковного мышления и схоластики. Все предложения реформ, все стремления проложить дорогу новым наукам сводились к поискам путей для примирения новых научных методов со старыми религиозными верованиями. Это выражает и анонимный автор предисловия, жалуясь на то, что ни один реформатор не взялся еще за очистку научного метода (логики) от ошибок авторитета, от гнета церкви.

Это же настроение примиренчества, соглашательства характерно и для автора двух писем, которые изложены в этой переписке. Несмотря на материалистические убеждения, он значительно проникнут духом религиозного авторитета. Автор прилагал всяческие усилия, чтобы материалистические взгляды выдать за христианские, одобренные церковью. Пользуясь отличием своих идей от идей механистов, он хочет доказать их ортодоксальность. Ему это, однако, не удалось. Своих материалистических взглядов он оказался не в состоянии скрыть. В список еретиков его все-таки включили, а сущность своего материализма он, благодаря своей трусости, затемнил и исказил. Характерно, что материалистический корреспондент в своих письмах жалуется на непонимание, а оппонент не в состоянии понять, что тот хочет, и, отвечая ему, подвергает критике распространенный в то время механистический материализм.

II.

Прежде, чем перейти к изложению философских взглядов обоих корреспондентов, как материалиста, так и антиматериалиста, мы считаем нужным остановиться на замечательном для Германии того времени литературном документе, а именно на «веселом» предисловии анонима. Написанное на странном немец-

ком языке, в котором немецких слов немногим более, чем латинских и французских, это предисловие отличается веселым и ироническим остроумием, иногда не уступающим блестящему остроумию Вольтера. Однако влияние Вольтера на автора предисловия исключено, так как во время издания переписки—1713 год (переписка была затем 4 раза переиздана)—Вольтеру было всего 19 лет, и он только пробовал свои силы в области сатиры. Кроме того, это предисловие представляет собою художественный документ, интересный для характеристики университетского быта и общественно-научных настроений Германии того времени. Мы полагаем, что вместо изложения его гораздо целесообразнее будет привести это предисловие целиком, тем более что оно по размеру небольшое:

«Господа,

В мало-мальски ученом мире существует вполне определенное убеждение, что высокое солнце философской истины долгое время скрывалось за глубочайшими и мрачнейшими тучами. Я почти могу сказать, что все Олимпиады философии, вплоть до Декарта (хотя он в своем вновь выстроенном мире не обещал мне деревеньки), содержали мало истины.

Что в этом удивительного, если орудие, посредством которого мы достигаем истины—логика, находилась в хаотическом состоянии и ждала своего реформатора. Вследствие этого философская наука лежала крепко скованная схоластической династией, которую мы единодушно сейчас называем варварской и рабской, и в страхе и дрожании ждала, когда ее, подобно осужденной на сожжение ведьме, выведут на место казни, где она закончит свое мучительное существование. Этот крест невинная и подобная Нову физика продолжала носить до начала XVII в., когда Франциск Бэкон или Барон Веруламский устремился на помощь этой полумертвой особе, открыл ей выход и подверг лечению. Затем ей была оказана помощь анатомическим лечением, огнем и другими машинами и изящными опытами, которые только начинают сейчас входить в употребление. Наконец, освободившись от всех остатков меланхолии, физика пришла в такое состояние, что могла конкурировать с м-дам Метафизикой и даже оспаривать у нее знамя первенства.

Этого не случилось бы, если бы счастливая судьба не открыла тогда глаз добрым людям, если бы она не разбудила их от глубокого сна и не научила, что нужен был только предлог, если бы она не показала, что уважаемая г-жа Логика все еще выглядит запустелой вместе с своими письменами. Конечно, смеяться тогда нечего было, так как каждый видел, что недостает работника-конюха, который начал бы очищать Авгиевы конюшни схоластической глупости и открыл бы физике ясный маяк, при свете которого можно было бы избегнуть без всякой опасности для души опаснейших порогов педантического невежества и гибельных водоворотов всяких «скрытых качеств», «внутренних форм», «лишенностей» и «энтелехий». Однако, что было делать? Не каждая добрая душа хотела подвергнуть себя опасности, подобно Муроту. Тогдашняя суровая зима ничем не напоминала теперешнюю весну, когда окрепшая математика начала зеленеть и пускать почки. Каждый легко может угадать, что теперь г-да математики на этот подвиг вполне способны почти

так же, как двойная охрана из испанских инквизиционных драгунов, и в десять раз лучше, чем борзописцы из рода Левитова, у которых das Blätgen noch nicht zu.

Математики, вместе с своими дельными помощниками, способны к этому, так как своими бесконечно протяженными главами, снабженными бесконечными чертежами, кругами и линиями и наполненными странными, выдуманными телами, они защищены от всех вражеских бомб и всегда готовы к атаке. Что, однако, оказалось наиболее удачным, это то, что они обладали внутренним божественным призванием (internam divinam vocationem) и, побужденные надеждой на бессмертное имя, бесстрашно осмелились вступить в бой. Когда же разгоряченная логика была двинута в битву и растерявшиеся передовые посты стали тыкать друг в друга доказательствами и табачным дымом, надежда (и не напрасная) охватила весь ученый мир. Ибо величайшие математические гренадеры стали так энергично действовать против врага восемью родами платоновских тел, что прежде, чем можно было заметить, как ужасные Barbara Celarent появились рядом с Ferioque Barocо, правое крыло дрогнуло и вынуждено было отступить. Левое крыло, имевшее впереди себя страшные обращения и терминологию, к счастью, также обратилось в бегство, так что поражение было полное. Еще победители сами не заметили своего торжества из-за поднятой школьной пыли, как услыхали звуки труб и крики бегущих. Как только рассеялся дым математических гранат, можно было яснее заметить белый флаг и высланных парламентеров. Как только последние начали говорить, можно было услышать, что измученная логика хочет сдаться на милость благородной математики и предлагает мягкосердечному врагу решить, желает ли он, как храбрый победитель, вступить с музыкой и развевающимися знаменами через разрушенные снарядами стены в ее Капитолий. Обрадованные милосердные победители, приведя с помощью своих хирургов тяжелораненую логику в состояние, не внушавшее опасения за ее жизнь, стали подумывать о своих лавровых венках и, распределив посты, чтобы предупредить всякую педантическую помощь, принялись за полное восстановление стен и развалин.

После того, как это было сделано, появился некоторый свет в науке и разуме, и логика, выглядевшая весьма кислой, стала приветливее. Хотя эти добрые люди закончили свою работу, они все же не подумали коснуться старой могилы, которую не пытались обновить и старые логики. Это—предрассудки авторитета, и пока, говорю я, они сильным взрывом не будут выброшены к интеллигенциям и надмировым пространствам, философия не сможет похвалиться никакой полной реформацией. Ничто не распространяется с такой легкостью по свету, как эти предрассудки авторитета. Неслышным путем проникают они в мозг легковерных людей и создают в нем тысячи заблуждений; это они приговаривают какого-нибудь бедного Ванини к сожжению на костре; это они же приводят к увеличению числа еретиков и атеистов; и это они создадут пятую монархию, раньше Людовика Великого. Сильнейшее распространение предрассудков авторитета поставило также вопрос: должны ли теперь более умные ученые двуглазой Европы дальше преследовать своими философскими упражнениями и разбивать громом своих авторитетных писаний еретиков и атеистов, или же позволить им расти вместе с пше-

ницей. Некоторые хотят решить этот вопрос категорическим да, но, услышав вторую часть вопроса, они советуют (juxta Captum vulgi erronei) прислушаться к голосу толпы и содействовать Петру Сквенцу и держать Daradiridatum tarridem Horribricribrifax перед испанскими рыцарями или английскими графами (или что там еще держит г-н Маркс за стаканом вина). Мне бы это, собственно, вполне понравилось, если бы тот, кто хотел меня уговорить, имел бы больше доказательств в руках и не хотел бы меня укрепить дюжиной versuum memoralium... вместо прекрасного венгерского вина. Они выражаются так: правильно кто-то сказал: «Если живешь в Риме, живи по римскому обычаю, если живешь в другом месте, живи так, как там живут». Мир хочет, чтобы им управляли мнения, или, если все будут больными, то тот, кто не захочет заболеть, будет больным. В этих прекрасных поговорках я вижу так же мало доказательной силы, как в прыгающих из Троянского коня солдатах. Другие, однако, торжественно протестуют и хотят во что бы то ни стало стать мучениками врожденных истин. Я слишком неловок, чтобы стать весовой стрелкой в этом споре, но, по моему мнению, кажется вполне вероятным, что простой человек, вследствие ежедневного отсоветования, постепенно поумнеет, так как не силой, а постоянным действием капля пробивает камень (non vi, sed saepe cadendo, cavat gutta lapidem).

Притом я не могу отрицать, что эти предрассудки весят довольно много не только у невежд, но и у так называемых ученых, и будет стоить еще многих усилий выкопать эти глубоко зарывшиеся корни из людских голов. Ибо пифагорийское αὐτὸς ἔφα прекрасное средство для лентяев, которым любой философ может прикрыть невежду до пяток. Sed manum de tabula— довольно пользоваться во всех наших действиях отвратительными рабскими предрассудками авторитета. Я упоминаю лишь об одном предрассудке—о душе. Какую только судьбу она ни имела, как часто ей приходилось странствовать по человеческому телу и сколько различных суждений о ее сущности распространилось по миру.

Иной помещал душу в мозгу, и многие вслед за ним поступали так же. Иной же помещал ее в Gla dulam Pinealem, и многие соглашались с ним. Некоторым это помещение казалось совершенно справедливо слишком тесным. Душа, по их мнению, не могла бы, как в кофейнике, играть в L'ombre. Поэтому они простирают ее по всему телу и во всем теле, и хотя разум легко понимает, что тогда у человека должно было бы быть столько душ, сколько точек в его теле, все же находятся обезьяны, которые так и полагают, так как почтеннейший г-н Praeceptor, которому 75 лет от роду и который 20 лет является достойнейшим ректором школы, считает это мнение наиболее вероятным. Некоторые помещают душу в сердце и заставляют ее плавать в крови, а некоторые сажают ее в печень; иные же заставляют ее быть сострадательным стражем беспокойной задней крепости, как это обнаруживает иногда рассмотрение книг.

Еще бессмысленнее бывают иногда рассуждения ученых о сущности души. Я не хочу сказать, какие мысли бывают у меня, когда я вижу у господина Комения, человека безупречной честности и известного во всем мире, незрелое рождение, состоящей из одних пунктов, души. Я просто благодарю бога,

что я не сторонник его, и обладаю грязью в теле. Я хочу лишь чистосердечно заметить, что, если бы его сиятельство, г-н Аристотель, обер-гофмейстер его македонского величества, советник консистории, лейб-медик, знаменитейший профессор анатомии и ботаники, в продолжение долгого времени ректор, захотел бы, как наш магистр на экзамене rigoroso Baccalauriali,.... раз'яснить, что именно он понимает под своей энтелехией, то он столько же знал бы, сколько знает г-жа Лотт, были ли у нее месячные или нет, девочка ли она или мальчик, или сколько знал бы Вельзевул, если бы Ермолай Варвар спросил у него совета, когда ему преподнесли бы отказ в магистерском звании; о. Ермолай, он сам не мог бы разобраться тогда, означает ли по-немецки его rectihabeo берлинский ночной фонарь или Лейпцигскую сторожевую лампочку.

Другие, которые с греческим языком, как языком варварским, не хотят иметь ничего общего, так как греческие слова разрушают камеру памяти, не чувствуют никаких угрызений совести по поводу языческого слова энтелехия; все же они не хотят иметь вид людей, которым нечего сказать. А может быть, они думают, что тогда их вычеркнут из списка мировых ученых. Это, конечно, правильно: стать магистром мировой мудрости дело не кошачьей головы или ослиных ушей. Последние, если хотят прикрыть свиное место, или не быть молчаливыми, как рыбы, в вопросе, в котором другие претендуют на знание и высказать тоже как-нибудь свое мнение, прибегают к счастливому средству против своего невежества. В своем двухтомном произведении они помещают особую главу о скрытых качествах, которыми они, без всякого вреда для своей совести, могут, как рокрутами, заменить душу. Так как душа их представляет собою скрытое качество (qualitas occulta), то пусть она остается скрытой, ибо определение этих людей само себя опровергает и, ничего не высказывая, никого не затрагивает.

Мы обращаемся скорее к тем, которые говорят более христианским языком и ищут соглашения с библией. У этих духовно-богатых людей душа означает дух. Это значит, что душа есть нечто, чего мы не знаем, или что, возможно, есть ничто или, по крайней мере, нечто такое, о чем невозможно сказать, что мы под ним понимаем. Об этом опасно даже спрашивать; я, по крайной мере, боюсь оказаться чужим во Израиле и невеждой в писании там, где определение духа предполагается в таких словах: Дух — вещь, не имеющая ни мяса, ни костей. Я должен этому, как невежда, поверить; если только вследствие шутливой особенности, вытекающей из их мыслей или моего характера, не последую велению Христа, свободно толковать текст. Тогда я, вместо определения духа, найду его опровержение у ранних христиан, которые в мыслях были беременны чудовищными страшилищами, не обладавшими ни мясом, ни костьми, судя по рассказам милых нянек, видевших, как они пролезали сквозь замочную скважину.

Но это уже значит косить в чужом поле (falcem in alienam massem mittere)... Я думаю, они вряд ли будут особенно настаивать на этом определении, так как под это определение подходят сдобные булки, тачки, умбрийские ослы, козлиная шерсть, корзины для куриц и тысячи других кельклюзов, обладающих так же мало мясом и костьми, как и духи. Да, определение духа

напоминает мне определение платоновского человека, который представляет собою вещь, имеющую две ноги и лишенную перьев; тогда в насмешку над г-ном Платоном по аудитории пустили общипанного петуха. Но у меня уже в горле просохло от такого количества иссохших рассказов о сущности души. Я заявляю, что моя невинная юность не в состоянии больше выкапывать дальнейшие сущности души из укрепляющих сердце утешений, переплетенных в свиную кожу, и заслуживающих, чтобы их вместе с другими отбросами бросили в бездну моря. Поскольку я говорю по-христиански, я должен признать, что такой дух существует и кочует по человеческому телу, как бы трудно ни было духовно-богатым господам об'яснить действия духа в теле, так как все действия или движения происходят вследствие внешнего соприкосновения. Дух же, являющийся чем-то нематериальным, не имеет частей и еще менее внешние части. Поэтому являются некоторые и называют душу тонкой материей и признают сущностью души расположение и строение частей нашего тела. У них имеются свои соображения о смертности или бессмертии души, которые не нравятся остальным (напр., Гоббс в Левиафане и Appendix'е). Другие же, хотя и не говорят ничего нового, все же показывают студентам новую одежду и дают ребенку новое имя. Многие принимают это ученье потому, что оно ново, многие потому, что слыхали о том, как авторы его были превращены в еретиков и атеистов, а так как теперь атеизм (скорее по имени, нежели по содержанию) является существенной принадлежностью высшей немецкой интеллигенции, как Forts Esprit во Франции, то многие и хотят приобщиться и также называться еретиками и атеистами. Не имея, однако, новых идей, они в обществе высасывают из пальца извращенные рассуждения о душе и ищут пустой славы, и, как сказано в пословице, слывут еретиками против собственной воли, только на основании их наружности, так как никогда не пробовали поразмыслить— истинны ли их рассуждения.

О таких рассуждениях, дорогой читатель, будет сказано еще впереди, так как из таких различных сентенций образовалась приличная и учоная система. Я уже теперь предвижу, что многие из полных предрассудков Назонов поднимут крик прежде, чем прочтут настоящий трактат, который написан вполне серьезно и совершенно отличается от предисловия, написанного очень спешно по желанию знатного покровителя. Собственно, меня лично последнее мало трогает, так как я буду вместе с учеными судить и вместе с насмешниками весело смеяться. Для меня будет вполне достаточным, если такие полные предрассудков машины для производства трудов, такие невежды и педанты обнаружат, благодаря преждевременному осуждению этого трактата, свои ослиные уши, как это уже сделала Валаамова ослица. Для того, однако, чтобы каждый беспартийный читатель, а в особенности друг, намеревающийся прочесть трактат, имел о нем некоторое понятие, я должен сообщить, что перед печатанием трактат был показан некоторым хорошим друзьям и был ими признан противоречащим ортодоксальному богословию. Вполне возможно, что трактат (чего бы мне не хотелось) не выдержит испытания здравого рассудка и кто-нибудь на диспуте о духовности души возразит, что в трактате даются не постулаты, а лишь случайные размышления. Поэтому я заявляю, что я написал предисловие

в короткое время по веленью уважаемого друга и не принимал никакого участия в его составлении, так как он написан более ученым человеком, нежели я. Трактат состоит из 3 писем, которыми обменялись некоторый профессор, которого мы окрестим Гермесом, с неким доктором медицины, которого мы до того, как он откроет свое имя, окрестим Кратесом. Во время одного моего путешествия врач дал мне, как обыкновенному профану (что следует из религии и евангелия врачей; смотри не читай этих книг), вместо дуката на дорогу этот трактат, состоящий из целой связки сомнений, за которой следует опровержение профессора, и, наконец, опровержение профессорского опровержения. Как сказал мне профессор, он собирался написать по поводу последнего письма солидное возражение. Затем прекратить переписку и все письма вместе отдать в печать, чтобы ученый мир мог судить, хорошо ли он опроверг врача. Но случилось вот что: явилась смерть и вычеркнула Гермеса. Мы должны были по воле судьбы взять в наши руки эти шероховатые письма, несмотря на то, что мне г-да спиритуалистические философы с их определением души достаточно надоели. Будучи юным задирой, я все же не имел смелости опровергать этих высокопочитаемых и озаренных светом мудрости господ. Я все же решил это сделать сейчас, так как виттембергские господа стали своими спорами с ректором Планером о сущности души начинять мою голову новыми идеями; но так как моя голова наполнена идеями о душе до предела, то я решил в этом предисловии выложить свои идеи, чтобы оставить место для других. Однако сдать этот трактат в печать заставили меня, кроме виттембергских дел, еще два частных соображения. Во-первых, то, что Гермес мортв и не сможет заняться опровержением второго письма врача. Затем то, что во втором письме Кратеса содержатся вещи, которые кажутся мне вполне вероятными, и которые я, при моем незначительном остроумии, не могу вполне опровергнуть. Прикрыть же все предрассудки при помощи буллы excomminicatio-nis... я не хочу, так как я, как все другие поклонники истинной философии и враги схоластического метода, не склонен в изучении темных проблем слепо, без критики верить тому, чему нас учат наши дорогие учителя.

Прежде, чем закончить свое предисловие, я хотел бы указать беспристрастным читателям ту цель, которую я имел в виду. Пусть эти читатели не откажут в опровержении тех реплик, которые не являются достаточно ортодоксальными, и тем избавят меня от сомнений; но пусть они позволят мне, однако, изложить здесь мое удовлетворение или мои пожелания в том случае, если они меня не убедят. Я торжественно протестую против рассмотрения моего сочинения, как стремления к новаторству, ибо я даже не мечтаю о чем-либо подобном; и пусть никто не пытается превратить, как это со мной уже случилось, бедного анонима в еретика и тем дать повод г-дам книгопродавцам сделать новое прибавление к Арнольдовой истории ереси. Если в этой рукописи имеются ошибки, то это не моя работа, если же я заслужил ученый запыленный шиллинг у г-д ортодоксов за то, что приготовил ее к печати, то я их в заключение уверяю, что это я сделал, чтобы получить твердое истинное познание. Я был бы очень огорчен, если бы мое имя по многим неопределенным соображениям было названо иначе, чем аноним, так как я совер-

шенно не ищу славы. Если вы вспомните, что это только предисловие, то мне останется передать его с подобающим каждому читателю, в зависимости от его происхождения, почтением, и с вашего разрешения называться в продолжение своей жизни, г-да,

Вашим покорным и преданным слугой
Анонимом».

III.

Предисловие в довольно веселых тонах уже указывает на основные моменты расхождения корреспондентов. Не излагая подробно вопросов спора и доводов сторон, оно живописно успело обрисовать фон спора и лейт-мотив, легший в основание диспута.

Весь спор развертывается по поводу одного вопроса—сущности души. В процессе спора затрагиваются и решаются другие важные проблемы философии, но все они приводятся только в связи с вопросом о том, что такое душа. Этот вопрос, который занимал ум философов в продолжение всего христианского периода, в переходную эпоху XVII века стал одним из боевых вопросов, характеризовавшим общественный процесс, который тогда имел место.

Основным требованием эпохи распада феодализма и назревания капитализма был рост производительных сил. Рост производительных сил во многом обусловливался и в свою очередь требовал дальнейшего роста научных достижений. Однако для того, чтобы добиться результатов в научных исследованиях, нужно было оставить средневековые схоластические пути и создать новый метод научного исследования и мышления, новую философию. Философы переходного периода XVI—XVIII вв. и были заняты разработкой нового метода, но здесь они должны были столкнуться с оппозицией старых взглядов и убеждений. Эта оппозиция была чрезвычайно сильной, во-первых, потому, что христианская идеология в период феодализма отвердела, откристаллизировалась в крепкую, сколоченную твердыню церкви, а во-вторых, приспособилась и срослась с феодальным общественным строем. Новая философия, таким образом, оказалась в мятежном лагере и имела против себя церковь и светскую власть. Борьба против церковного авторитета шла двумя путями; во-первых, применением новых методов на практике и рядом научных открытий, против которых церковь, несмотря на всю свою ненависть, была бессильной, и, во-вторых, путем критики церковных догм и нападения на церковь в ее собственном лагере. Одной из атак на церковные устои и была атака на духовную субстанцию души. Согласно принятому церковью верованию, человек представляет собой двойственное существо, промежуточную ступень между чистым духом и грязной материей. Человек представляет собою соединение двух противоположных элементов вселенной: бога и дьявола, добра и зла, добродетели и греха. Состоя из материального тела, он носит в себе, включает в свою сущность элемент бога—душу. Последняя, являясь частью вечного и неизменного духа, сама бессмертна, несмотря на гибель телесной оболочки.

Против этой теории духовности и бессмертия души выступили крайние противники церкви. Признать духовную субстанцию души значило выделить человека из общего механизма все-

ленной и установить, что законы, господствующие во всем мире, неприложимы к нему. Это значило также, что господство разума, выражавшегося в закономерности явлений природы и являющегося основной предпосылкой нового научного метода, неприложимо в отношении к жизни человека. Другими словами, церковь, вынужденная постепенно силой вещей признавать значение нового метода, новой философии в отношении механики и физики, с упорством и энергией защищала самую основную свою позицию—трансцендентность человеческой жизни. Признать господство разума в этой области для церкви и феодализма означало признание критики общественного строя с точки зрения разума, означало падение своего авторитета, признание законности революции. С другой стороны, новые общественные силы, новые революционные элементы общества именно последнего настоятельно добивались и с неослабеваемой энергией штурмовали эту крепость феодализма.

Критика духовности и бессмертия души обычно исходила из сравнения человека с животными. Изучая животных, анализируя их строение и строение человеческого тела, некоторые философы и большинство врачей задавались вопросом, является ли необходимостью помещение в человеческом теле особой субстанции души для об'яснения жизни человека. Такой же вопрос возник у врача, автора материалистических писем в анонимной переписке. В начале первого письма он рассказывает, как, после многих исследований и опытов над животными и людьми, у него возникло сомнение в необходимости души. Автор в первом письме еще не отрицает существование души, он для этого слишком осторожен, он лишь пытается показать, что жизнь человека может быть понята без души. Для того, чтобы это показать, он вынужден строить материалистическую психологию. Но материалистическую психологию нужно было основать на материалистическом миросозерцании. Последнее имелось уже в готовом виде. Существовал определенный путь, несколько проторенная дорога. Те врачи и философы, у которых возникали сомнения относительно сущности души, находили сразу поддержку в стройных системах Гоббса, Гассенди или Спинозы. Легко было философствовать вместе с ними, следить за почти математической последовательностью рассуждений этих философов, и находить в их системах материалы для ответов на многие вопросы. Большинство материалистов и вообще еретиков того времени поэтому так и считались последователями Гоббса и Спинозы. Но автор материалистических писем был слишком осторожен и совсем не имел намерения попасть в список еретиков. Кроме того, ему, повидимому, мало импонировала механистическая картина мира великих рационалистов XVII века. Как врач, автор, благодаря своей профессии, имел дело с живыми организмами. Кроме того, он был поклонником Платона и был близок к мистическим сектам Германии, что ясно заметно в его письмах. Вследствие этого, он склонен был признавать, что принципы механики Декарта недостаточны для об'яснения всех сложных явлений жизни человека. Отсюда понятны, несмотря на частые ссылки на Гоббса, его неоднократные просьбы к своему оппоненту не смешивать его с механистами и не считать его последователем английского материалиста. Его оппонент, однако, как мы указывали, не в состоянии его понять. Он видит в нем человека,

отрицающего необходимость души, и так как всем было известно, что душу отрицают материалисты, т.-е. механисты, то он и подверг критике философию не своего оппонента, а Гоббса. Кстати, можно заметить, что за последнее время к этой критике противниками материализма прибавлено чрезвычайно немного. Критик материалистических взглядов хочет произвести впечатление либерального человека, прислушивающегося к новым направлениям мысли. Он принадлежит не к непримиримым врагам новых идей, а к умеренным консерваторам. Прежде, чем перейти к критике взглядов своего оппонента, он рассказывает с видом опытного человека, успевшего осознать ошибки молодости, что он в свое время также не был чужд материалистическому греху и верил, что душа человека представляет собою материальное существо, некую огненную субстанцию, мало чем отличающуюся от spiritus animalium или fluidum nerveum»... Но бог помог ему постигнуть истину; он ниспослал на него болезнь, и бедный профессор, лежа в горячке и боясь за свою жизнь, усомнился в истинности материалистических принципов и поспешил возвратиться в лоно христианства. Выздоровев и убедившись в существовании души, он все же сохранил старые симпатии и скрыл свои христианские убеждения за ширмой удобства. В этом смысле он вполне предшественник современных скептиков и позитивистов. Дескать, значительно удобнее признать существование нематериальной души. В самом деле, стоит вывести способности к мышлению и велению от бога, и станут ясными самые запутанные последние проблемы и различные богословские контроверзы, как lapsus Adami, propagatio animal per traducem, communicatio motus organorum corporoorum, perceptio sensualis et impressio idearum и т. п. Между тем, как признание механистического принципа хотя и заманчиво с точки зрения логики, но зато влечет за собою множество сомнений и сложных вопросов, остающихся без ответа. Профессор поэтому склонен защищать божественное происхождение души. Он спрашивает: если душа материальна и представляет собою только результат расположения частей механизма, то что представляет собою принцип движения, мышление, воля. Являются ли они первичными или зависят от этого расположения. Если имеет место последнее, то, как об'яснить, что часто механизм остается целым, а человек оказывается не в состоянии не только мыслить, но и двигаться; как это бывает, например, когда человек попадает в безвоздушное пространство. Как об'яснить тогда конструкцию человеческой машины, процесс его образования? Неужели прав Шваммердам, что все сложные мысли людей уже заложены в эмбрионе? Но тогда,—восклицает пораженный профессор,—как могут люди осуждать и казнить женщину, ведь вместе с ней осуждают множество невинных существ, которые сами могли бы произвести еще миллионы существ? Кроме того, как об'яснить рост яичка, из которого развиваются все существа, в том числе и человек; кто направляет это развитие, кто его творец. Нет,—убежденно заявляют профессор,—без движущего принципа, без бога все остается темным и непонятным. Правда,—продолжает профессор,—есть еще одна философия, которая заявляет, что сам бог материален, что он протяженен и состоит из массы. Профессор, повидимому, имеет в виду Спинозу, хотя он старательно избегает даже упоминания его имени. Философия Спинозы, повидимому, пользовалась такой

страшной репутацией, что, при мысли о нем, профессор терял свое научное спокойствие. «Если это так,—взволнованно восклицает он,—то пусть кто-нибудь мне скажет, как из протяжения, массы и фигуры может возникнуть идея, суждение, рассуждение, мнение, сомнение, любовь и ненависть. Нет, мне думается, значительно лучше и ближе к истине философствует тот, кто признает последние аттрибуты прямо противоположными аттрибутам, находящимся в материи».

Кроме этих обычных возражений против материализма, из которых часть представляет собою просто леность мысли и отсутствие уверенности в способности человеческого общества к развитию, а часть—перенесение на космос, мир в целом, принципов, имеющих значение для определенной его части в известное время, в рассуждениях профессора интересно отметить то влияние, которое оказывала на первые шаги современного научного мышления Аристотелевская логика. Ум человеческий, вышколенный в университетах и привыкший на диспутах мыслить по правилам Аристотеля, путался и терялся постоянно, когда ему приходилось сталкиваться с явлениями научного опыта, не укладывавшимися в рамки силлогизма. Движения небольших механизмов еще можно было об'яснить с помощью несколько реформированной старой логики, но, в самом деле, как об'яснить с ее помощью механизм вселенной, в которой движение совместимо с покоем, проницаемость с непроницаемостью и т. д. Или как об'яснить рост организма и явления воли и мысли, где одно не только не вытекает из другого, а в одно и то же время сосуществуют прямо противоположные элементы. Если в философских системах великих рационалистов Декарта, Спинозы, Гоббса имеются элементы новой логики, то они не были достаточны, носили отрывочный характер и не могли быть обоснованы, вследствие незначительных успехов биологии и общественных наук в их время. Отсюда профессор, критикуя материализм, мог с торжеством ссылаться на ряд противоречий, не укладывавшихся в ложе старой логики, и заключать отсюда, что существует бог, который, благодаря своему всемогуществу, может совместить несовместимое и творить, не считаясь с Аристотелем.

Нельзя отрицать того факта, что профессор затронул здесь центральную проблему философии. Противоречия, которые казались вечными, проклятыми, служили основанием для всяческих метафизических споров. XVIII век не мог решить вопроса о противоречии между формальной логикой и противоречивой действительностью. Лишь в конце XVIII века Кант стал пытаться доказывать логическую законность противоречивых явлений и лишь общественные катаклизмы конца XVIII и середины XIX века содействовали возникновению диалектической философии. Мы, конечно, еще далеки от законченной диалектической логики, но мы по крайней мере знаем, что человеческий разум не ограничен силлогизмом Аристотеля и что возможна и достижима логика не только физических, но и самых сложных общественных явлений.

Интересно, однако, мимоходом отметить, что в настоящее время, представляющее собою новую волну общественных катаклизмов, возражения профессора против материализма вновь воскресли в трудах многих европейских философов и на страницах философских журналов вновь ожили старые споры об ограничен-

ности разума, о сложности явлений, о необ'яснимых противоречиях и т. п. Теперь, когда на миг затихли громы классовой борьбы, стали слышнее хриплые голоса старого спора между религией и наукой за господство над землей.

IV.

Одна основная идея проходит через оба письма анонимного материалиста. Эта идея лежит в основании всего его миросозерцания и она-то дает ту своеобразную окраску его философии, которая отличает ее от учений остальных материалистов XVIII века. Идея эта—рассмотрение явлений в процессе их роста, их развития. Автор даже употребляет термин «эволюция», отличая его от инволюции, т.-о. от обратного движения. Он пришел к этой идее, следя за постепенным ростом организма. Видя, как из яичка создается организм, следя за тем, как организм, постепенно развиваясь, совершенствуется, приспособляется к среде, анонимный материалист стал обобщать этот факт и рассматривать все явления, как известные ступени в процессе роста вещей.

Однако идея развития была еще настолько чуждой, что автор вынужден был приспособить ее к какой-нибудь известной теории. Такой теорией казалось учение Аристотеля о формах вещей. Способность материи, по учению Аристотеля, как пассивного элемента, подчиняться воздействию переменчивых активных форм, казалась автору более подходящим для выражения смутно существовавшей у него идеи развития, нежели понятие движения материи. Нужно сказать, что у большинства мыслителей XVIII века представление о движении материи связывалось с движением рычагов в искусственном механизме. «Если даже взять,—восклицает автор,—клин, винт, щипцы и vectus, т.-е. весь подбор инструментов ремесленника, то я все же сомневаюсь, можно ли эти принципы приспособить к формам вещей», т.-е. к постоянному потоку, к непрерывному процессу изменения сложных качеств вещей. Вполне понятно, что смешение учения о формах Аристотеля с тем представлением о развитии, которое существовало у автора, могло привести лишь к недоразумениям. Автора не поняли, как мы уже видели, ни современники, ни даже современные исследователи, как А. Ланге.

По Ланге, у автора имеются два оторванных друг от друга разделенных мировоззрения: одно Аристотелевское—идеалистическое, другое—материалистическое, навеянное философией Гоббса и Гассенди. На самом деле, однако, мы имеем у автора единое миропредставление. Автор представляет себе мир, как огромный организм, составленный из мельчайших частиц-атомов, соединенных между собой по законам механики. Но, в отличие от механистов, он полагает, что движение отдельных элементов мирового организма происходит не по законам механики, а биологии. Автор берет, как данное, не атом, а конкретное тело, которое он рассматривает, как организм. Внутри организма могут происходить механистические процессы, но тело само изменяется органически, оно развивается, а не только движется. Каждое тело, таким образом, есть не только механизм, но и организм, оно представляет собою синтез двоякого рода движения—механистического и органического. Представление о мире, как о протяженной материи, в которой все серо и однообразно,

кажется автору чудовищным. Мир для него—не геометрическое пространство, а живое разнообразие вещей. Каждая вещь материальна, она существует, как пространство, но она в то же время индивидуальна и жива, ибо она представляет собой организм.

Учение о развитии организма приводит автора к учению о психологии, которая отличается от обычных теорий материалистов того времени только своей крайностью. Органы некоторых живых тел приспособлены к восприятию определенных движений материи. Последние вызывают, благодаря раздражению определенных нервов в мозгу человека, ряд явлений, которые мы называем мыслями, идеями, чувствами. Последние не материальны, они даже не реальны,—они только фантомы, смутные образы. Одни и те же раздражения нервов могут вызвать различные образы. Автор все же сознает, что идеи имеют какую-то закономерность. Пусть они фантомы, но некоторые из этих фантастических, нереальных образов укладываются в какие-то закономерные ряды. В самом деле, отрицать реальное существование идей, значит для автора закрывать глаза на целый мир, отрицать науку, философию и попасть в число преследуемых атеистов. Автор ищет выхода из этого положения вещей. Что такое мысль, идея? Она не материальна, она не есть органическое тело, подобно материальному телу. Признавать ее божественную сущность автор не хочет, так как он все же скрытый атеист. Чтобы найти выход, автор, под влиянием немецких мистических сект, склонен признать в идее—отражение материи в себе самой. На самом деле, в этом представлении нет ничего мистического. Представим себе движущееся тело, которое оставило на своем пути след. Этот след и есть идея тела. Тело подвинулось дальше, но движение тела и следы его в дальнейшем различны, они живут отдельной жизнью, хотя и связаны между собой.

Высказав в смутной и запутанной форме эти общие понятия своей философии, автор подходит к решению вопроса о сущности души—основного вопроса философских рассуждений в Германии того времени. По мнению автора, душа—это не сверхестественная причина человека, не руководитель и целевой принцип его тела, даже не жизненный принцип, а единство идей, чувств и страстей в человеке. Так как, в конечном счете, и идеи, и чувства, и страсти—результат материальных процессов тела и зависимы от тела, то понятие души вообще излишне. «Мы слишком много,—говорит автор,—молились словам душа, дух, духовная субстанция. Если эти слова что-нибудь обозначают, то я хочу, наконец, знать, что это такое. Я считаю душу ничем иным, как существующими в нашем теле возможностями совершать действия, отличные от действий животных. Эти возможности и создали у людей уверенность в их божественном происхождении, в божественности их души. На самом деле, люди действительно божественны, ибо, благодаря этим возможностям, человек создал представление о могущественнейшем и высочайшем боге». Автор еще ярче выражает эту мысль в другом месте того же письма: «человек может создать понятие о высочайшем боге только благодаря наделению его человеческими свойствами, правда, в высочайшей степени». Из этих цитат следует, что понятия души, духовности автором сводятся к человеческим свойствам, которые, в свою очередь, зависят от организации человече-

ческого тела. Таким образом душа теряет свое мистическое бытие и становится земной, человеческой. Мало того, понятие бога перестает быть началом бытия, первой причиной, субстанцией, а превращается в творение человека, имеющее бытие лишь в его сознании. Философия Фейербаха, его теория происхождения понятия бога, которая произвела крупный сдвиг в сознании образованного общества в бурное время сороковых годов XIX столетия, как видим, довольно ясно намечалась немецкими материалистами уже в начале XVIII века.

Структура света[1].

Дж.-Дж. Томсон.

Предисловие.

Печатаемая в настоящей книжке нашего журнала статья Томсона «Структура света» представляет собой изложение популярной лекции, прочитанной им в Лондоне 7 мая 1925 года и вышедшей сейчас отдельной брошюрой в издании Кембриджского университета.

Статья эта содержит популярное изложение замечательной попытки Томсона дать синтез теории квант и классической электро-магнитной теории Максвелла. В настоящее время можно считать твердо установленным, что лучистая энергия испускается не сплошным и непрерывным потоком, но в виде отдельных «порций» или квант, выпускаемых друг за другом и разделенных друг от друга перерывами. Мы имеем громадное количество фактов, подтверждающих это прерывистое испускание лучистой энергии, и в то же время классическая электро-магнитная теория, казалось, была бессильна об'яснить эти факты. На этой почве была построена новая теория—теория квант, резко порывающая с классической физикой, великолепно изображающая эту вновь открытую область фактов, но, с другой стороны, и эта новая теория оказалась бессильной об'яснить целый ряд явлений, с которыми классическая теория справлялась шутя.

Все это создавало благоприятную почву для подогревания философии Маха: в науку постепенно стало просачиваться вновь убеждение, что для каждой области имеют значение свои законы, которые дают «точное математическое описание» для данной группы фактов и что совершенно бесполезно ломать голову над установлением связи между специфически различными частями одной и той же науки.

Вот в эту пору почти повсеместно разлившегося пессимизма появилась в прошлом году работа Томсона, представляющая попытку разрешить противоречие между классической электродинамикой и теорией «квант». Эта блестящая попытка почти не встретила отклика, вследствие того, что работы Томсона, на которых построена его новая работа и которые были опубликованы на протяжении сорока с лишним лет, теперь почти совсем забыты—они оттеснены формально-математическими теориями в духе Маха-Эйнштейна.

Это замалчивание вызвало со стороны Томсона желание, с одной стороны, дать в более популярной форме изложение своих

[1]) Перевод Е. Семеновой, ред. и прим. З. Цейтлина.

мыслей, с другой—дать дальнейшее развитие своих мыслей и отмести ряд возражений: последнее и выполнено им в статье, носящей то же заглавие: «Структура света» и напечатанной в декабрьской книжке «Философикал Магазин» за 1925 год. Не подлежит сомнению, что имевшему место до сих пор замалчиванию работ Томсона должен наступить конец, так как теория «квант» сама вступила в полосу тяжелого кризиса. Для материалиста этот кризис дает лишнее подтверждение бесплодия метода «чистого описания», характеризующего физику Маха-Эйнштейна. Предлагаемая вниманию читателей нашего журнала статья Томсона, помимо ее глубокого философского значения, интересна еще как блестящий пример популярного изложения. Томсон мастерски излагает явление интерференции света, которое ему необходимо для доказательства преимущества излагаемой им теории. Очень интересно также изложение взглядов Ньютона на теорию света. Как и в теории тяготения, последователи Ньютона и в теории истечения пошли гораздо дальше самого Ньютона, выдавая постановку задачи за ее окончательное решение. Для Томсона эта экскурсия в область истории важна потому, что предлагаемая им теория представляет синтез волнообразной теории света с теорией «истечения» квант, которая представляет много общего со взглядами Ньютона.

А. Тимирязев.

Мне кажется, что не будет противоречить намерениям учредителей лекций имени Физона, если я сделаю свет предметом этой первой лекции. Изучение света получилось в результате достижений проницательности, воображения и изобретений не превзойденных ни в какой другой области умственной деятельности; к тому же оно лучше, чем какая-либо другая область физики иллюстрирует изменчивость теорий.

С гуманитарной точки зрения этот предмет имеет огромное значение, так как проблема света в действительности представляет из себя вопрос о переносе энергии через пространство; мы обязаны своим существованием возможности такого переноса, мы находимся на иждивении у солнца и перестали бы существовать, если бы перенос энергии с него был прерван.

Способ, которым производится этот перенос, быть может, самая важная из всех физических проблем,—является первой целью всех наших исследований света.

В течение 250 лет или около этого, было приобретено достаточное количество знаний о свойствах света, чтобы сделать возможными серьезные опыты построения теории. За исключением последних двадцати пяти лет, всегда существовала та или иная точка зрения, которая об'ясняла свойства света, поскольку они были известны, вполне удовлетворяя физиков того времени.

Был один период, продолжавшийся больше столетия, в который практически господствовала Ньютоновская или корпускулярная теория. Согласно точке зрения, которой придерживались непосредственные последователи Ньютона, энергия света переносится маленькими тельцами, называемыми корпус-

кулами, которые выбрасываются светящимися телами и движутся в пространстве со скоростью 180.000 миль в секунду.

Нужно заметить, однако, что последователи Ньютона были гораздо более корпускулярны, чем сам Ньютон. Ньютон думал, что корпускулы представляют из себя только часть света, и принимал, что эфир, так же, как и корпускулы, образует его составную часть. Так для того, чтобы об'яснить тот факт, что свет отражается так же, как и преломляется, когда он переходит из одной среды в другую, Ньютон предположил, что корпускулы имеют «влечение» к легкому отражению или преломлению, или по современной терминологии, что корпускулы находятся в состоянии колебания и что в одной фазе они легко отражаются, в другой легко преломляются [1]). Чтобы дать себе отчет об этих «влечениях», он спрашивает: когда луч света падает на поверхность какого-нибудь прозрачного тела, не могут ли колебания или вибрации возбудиться в точке падения и продолжать возрастать там и распространяться оттуда и не захватывают ли они лучей света и, захватив их, не удается ли им приноровить лучи к легкому отражению или преломлению? Он предполагает, что корпускулы, соответствующие свету различных цветов, возбуждают в эфире колебания различного типа. Повидимому, он рассматривает корпускулу как бы окруженной эфирными волнами, возбужденными ее собственными колебаниями, красные корпускулы — длинными волнами, синие—короткими. Таким образом свет, по его мнению, не вполне корпускулярен и не вполне волнообразен, но представляет из себя неразделимую смесь этих обоих свойств. Мы увидим, что точка зрения, имеющая очень много сходства с этой, подсказывается открытиями, сделанными в течение последних двадцати пяти лет в области электрических свойств света. Я хотел бы обратить ваше особое внимание на то, что по корпускулярной теории энергия света сконцентрирована в маленьких корпускулах, а не рассеяна по всему пространству, через которое проходит свет.

После смерти Ньютона, корпускулярная теория в ее наиболее корпускулярной форме становится все более и более господствующей, благодаря работам крупных математиков, как Лаплас и Пуассон. Но в конце XVIII столетия начались нападки на теорию корпускул, которые и привели в конце концов к ее падению. Нападение это вели англичанин Томас Юнг и француз Френель. Юнг был человеком почти таких же универсальных знаний, как Леонардо да-Винчи; он был великий физик, известный доктор и знаменитый египтолог; это он расшифровал камень Розетты. К сожалению, его сочинения о вопросах физики настолько сжаты, что его современники считали их очень трудными для понимания; он действительно сказал о себе, что он, как и Кассандра, не говорил ничего, кроме правды, но что очень немногие понимали его и никто ему не верил. Юнгу мы обязаны двумя самыми основными принципами волнообразной теории—принципу интерференции и принципу поперечных колебаний. Он придерживался того взгляда, что свет состоит из лучей, распространяющихся в эфире. Когда вы наблюдаете систему волн

---

[1]) XVII вопрос Оптики Ньютона; что Ньютон придерживался синтетического взгляда на природу света, хорошо видно из его доклада 1675 г.— „Теория света и цветов".

движущихся, предположим, по пруду или по морю, вы видите гребни и долины волн, следующие друг за другом на одинаковом расстоянии, и пробка на поверхности будет подниматься и опускаться в зависимости от того, гребень или долина проходят через нее. Принцип интерференции есть изложение того, что происходит, когда различные ряды волн проходят через среду. Предположим, что волна, отправляясь от точки О в пруде (рис. 1), достигает места Р двумя путями, непосредственно вдоль по ОР и отражаясь от стороны пруда по пути OQP. Характерным для волнового движения будет то, что, если мы проследим вдоль направления, по которому движется волна, то одинаковое положение вещей повторяется через одинаковые пространственные промежутки или интервалы; такой интервал называется длиной волны.

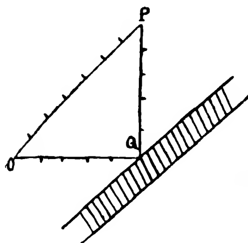


Рис. 1.



Рис. 2.

Для определенности предположим, что длина волны будет в один фут; если мы отметим вдоль ОР, а также вдоль OQP, расстояния в фут друг от друга, начиная с О, состояние движения в каждой из этих отметок будет таким же, как и в Q [1]). Если теперь одна из отметок около Р вдоль ОР совпадет с отметкой вдоль OPQ, прямая и отраженная волны будут обе иметь гребни и долины в Р и они будут сочетаться, производя гребни или долины вдвое выше или глубже, чем у каждой отдельной волны; но если отметка у Р вдоль ОР будет составлять полпути между отметками вдоль OPQ, и, если прямая волна имеет гребень у Р, то отраженная будет иметь там долину; гребень и долина будут уничтожать друг друга и вода около Р не будет затронута волной. Это произойдет тогда, когда OPQ длиннее OP на полфута или на полтора, или на два с половиной и т. д. Места, где OPQ длиннее на полфута расположатся по кривой α (рис. 2), те. которые длиннее на полтора фута—по другой кривой β и т. д. Вода вдоль этих кривых будет неподвижной, без энергии, энергия не движется ни вдоль, ни поперек них. Если мы

[1]) Здесь Томсон в целях популяризации допускает неточность, так как при отражении от более плотной среды теряется полволны.

начертим кривыо a, b, c, d, гдо OPQ больше чем OP на 1, 2, 3, 4 фута, то соответственно они придутся там, гдо гребни совпадают с гребнями, долины с долинами, так что вдоль этих кривых будет ненормальное количество энергии. Это явление называется интерференцией. Таким образом, мы видим, что благодаря интерференции, энергия от источника, вместо того, чтобы затоплять окружающее пространство, удерживается в каналах, разделенных друг от друга участками, по которым не течет энергии. Энергия, так сказать, канализуется. Если волны будут теми, которые производят свет, то участки (области), где нет энергии, будут темными, те, сквозь которые протекает энергия, яркими, ярче чем они были бы, если бы интерференции не было, так как интерференция не уничтожает энергии, а берет ее из одних областей и наполняет ею другие.

Хотя Юнг первый дал основную идею интерференции, но Френелю мы обязаны ее математическим обоснованием; он и другие крупнейшие математики разрабатывали те оптические эффекты, которые вытекали из волнообразной теории в областях интерференции, дифракции, поляризации и двойного преломления, где заключаются самые прекрасные, важные и, можно сказать, наиболее сложные оптические явления; результаты этих теорий, во многих случаях совершенно неожиданные, оказывались в полном соответствии с результатами самых глубоких и точных опытов.

Ни одна, однако, теория не пережила таких острых испытаний, как те, которым подверглась волнообразная теория света в конце прошлого столетия.

Но до этого времени каждый был убежден, что у нас имеется адэкватная математическая теория света: под последней я разумею то, что если мы изобразим колебания света математическими символами, Френель и его последователи снабдили нас уравнениями, при помощи которых мы можем вычислить значение этих символов в каждом вопросе оптики. Позднее внимание многих физиков было направлено на то, чтобы найти физическое толкование этого символа, найти, применяя выражение маркиза Сольсбери, существительное к глаголу «волноваться».

Во всех видах волнообразной теории света, энергия предполагается рассеянной по всему пространству, через которое проходит свет, а не сконцентрированной в маленьких кусочках, как по теории Ньютона; вот это-то однородное распределение энергии и оказало наиболее серьезные затруднения на пути волнообразной теории.

Эти затруднения, можно сказать, начались вместе с открытием почти в конце последнего столетия X-лучей, которые по серьезным основаниям предполагаются очень мощной формой света. Эти лучи извлекают электроны из тел, на которые они падают. В настоящее время мы имеем очень точные способы для счета электронов и для измерения их скоростей. Этими способами было найдено, что когда X-лучи проходят через газ, то лишь чрезвычайно малая часть молекул газа теряет электроны: требуется длительная экспозиция под сильными лучами, чтобы освободить электрон в одной из миллиона миллионов молекул. Если энергия лучей распространяется непрерывно по всему пространству, по которому лучи движутся, ни одна молекула не может ее избежать, каждая молекула должна подвергнуться

одинаковому влиянию и все же затрагивается только одна і миллиона миллионов. Этот результат казался бы гораздо бол вероятным, если бы энергия света, как это предполагается корпускулярной теории, была сконцентрирована в далеко расп ложенных друг от друга центрах, образуя род вязаной сетки, достаточно широкими петлями, чтобы позволить молекулам пр скочить сквозь них. Очень скоро после начала работ по Х-л чам, я пришел к убеждению, что энергия в них, и вероятı также и в свете, сконцентрирована в центрах. Я выразил эт сказав, что фронт световой волны должен представлять блест щие пятна на темном фоне, а не однородное освещение.

Дальнейшее и еще более убедительное доказательство бы получено измерением скорости электронов, извлеченных из мол кул. Если бы энергия была непрерывно распределена, надо бы бы ожидать, что скорость будет больше в сильном свете, чем слабом, но это не так. Скорость и энергия электронов сове шенно одинаковы, когда молекулы находятся близко от исто ника света, как и тогда, когда они далеко от него; в бол сильном свете имеется больше электронов, но скорость их один кова. Энергия электронов зависит от характера света, она во растает с уменьшением длины волны, и, в действительност произведение энергии на длину волны есть величина постоя ная [1]). Энергия также зависит, но только косвенно, от природ молекулы, из которой извлекается электрон. Тот факт, что эне гия электрона независима от силы света, мы должны предв деть по корпускулярной теории, если извержение было сле ствием одного только столкновения между корпускулой и мол кулой, но это не будет тем, что мы можем ожидать соглас волнообразной теории.

Другой путь рассуждения, ведущий к подобным же сле ствиям, основывается на совершенно другом явлении. Вы знает что когда какое-нибудь тело, например, зачерненный шар, н гревать, то он становится светящимся и по мере нагревания цв изменяется от красного к желтому и затем к белому. Покойнь лорд Рэлей первый обратил внимание на тот факт, что это і совсем то, что мы должны были бы предвидеть согласно волн образной теории. По этой теории цвет света не будет изменятьс от температуры, хотя интенсивность света будет больше у гор чего тела, чем у холодного.

Этот вопрос изучался очень подробно Планком, который п казал, что наблюдаемое распределение энергии в спектре гор чего тела необходимо имело бы место, если бы переход энерги от света к поглощающему веществу совершался так, как-буд энергия была атомной, а не непрерывной.

Таким образом, в каком-нибудь определенном свете, напр мер, желтой линии натрия, энергия этого света всегда поя ляется и исчезает определенными и равными порциями, а і непрерывно, совершенно так же, как масса куска натрия може увеличиваться или уменьшаться лишь на кратные некоторой к нечной массы, т.-е. массы одного атома натрия. Единица, н которую увеличивается или уменьшается энергия данного вид

---

[1]) Точное соотношение дается законом Эйнштейна: $\frac{1}{2}mv_3 = hn \quad p$, г р—работа вырывания электрона, hn — кванта энергии.

вета, называется квантой этого света. Планк постулировал... кванта света, делая n колебаний в секунду, пропорциональна и равна nh, где h есть константа, всем известная в настоящее время константа Планка; отношение $E=hn$, где E есть энергия в кванте, известно как закон Планка.

Доказательства в пользу этого закона продолжают накопляться с того времени, как он был выражен. Электрические явления, производимые светом, находятся с ним в согласии; например, энергия, связанная с электроном, когда он изгоняется действием света, равна энергии определенной законом Планка,— кванте этого света. Закон Планка оказался неоценимым путеводителем для исследования и признан, я думаю, повсеместно.

Но вы увидите, что тогда как он согласуется вполне естественно с корпускулярной теорией света, если мы предположим, что энергия, которой обладает каждая корпускула определенного вида света, равна кванте энергии света, он совершенно чужд волнообразной теории, которая предполагает сплошное, а не атомное распределение энергии.

Положение таково, что все оптические явления указывают на волнообразную теорию, все электрические—на что-то вроде корпускулярной теории. Пререкания по этому поводу иногда такие же, как между тигром и акулой; каждый всемогущ в своей собственной стихии, но беспомощен в стихии другого. Прежде чем попытаться примирить эти взгляды, рассмотрим некоторые из затруднений, с которыми мы встречаемся при предположении, что в свете нет ничего кроме квант. Кванты чрезвычайно изменяются по свойствам и по энергии; кванты X-лучей имеют энергию в несколько тысяч раз большую, чем кванты, соответствующие видимому свету; некоторые кванты выходят из атомов одного элемента, другие из атомов другого; эти сильно разнящиеся кванты все, движутся в пространстве с совершенно одинаковой скоростью. Однако скорость кванты определяется той средой, через которую она проходит, а не так, как у электрона или α—частицы, обстоятельствами извержения.

Кроме того, оптические явления показывают, что область возмущения, соответствующая единице света. должна быть очень значительной. Позвольте мне сослаться на один пример среди многих, потому что он имеет большой исторический интерес. В середине тени круглого диска, освещенного ярким, хотя и небольшим, источником света, в точки оси диска имеется яркое пятно, такое яркое, как если бы диска там не было [1]). Это показывает, что возмущение, производимое единицей света, идущей из молекулы в светящемся источнике, должно существовать на площади, по меньшей мере такой же большой, как и диск; и так как яркое пятно наблюдалось при дисках в полтора дюйма в диаметре, и нет указания, что это есть какое-либо приближение к пределу, мы видим, что для об'яснения яркого пятна согласно чисто корпускулярной теории потребовались бы кванты величиной с крокетный шар.

Мы видели, что свет производит электрические явления и что они имеют большое значение по отношению к тому взгляду,

[1]) Это явление было впервые предсказано противником волновой теории Пуассоном (1821 г.) и подтверждено на опыте Араго, который доказал, что оно в точности согласуется с математическими следствиями волновой теории Френеля.

который мы принимаем об их природе. Существование таких явлений показывает, что свет сопровождается электрическими силами, и знаменательно то, что по наиболее определенной теории света, которой мы обладаем—электромагнитной теории Максвелла—свет состоит из волн электрических сил. Чтобы пояснить эту теорию, я воспользуюсь тем широким распространением и известностью электрических волн, которое принесло развитие беспроволочной телеграфии.

Приборы, которые производят эти волны, как вы знаете, электрические по своему действию. В 1865 г. Максвелл разрешил проблему, состоящую в главных чертах в том, чтобы узнать, что происходит в пространстве, окружающем такой прибор, когда он находится в действии. Он нашел, применяя обобщение двух основных законов электрического и магнитного действий, а именно закон Фарадея об индукции токов и закон Ампера для магнитных сил, вызываемых токами, что из такого прибора электрические и магнитные силы устремляются в пространство. Он сумел вычислить ту скорость, с которой они распространяются, беря чисто электрические данные; производя вычисления, он нашел, что эта скорость равна скорости света. Он показал, что как электрические, так и магнитные силы находятся под прямым углом к направлению распространения электрических волн, так что эти волны, как и волны света по теории Юнга и Френеля, представляют из себя поперечные волны.

Изменения электрической силы во времени и пространстве, были такого же характера, как и колебания света по теории Френеля. Единственное различие только в масштабе, так как длины электрических волн, произведенных нашими электрическими машинами, во много миллионов раз больше волн видимого света. Длина электрической волны зависит от размеров прибора, и приборы, производящие электрические волны, во много миллионов раз больше атомов—приборов, производящих видимый свет.

Работа Максвелла была вполне теоретической: он показал, что она вытекает из принципов электромагнетизма, что эти волны должны существовать, но ему не удалось самому получить их. В 1887 Герц изобрел способы получения и улавливания электрических волн и показал, что они обладают характерными свойствами света, как, например, отражение, преломление, интерференция и поляризация.

Таким образом, если оказывается, что электрические волны распространяются точно со скоростью световых волн и имеют такие же отличительные признаки, трудно противостоять заключению Максвелла, что световые волны представляют из себя электрические волны, но со много меньшей длиной волны. Это есть шаг огромного значения, так как у нас имеется прекрасно разработанная концепция строения электрической волны, и теория Максвелла распространяет эту концепцию на световые волны и дает нам существительное к глаголу «волноваться».

Но теория Максвелла развивает непрерывное распределение энергии: она не об'ясняет квант [1]). Я предложил путь, по кото-

[1]) Это утверждение Томсона не совсем точно. Сам Томсон в своей первоначальной теории «волокнистого эфира» (см. нашу статью в № 4 журнала за 1925 г.) утверждает прерывное, а не непрерывное строение поля на основании ф и з и ч е с к о г о понимания силовых линий Фарадея-Максвелла.

рому, мне кажется, эта теория может расшириться настолько, чтобы включить получение квант так же, как и получение электрических волн.

Я думаю, что имеет очень большое значение то, что скорость квант одинакова со скоростью силовых электрических линий. Мы видели, что из законов электромагнитизма следует, что линии электрической силы должны двигаться в пространстве со скоростью света; мы не знаем ни о чем другом, для чего мы могли бы дать об'яснение, почему оно движется именно с этой особой скоростью, и потому, когда мы встречаем что-либо движущееся со скоростью света, то имеется сильное предубеждение, что это есть распределение силовых электрических линий.

Если бы кванты оказались таким распределением, то исчезло бы очень серьезное затруднение для об'яснения уже упомянутого факта, что все кванты движутся с одинаковой скоростью.

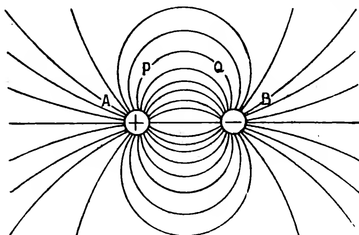


Рис. 3.

Позвольте мне сказать несколько слов о линиях электрической силы; это будут линии, которые всегда указывают на направление электрической силы; расположение их для положительного и отрицательного зарядов показано на рис. 3. Я предполагаю, что эти линии представляют из себя не только геометрические фикции, но что они, или вернее группы их, образующие силовые трубки, оканчивающиеся на электроне, суть физические реальности и что энергия в электрическом поле связывается этими трубками. Эти трубки образуют два класса: 1) имеющие концы, как те, которые связывают два заряда (рис. 3), и 2) те, которые образуют замкнутые кривые, как, например, линии электрической силы вокруг движущегося магнита. Те, у которых имеются концы, имеют один конец связанный с электроном, а другой—с положительным зарядом, и когда они движутся, они должны тащить за собой эти массы. Скорость этих линий, когда они движутся, будет зависеть от движений тех масс, к которым они привязаны, и не будет иметь никакого отношения к скорости света. Другой вид силовых линий не прикреплен к положительным частицам или электронам; они могут двигаться свободно, неся с собой свою энергию; они движутся со скоростью

света, каждый кусок каждой из этих линий движется под прямым углом к самому себе с этой скоростью, и мы можем рассматривать электрическую волну, как систему замкнутых силовых линий, движущихся повсюду под прямым углом к направлению этой линии.

Мысленная картина, которую я рисую о свете, испускаемом атомом или молекулой, такова, что она состоит из линий электрической силы, расположенных двумя способами. Расположение в одной части, которую мы можем назвать корпускулярной и которая соответствует кванте, представляет из себя, как я об'ясню впоследствии, якорное кольцо, образованное замкнутыми линиями электрической силы; это кольцо движется вперед под прямым углом к своей плоскости со скоростью света и это движение не изменяет ни его размера, ни формы.

Якорное кольцо может колебаться, время колебания будет временем, которое требуется свету, чтобы обойти окружность кольца. Таким образом частота его колебаний обратно пропорциональна длине его окружности. В то время, как кольцо извергается из атома, оно находится в сильном колебании и порождает систему обыкновенных волн Максвелла.

Кольцо, состоящее из линий электрической силы, движется со скоростью света; волны Максвелла движутся с той же скоростью, так что, если кольцо движется в пространстве, оно сопровождается целой свитой электрических волн, но энергия этих волн будет много меньше, чем энергия кольца. Волны, идущие впереди кольца, как мы увидим, определяют его путь. Итак, подводя итог, лучеиспускание светящейся молекулы или атома состоит из кольца или сердцевины, содержащей почти всю энергию; оно окружено рядом волн Максвеллевского типа, длина которых равна окружности кольца. Рассмотрим сейчас с большими подробностями строение сердцевины и тот путь, которым она образуется.

Прежде всего о ее строении. Сердцевина предполагается в виде кольца, сделанного из круговых линий электрической силы, плоскости кругов параллельны друг другу и все их центры лежат на оси кольца.

Эти замкнутые силовые линии, как мы видели, должны двигаться вперед под прямым углом к самим себе со скоростью света. Они будут удовлетворять этим условиям, если кольцо движется вперед с этой скоростью перпендикулярно к плоскостям кругов. При движении этим путем, его форма и размер останутся неизмененными, пока оно движется в пространстве, и его энергия будет такая же, как и при начале движения. Мы можем сравнить его с круглым вихревым кольцом или кольцом табачного дыма, которое также движется под прямым углом к своей плоскости, и как пуля переносит один и тот же матерьял с одного места на другое.

Но, однако, мы не должны проводить аналогию слишком далеко, так как скорость кольца дыма зависит от его размеров, тогда как скорость нашего кольца всегда равна скорости света, каковы бы ни были размеры кольца.

Теперь мы переходим к рассмотрению того способа, по которому кольцо может образоваться. Рассмотрим, что произойдет с трубкой, соединяющей электрон E с положительным зарядом P, если дернуть внезапно любой из концов. Трубка придет в

сильное движение и может как веревочка для прыганья быть брошена в виде петли, так что часть трубки в петле, образующая замкнутую кривую, разорвется. Стадии, по которым это совершается, изображены на рис. 4. Кривая налево изображает первоначальное положение трубки, две следующие, — образование петли и кривая направо — конечную стадию, когда она пускается в пространство. Теперь она больше не связана с электроном или положительным зарядом и удаляется как бестелесный дух, унося энергию, связанную с ней, когда она была в атоме. Согласно взгляду, который я излагаю, кольцо, отделенное таким путем, есть кванта света, энергия, которую оно несет, есть часть энергии, которая была первоначально в молекуле, упакованная в форме, удобной для перевозки. Если движение электрона происходит медленно, потенциальная энергия, потерянная при переходе из одного места в другое, проявилась бы как увеличение кинетической энергии. Но так как эта кинетическая энергия должна быть локализована в электроне, тогда

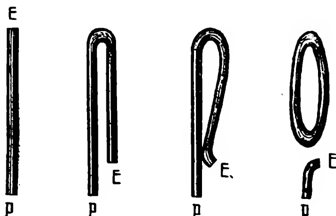


Рис. 4.

как потенциальная энергия разлита в пространстве, окружающем его и другие наэлектризованные тела с ним по соседству, то требуется определенное время, чтобы энергия указанных областей, дошла до электрона. Если электрон движется очень быстро из одного места в другое, где потенциальная энергия меньше, то может не хватить времени для того, чтобы избыток потенциальной энергии вошел в электрон [1]); он должен избрать какой-нибудь другой путь, и таким путем будет для него излучение в пространство в виде замкнутого кольца электрической силы. Если по соседству имеются другие электроны, то часть, а в некоторых случаях, и весь избыток энергии может влиться в эти электроны и увеличить их кинетическую энергию. Отделение квант зависит от внезапного относительного движения электрона и положительного заряда и от внезапных изменений потенциальной энергии в светящейся молекуле. Мы могли бы, если бы движение не было очень быстрым, иметь смещения силовых

[1]) То, о чем здесь говорит Томсон, не что иное, как проявление инерции силовых линий поля.

трубок без образования петли; это вызвало бы волны Максвелла, распространяющиеся из светящейся молекулы; но там не было бы квант. Таким образом, если магнит движется взад и вперед, волны Максвелла образуются без квант; кроме того, если электрон описывает окружность вокруг положительного заряда, как центра, то не будет внезапной потери потенциальной энергии, а потому и квант, хотя там могут быть волны Максвелла. Мы рассмотрели испускание кванты; мы пойдем дальше и рассмотрим ее поглощение. Так как силовые линии в кванте образуют замкнутое кольцо, оно не будет проявлять сколько-нибудь заметной электрической силы в наружном пространстве. Чтобы получить энергию из кольца, кольцо должно быть сломано и силовая трубка снова стать частью натяжения между электроном и положительным зарядом. Для того, чтобы это случилось, должен произойти процесс обратный тому, который вел к

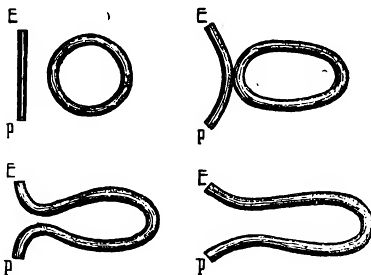


Рис. 5.

образованию кольца; стадии его указаны на рисунке 5. Когда в этом процессе кольцо разрывается и его силовая трубка связывается на одном конце с электроном E, а на другом с положительным зарядом P, как на кривой внизу рис. 5, энергия, введенная кольцом в область между P и E, пригодна для проталкивания электрона дальше от P; если эта энергия достаточно велика, чтобы протолкнуть электрон достаточно далеко от P, электрон освобождается и кольцо будет разрушено. Кольцо также исчезнет, если энергия, хотя и недостаточная для того, чтобы удалить электрон на бесконечное расстояние от P, все же достаточно велика, чтобы привести его в положение устойчивого равновесия по отношению к P, так что оно может действовать как якорь для силовой трубки. Если, однако, энергия кольца недостаточна ни для того, чтобы отделить вполне электрон, ни чтобы привести его в новое положение равновесия, тогда, хотя абсорбция кольца заставит электрон двигаться прочь от P, силы, стремящиеся привести его назад, в прежнее положение, скоро

остановят его, электрон начнет итти назад, движение станет обратным и кольцо вновь образуется и отделится от молекулы. Таким образом, если кольцо должно быть поглощено, оно должно не только зацепить электрон, оно должно вырвать его.

Итак, абсорбция с этой точки зрения предполагает, что электрон или навсегда отделяется от молекулы, так что молекула становится положительно заряженным ионом, или же, что электрон передвигается в новое положение устойчивого равновесия в молекуле, т.-е. что образуется устойчивое аллотропическое видоизменение молекулы. Таким образом, когда происходит поглощение без ионизации, должно существовать аллотропическое видоизменение молекулы. Энергия, требуемая для изменения первоначальной молекулы в аллотропическое видоизменение, будет энергией в кванте поглощенного света.

Мы видим из вышеизложенного, что рождение электрона высокой скорости означает смерть кольца, т.-е. разрушение кванты. Это находится в точном согласии с чрезвычайно интересным результатом, полученным Баркла, что когда пучок Рентгеновских лучей вполне поглощается газом без испускания характеристичных лучей, число полученных электронов высокой скорости одинаково для всех газов и при всех давлениях.

Перемещение энергии от света к материи сопровождается разрушением колец, образующих кванты; таким образом количество энергии, превращенной из пучка монохроматического света, должно быть целым кратным энергии кольца. Мы видели, что поглощение света до тех пор, пока не получатся свободные электроны, требует, чтобы поглощающая молекула была в состоянии хотя бы только на короткое время существовать в новом аллотропическом состоянии. Это имеет некоторые интересные применения; возьмем случай инфракрасных лучей, где энергия в кванте чересчур мала, чтобы породить свободный электрон; поэтому, когда она поглощается газом, должно быть постоянное или квази-постоянное аллотропическое видоизменение молекулы.

Пары воды имеют резкие полосы поглощения для инфракрасного света с длиной волны 3 μ и 6 μ, где $\mu = 10^{-4}$ см. Это дает возможность предположить, что кроме обыкновенной воды должны существовать по меньшей мере еще два других вида воды; один, соответствующий полосе поглощения у 3 μ, имеет энергию больше приблизительно на 10 калорий на грамм-эквивалент, чем у нормальной воды, или, применяя обычные выражения, скрытую теплоту в $10^4/_{18}$ или 550, что очень близко к скрытой теплоте испарения воды; модификация, соответствующая полосе у 6 μ, имеет скрытую теплоту в половину этой.

Углекислый газ имеет резкую линию поглощения у 4,2 μ, соответствующую аллотропическому состоянию со скрытой теплотой в 160, другую все еще резкую полосу у 14,5 μ, соответствующую скрытой теплоте 48, которая близка к теплоте испарения CO_2 при комнатной температуре. Так как многие газы имеют полосы поглощения, они должны, согласно этому взгляду, быть способными существовать в аллотропическом состоянии. Продолжительность жизни такого состояния, хотя и может казаться долгой в сравнении со временем колебания света, но все-таки очень мала, если измерить ее в секундах.

Диффракция и интерференция.

Теперь мы перейдем к рассмотрению того, насколько эта концепция света, как движущегося кольца, неизмененного по величине и форме и окруженного системой Максвеллевских волн, возбуждаемых колебаниями кольца, с длиной волны, равной окружности кольца, насколько эта концепция способна об'яснить диффракцию и интерференцию.

Прежде всего мы укажем на то, что направление движения свободной силовой трубки в любой точке будет под прямым углом как к электрической, так и к магнитной силам этой точки, так что направление движения таких трубок может изменяться внешними электрическими и магнитными силами. Так как кольцо, которое мы рассматриваем, представляет из себя такую трубку, оно может быть отклонено применением подходящих электрических и магнитных сил.

Рассмотрим с этой точки зрения проблему диффракции и возьмем случай плоской волны света, проходящей через узкую щель и падающую на экран позади щели. Изображение на экране будет не яркой полосой одинаковой интенсивности, но рядом светлых и темных линий, параллельных щели. Это явление вызывается тем обстоятельством, что когда волны теснятся через узкую щель, электрические и магнитные силы в щели много больше, чем силы в волне, до того, как она достигает щели, и имеют иное направление; направление потока энергии, образующее прямой угол как с магнитными, так и с электрическими силами, изменяется когда волна проходит щель: до того как волна достигает щели, энергия волны вся течет в одном и том же направлении, но пройдя щель она распространяется веерообразно и приводит к ряду светлых и темных полос, видимых на экране. Распределение энергии может быть вычислено из волнообразной теории и результаты согласуются с опытом.

Таким образом, распределение энергии в этих волнах соответствует опыту. Но с нашей точки зрения энергия света находится не в этих волнах, но в тех кольцах, которые их сопровождают, и чтобы об'яснить диффракцию по этой теории, мы должны показать, что энергия колец распределяется тем же путем. Я думаю, что по следующим соображениям мы должны ожидать, что это будет именно так. Кольца замкнуты и потому порождают лишь незначительные электрические или магнитные силы, в любом месте вне кольца, так что в таких местах эти силы, и потому и направление потока энергии, будет таким же, как если бы кольца совершенно не было. Мы принимаем, что путь энергии в кольце такой же, как и путь энергии в волне в его непосредственном соседстве.

Проследим теперь обратно от экрана путь той энергии волны, которая достигает светлых полос на экране; возьмем центральную полосу, самую светлую и проследим назад через щель путь ее энергии; мы найдем, что, прежде чем достичь щели, эта энергия была распределена по некоторой площади S_1, фронта волны; сделаем то же самое для энергии во второй светлой полосе; мы найдем, что первоначально она была распределена по много меньшей площади. Так как, прежде чем достичь щели, энергия была равномерна распределена по фронту волны, площади эти будут пропорциональны энергии света в различных полосах. Но

кванта может находиться в одном или в другом месте, так что вероятность ее нахождения в какой-либо части фронта волны пропорциональна площади этой части. Таким образом вероятность его нахождения внутри площади S_1 относится к вероятности его нахождения внутри S_2 как $S_1 : S_2$; тогда, если кванта была внутри площади S_1, то, следуя по тому же пути, как и энергия волны в этой площади, она достигнет первого максимума; если в площади S_2—второго. Таким образом вероятность достижения первого максимума относится к вероятности достижения второго, как $S_1 : S_2$; так что числа квант, которые доходят до этих мест в течение длительного промежутка, будут относиться, как $S_1 : S_2$; и, таким образом, отношение энергии света в этих двух максимумах будет таким же, как данное волнообразной теорией, и поэтому распределение света на экране, если число квант, ударяющих его, достаточно велико, чтобы применить статистические методы, будет таким же, как данное волнообразной теорией. По теории квант это есть статистическое распределение, это не то распределение, которое существует в каждый данный момент, но среднее распределение, которое, однако, представляет из себя все, что наш глаз может различить на фотографической пластинке.

Согласно этому взгляду, волны Максвелла, которые идут впереди кванты, устанавливают для нее путь, как будто бы они были местными токами, отклоняющими кванту на новые пути.

Закон Планка.

Если мы предположим, что электрические силовые кольца, которые образуют кванты, все одинаковы по форме, но различны по величине, мы легко можем показать, что энергия в кванте обратно пропорциональна ее окружности. Так как окружность кванты равна длине световой волны, то энергия кванты обратно пропорциональна длине волны.

Таким образом волны очень малой длины, как Х-лучи, имеют очень малые квантовые кольца, более длинные волны, которые составляют видимый свет кольца большей. Так как длина волны повсюду пропорциональна частоте n, E—энергия в кванте равна n, помноженному на константу. Значение этой константы зависит от отношения наружного радиуса кольца к внутреннему. Значение, которое казалось бы разумным для этого отношения, делает значение этой константы как раз таким, какое требуется законом Планка [1]). Так как окружность кванты равна длине волны, у кванты будет радиус в 10 ^{3}см при длине волны в $2\pi \times 10^{-8}$; энергия в кванте, соответствующая этой длине волны, будет около 2.000 вольт. Когда кванта с такой или с меньшей длиной волны проходит сквозь молекулу, для нее хватает места внутри молекулы, и вся ее энергия идет на изгнание электрона. Для света видимой части спектра радиус кванты очень велик по сравнению с атомными размерами, так что при столкновении между квантой и молекулой только небольшая часть кванты будет внутри атома, и энергия в этой части может быть совершенно недостаточной, чтобы освободить

[1]) Точное вычисление в статье Томсона в октябрьской книжке «Philosopical Magazine» (1924); в декабрьском № (1925 г.) Томсон опубликовал дополнительную работу о строении света; см. также нашу статью (№ 4 «П. З. М.», 1925 г.).

электрон или произвести аллотропическое видоизменение молекулы, хотя бы энергия во всей кванте и была достаточна для этого. Поэтому мы можем ожидать, что поглощение лучей Рентгена с короткими волнами и поглощение видимого света с длинными волнами может показать различные свойства. Разница обнаруживается очень отчетливо опытами поглощения. Полосы поглощения видимого света часто замечательно ярки. Чрезвычайно малое изменение в длине волн составляет все различие между почти сплошной непрозрачностью и совершенной прозрачностью. У лучей Рентгена мы не получаем ярких полос такого рода. У них поглощение начинается тогда, когда энергия кванты превышает величину, требуемую для изгнания электрона. Но, однако, оно не прекращается внезапно, когда частота возрастает выше этого значения, но затухает постепенно и поглощение изменяется обратно пропорционально кубу частоты. Явления резонанса плохо заметны в случае лучей Рентгена, между тем как они очень отчетливо выступают в случае лучей видимого света. Это есть то, что мы могли бы ожидать, если бы поглощение молекулой зависело от энергии кванты, сконцентрированной в об'еме, сравнимом с об'емом молекулы. Исследования Лоренца, Ламба и покойного Рэлея показали, что, когда имеется резонанс между волнами, которые мы называем Максвеллевского типа, и молекулой, энергия, идущая в молекулу от волн, не такова как протекающая через площадь фронта волны, равную площади поперечного сечения молекулы, но такая, как протекающая через площадь, равную $\frac{\lambda^2}{\pi}$ где λ есть длина световой волны. Таким образом, если бы волны Максвелла резонировали с молекулой, энергия в площади $\frac{\lambda^2}{\pi}$ фронта волны устремилась бы на молекулу и прошла бы сквозь нее. Но площадь кванты, согласно нашему взгляду, пропорциональна λ^2, что, как мы видели, и есть площадь, из которой резонанс дает возможность молекуле черпать энергию. Таким образом, если энергия в кванте идет, как мы предполагаем, по пути энергии в Максвеллевских волнах, энергия кванты сконцентрирована, чтобы вся влиться в молекулу.

Я уже превысил положенное время для лекции и не должен дольше злоупотреблять вашим терпением, но скажу только, что я старался изложить перед вами теорию, согласно которой свет имеет дуалистическое строение, одна часть которого имеет сходство с предпосылкой волнообразной теории, другая же—сходство с предпосылкой корпускулярной теории. Эти построения имеют своим общим основанием электрические силовые линии.

К вопросу о старых и современных путях в биологии [1]).

А. Н. Бартенев.

Марксистам не может быть безразлично, что из себя представляет и на что ориентируется современная биология. А в настоящий момент марксисты-общественники испытывают особенно сильную, непреодолимую потребность найти в естествознании (и в частности в биологии) твердую базу для своих специальных задач. Эта потребность чувствуется повсюду, она проскальзывает и на многочисленных диспутах, и в лекциях, и в разговорах, и не менее определенно и настойчиво проникает в печать. А что же в это время представляет из себя биология? Чем она живет и куда идет? Нашей задачей здесь и будет оттенить главные тенденции развития биологии до настоящего времени и осветить современное ее положение.

I.

Каковы же наиболее характерные моменты и идеи буржуазной биологии XIX века? Несомненно, что самым центральным пунктом в истории биологии являются мысли и споры вокруг идеи эволюции. (Мы употребляем здесь и везде ниже термин «эволюция» в том его смысле, как это принято у буржуазных биологов, а именно как противоположение понятию постоянства, а не понятию революции).

Как известно, смена основных положений биологии в этом отношении происходила в следующем хронологическом порядке: 1) прежде была распространена идея постоянства видов (идея, основанная на библии и нашедшая начало своего конца в период Великой Французской Революции); 2) затем появилась идея а) смены органических видов в моменты всемирных катастроф и б) постоянства (неизменяемости) видов в промежутки от одной катастрофы до другой (идея катастроф была тесно связана с библейской легендой о всемирном потопе) (Бюффон, Кювье и др.), и 3), наконец, развилась идея изменчивости (эволюции) видов; в первое время эта эволюция признавалась постепенной, в противоположность идеи быстрой смены видов, как принимала эта прежняя гипотеза всемирных катастроф (авторы нового учения: Ламарк, Чарльз Дарвин и их последователи).

О первой из этих трех идей долго распространяться нечего. Перешедшая в науку из церкви, она на все сто процентов

[1]) Статья дискуссионная. Ред.

олицетворяла подчинение науки по отношению к церкви. Вторая из этих идей—идея катастроф—носила на себе определенно консервативный отпечаток, в ней не было ничего от революции.

Идея эволюции явилась сперва как протест против тех или иных форм и видоизменений идеи постоянства видов, и несла в себе несомненно не только печать революции мысли, но и таила сперва слабые предзнаменования грядущего «начала конца» буржуазного мира. Но то, что могло казаться опасным для буржуазии в начале XIX века, при изменившихся условиях, в середине того же столетия, могло быть уже использованным ею в своих выгодах. Это именно и случилось с идеей эволюции в биологии.

Под влиянием изменившейся общественной, политической обстановки, идея эволюции получила во второй половине XIX в. первые права гражданства в буржуазной биологии. Ведь самый XIX век подчас принято называть не только веком пара и электричества, но и веком эволюционной идеи. Наконец, все труды и исследования в области биологии второй половины XIX века окрашены идеей эволюции, а вся философия биологии собственно превратилась в философию эволюционизма.

Однако вспомним некоторые факты. Ведь идея изменчивости, провозглашенная Дарвином, вовсе не была быстро и единогласно принята в науке. Наоборот, с самого появления этой идеи вокруг нее разыгрались очень крупные и очень длительные споры. Споры эти начались в сущности еще до Дарвина, при Дарвине они лишь сильнее разгорелись (Карл Бэр, Агассиц и др.) и не закончились они даже и в наше время (Вассман, А. Тихомиров и др.). Спор касался самого признания идеи эволюции. И фактически буржуазная биология всегда сохраняла в себе некоторое меньшинство официальных представителей биологии—профессоров,—которые вовсе отказывались признать доказанность эволюции. Для целей буржуазии только это и нужно было. Это давало повод не переводить принцип эволюции в разряд окончательно доказанных и принятых официальной наукой, а оставлять его все время в разряде испытуемых, сомнительных, еще требующих доказательств и новых исследований. Таким маневром убивали сразу двух зайцев: 1) оставалась лазейка в случае благоприятных обстоятельств вернуться назад к теории постоянства и 2) оставался повод держаться такого образа действия: теория изменчивости в е р о я т н а (об ее невероятности в массе ученых говорить уже не решались), но вполне еще н е д о к а з а н а; о ней можно ставить вопрос, с п о р и т ь в ученых обществах и сочинениях, ее нужно д о к а з ы в а т ь, частично даже можно п р и н и м а т ь, но еще «рано», «преждевременно», «опасно» распространять в массах, вводить ее в преподавание в школах, . она «тлетворно» может подействовать на неразвитые (не то, что у нас, ученых!) умы [1]. Таким образом эволюционная теория представлялась не то какой-то синей птицей, которую ни за что не поймаешь, не то таким сильным средством, что его можно употреблять только в очень слабых дозах. Эволюционную теорию нельзя с о в с е м не п р и з н а т ь, но вредно п р и з н а т ь с о в с е м, и вот самое лучшее

[1]) Вспомним наделавший столько шума суд за распространение дарвинизма в американской школе в текущем году.

было признавать эволюцию как бы «не всерьез» (с одной стороны, принимаем, а, с другой,—остерегаемся принимать), «играть в эволюцию»...

Но горе было тем ученым, которые не сумели итти в ногу с общепризнанным путем. Вспомним хотя бы отношение буржуазных ученых к проф. Эрнесту Геккелю, к этому горе- и quasi-радикалу буржуазной науки, к этому «тридцать три несчастья», осмеянному со всех сторон—и ученой профессурой, и церковью, и социалистами. Первым грехом Геккеля была его чрезмерная прямолинейность, вследствие которой он хотел признать эволюцию всерьез и сделать из нее неизбежные выводы (ну, хотя бы о неприемлемости учения о бессмертии души; о филогенетическом дереве человека, состоящем якобы из 22 ступеней и т. д.); за это травля не прекращалась до самой его смерти. В таких случаях расправлялись разными манерами, смотря по обстоятельствам. Самым простым средством было простое игнорирование неугодных работ. Так, напр., поступили со знаменитым теперь Менделем, основателем современного менделизма; Мендель, как известно, опубликовал в 1865 г. (в «Записках О-ва Естествоиспытателей» в Брюнне, т. X) исследование под заглавием «Опыты с растительными гибридами», где устанавливал свои принципы наследственности; вся его вина была в том, что его опыты могли привести к постановке ребром вопроса об эволюции; и вот работы Менделя замолчали не хуже, чем в свое время работы Ламарка. За то по отношению к открытию де-Фриза потребовался гораздо более современный, культурный и тонкий способ. Де-Фриз не был таким малоизвестным монахом, как Мендель, и печатал свои работы не в захудалом провинциальном журнале: просто замолчать его работы не удалось. Но и де-Фриза привели к одному знаменателю, его просто «раз'яснили» (См. по этому поводу у дарвиниста L. Plate—«Selektionsprinzip und Probleme der Artbildung», 1913 г., p.p. 105—106. а также Филипченко—«Эволюционная идея в биологии», 1923, стр. 53—54).

С одной стороны, в разных курсах для студентов-естественников упоминалось об эволюционном учении, но особого курса последнего не существовало. В русских университетах, напр., эволюционное учение в обязательные программы так и не было введено до самой революции; разве кое-где читался так называемый необязательный курс. С другой стороны, писались ученые исследования тоже определенного типа. Труды самого Дарвина, как известно, касались тех или иных чисто биологических проблем (исключение его ранние монографии по Cirripedia; его биологические работы, не считая трех главных произведений, касались: насекомоядных растений, оплодотворения у орхидей, выражения ощущений у человека и животных и т. п.), его основное исследование для доказательства эволюции имело тоже чисто биологический характер—состояло в разведении и скрещивании голубей. В то же время Дарвин не сделал ни одной сравнительно-анатомической или эмбриологической работы. Наконец, даже в его «Происхождении видов» доказательства от морфологии, сравнительной анатомии и эмбриологии занимают только последнее место, только небольшую последнюю перед заключением главу (гл. XIV, она занимает из 327 страниц всего сочинения 30 страниц: цитир. по издан. О. Н. Поповой 1898 г.).

И вот буржуазная наука, использовав у Дарвина лишь то, что ей было нужно, отвергла, оставила без внимания, что выходило из ее расчетов. Она не последовала за Дарвином в отношении направления исследований, а взяла здесь иной курс и бросилась как раз в об'ятия того, кого та же буржуазная биология привыкла ругать на всех перекрестках, а именно, к quasi-монисту и quasi-потрясателю буржуазных основ, к Эрнесту Геккелю. Вообще говоря, значение этого ученого в истории биологии очень многогранно, в одних отношениях положительное, в других отрицательное. В своей яростной защите и пропаганде дарвинизма (в этом его положительное значение) Геккель оказался, однако, слишком, до узости, прямолинейным, и хотел свести весь дарвинизм к историзму; он даже противополагал эволюционность механистическому принципу. Тенденция все сводить к истории, к филогенезису, имела следствием прежде всего то, что Геккелю приходилось больше пользоваться строением животных, чем их функциями и жизнью. При тогдашнем состоянии науки только сравнительно-анатомические, эмбриологические и палеонтологические данные давали материал для восстановления генеалогических деревьев, стадий филогении и т. п. Физиологические и биологические факты для заключений в этом направлении были в то время менее, а то и вовсе, не пригодны.

Таким образом, Геккель удалился фактически по характеру своих работ от Дарвина и подал пример к установке сравнительно-анатомического, морфологического направления в биологии. В этом, несомненно,—отрицательное значение Геккеля в биологии. Биология стала работать не по Дарвину, а по Геккелю, получила определенный сравнительно-анатомический уклон, а последняя глава «Происхождения видов» фактически заняла в науке первенствующее место. В сущности, дарвинизм поставили таким образом кверху ногами, превратили дарвиновскую биологию, в которой было все от жизни, в мертвую, законсервированную геккелевскую биологию.

II.

Итак, придарвиновская и последарвиновская биология пошла в своем направлении по следам не Дарвина, а Геккеля и стала мертвой, а не живой биологией.

В этот период наиболее характерными работами по биологии были морфологические, сравнительно-анатомические и эмбриологические монографии или описания какого-нибудь органа, системы органов или животного с неизбежной заключительной главой о филогении или генеалогическом дереве. Самый характер таких монографий исключал всякое отношение к физиологии и функциям данной системы, всякие вопросы о взаимоотношениях со средой и т. п. и т. п.; каждый орган или система рассматривались фактически как определенный, застывший в своей отдельности об'ект, лишь своим мифическим филогенезисом говорящий о каких-то архидревних процессах изменений. Центр тяжести таких работ усматривался в степени детальности, точности и подробности описания, при чем существенное ставилось рядом с менее существенным, постоянное с непостоянным, крупное на одном ряду с мелким. Лучшим примером такого типа описаний остается до сих пор наша классическая анатомия че-

человека, какою ее и по сие время преподносят в высшей школе; та анатомия, которая существует и учится для того, чтобы быть позабытой, когда станешь врачом, и в которой все мелкое и все важное одинаково педантично носит глубокомудрые латинские двойные наименования [1]).

Приучали именно к такому типу научных работ еще на студенческой скамье. В этом отношении типичен случай, бывший в мое студенчество. На мою, студента 2-го курса, просьбу дать тему для работы в зоологическом кабинете, тогдашний ассистент (ныне здравствующий профессор), подумав, спросил меня: «Вы знаете, что такое дафнии?». Я только что прозанимался целое лето с микроскопом, но как-то случайно не натолкнулся на этих обычных в наших пресных водах низших ракообразных, и поэтому ответил отрицательно. Тогда тот взял со стола несколько-фунтовую банку с какой-то жидкостью и подобием перловой крупы в ней и сказал: «Вот вам и работа!». В банке оказались тысячи законсервированных дафний. Итак, студент, не видевший никогда в природе живых дафний, без дальнейших слов получил задание монографически исследовать их строение.

При этом уже самый характер подобных исследований скрывал в себе определенное отношение к эволюции и невольно приучал к таковому и начинающую молодежь. Анатомические описания того же об'екта уже не раз делались раньше (100, 50, 20 лет тому назад) и, вероятно, будут делаться и впредь. В чем же разница всех этих описаний одного и того же об'екта? Предполагалось, и не без основания, что разница эта сводится к иной технике исследования (ибо она постоянно прогрессирует), а также к индивидуальности, «умению», «талантливости» авторов описаний. Сам же орган или животное, предполагалось, за такое короткое время фактически не изменится; медленность эволюции, мол, доказана ни кем иным, как самим Дарвином (слушайте и не могите не верить!). И вот невольно создавалось такое отношение к данному органу или животному, как будто это—лучший пример самой абсолютной неизменяемости в мире. А идея эволюции так и оставалась при этом чем-то посторонним, теоретическим, как бы не имеющим отношения к действительности.

Подобное же отношение к эволюции распространялось молчаливо и на будущее. Мир, мол, изменяется настолько медленно, что измениться заметно для человека он не успеет раньше, чем сам человек, изменившись, не превратится в какого-нибудь сверхчеловека. А пока человек будет существовать, как таковой, практически в природе будет действовать формула: так было, так будет. А если это так в природе, тем более это так в человеческом, сиречь, в буржуазном обществе. И живая идея дарвинизма под такими оковами стала вполне послушной метафизической догмой.

Далее, такое положение цеплялось в свою очередь за другое, которое находилось с предыдущим в полной гармонии и его прекрасно дополняло. Мы говорим о тенденции работать только на основе формальной логики. Все вопросы положено было разрешать по формуле: или—или. А все устанавливаемые закон-

[1]) Да не поймут меня, что я против святынь анатомии... Нисколько... Ценю и уважаю всякую „ученость", даже и по анатомии... Но не следует ли порцию-то уменьшить?

ности полагалось признавать практически неизменными. При этом схема всякой мысли, всякого исследовательского процесса была проста до крайности. Требовалось разрешить всякий вопрос по формуле или—или. А все устанавливаемые законности полагалось признавать практически неизменными. При этом схема всякой мысли, всякого исследовательского процесса была проста до крайности. Требовалось разрешить всякий вопрос по формуле: или — или, т.-е. считали его разрешенным, если два или несколько авторов сходились в своих выводах; тогда вписывали еще новую законность, новое положение в кодекс практических абсолютов нашего мира. Во многих случаях факты выдерживали такое испытание и биология процветала во славу ее работников. Но в других случаях настойчивые домогания биологов разрешить вопрос по привычной формуле или—или буквально ни к чему доброму не приводили. Биологи бились, как рыбы об лед, а спорные положения и разногласия не поддавались ни на йоту. Вспомним хотя бы более чем 40-летний и далеко не закончившийся в настоящее время спор вокруг проблемы наследования благоприобретенных признаков. Здесь столкнулись как раз два момента: 1) тенденция разрешить вопрос непременно по формуле или—или и 2) по самой сути вопроса полная невозможность такого его разрешения. Естественно, что при таких условиях спор должен был вылиться в спор не по существу. Так и случилось: спор о том, наследственны ли благоприобретенные признаки, фактически подменился спором. что такое благоприобретенные признаки. Делаж так резюмировал содержание этого спора: «Эти оговорки и ограничения делают разбор примеров, приводимых в доказательство наследственной передачи, крайне трудным и запутанным. Вообще всякий раз, когда передача какого-нибудь свойства доказана, систематические противники такой наследственности заявляют, что это—не «настоящее» приобретенное свойство, и считают убедительными только те примеры, где передача того или иного свойства не может быть доказана, или где есть возможность считать его врожденным. И, может быть, именно в этой трудности удовлетворить всем требуемым условиям и лежит причина того странного факта, что примеры, приводимые в защиту ламаркистской теории различными авторами, не только не оказываются многочисленными, как должно было бы быть, если эта теория верна, но, наоборот, сравнительно малочисленны и всегда одни и те же» [1]). А по существу ясно, что данная проблема не подлежит разрешению на основе формальной логики, а требует диалектического к себе подхода [2]). Аналогичен длительный спор между сторонниками принципа употребления и неупотребления (ламаркистами) и принципа отбора (дарвинистами); здесь опять-таки возможен только диалектический подход: и — и, а не или — или.

---

[1]) Ив. Делаж и М. Гольдсмит, Теории эволюции, изд. О. Поповой, 1916 г., стр. 142.

[2]) Биологи до настоящего времени продолжают подходить к этой проблеме с весами формальной логики. См. Морган и Филипченко, Наследственны ли приобретенные признаки, изд «Сеятель». 1925 г.; Кольцов, Новейшие попытки доказать наследственность благоприобретенных признаков,—„Русск. Евген. Журнал",II, 1924 г., вып. 2—3. Срав. рецензию в „Книгоноше" 1925, № 36—37.

Таким образом построение биологии на основах исключительно формальной логики приводило науку к неразрешимым противоречиям с требованиями фактов.

III.

Мертвая наука о живой природе и «незыблемые» законы эволюционирующей природы олицетворяли всю схоластичность и метафизичность буржуазной биологии. Наука по своему существу всецело от жизни—биология—стала в принципе омертвленной, скованной в оковы схоластикой. И все же эта биология строилась на фактах, хотя и на мертвых.

Но что сказать о дальнейшей тенденции в развитии дарвинизма, где, наоборот, именно фактов-то и не доставало. Началось это еще при Дарвине. Уже самого Дарвина критики обвиняли в метафизике за его теорию отбора и говорили, что Дарвин в доказательство значения отбора для эволюции не привел ни одного конкретного, действительно наблюдавшегося факта. Да и сам Дарвин все свои примеры быстроногих волков, опыления цветов и т. д. называл «воображаемыми» [1]). Филипченко говорит, что в вопросе об естественном отборе Дарвин «должен был сойти с реальной почвы» [2]), и что фактов, доказывающих «действительное существование» эволюции на основе естественного отбора, «в распоряжении Дарвина не было» [3]). Для нас здесь не важно, действительно ли у Дарвина таких фактов не могло быть, а важно то, что уже самого Дарвина биологи обвиняли в метафизичности в вопросе об отборе.

В дальнейшем, как известно, дарвиновское учение породило целую гору самой разнообразной литературы, на самых разнообразных языках, которую в настоящее время не одолеть одному человеку. В этой литературе есть все переходы от простых переложений учения Дарвина до самой детальной критики его, от самых популярных работ до научнейших трактатов и от хвалебных дифирамбов дарвинизму до самых резких нападок на него и до самой уничтожающей критики. Но как ни велика и ни разнообразна эта литература, одна черта об'единяет всю ее, а именно, метафизическое отношение к дарвинизму. Критики и последователи Дарвина, констатировавшие отсутствие фактических доказательств значения отбора в сочинениях последнего, тем не менее сами не только не исправили, не загладили этого недостатка своими работами, а еще усугубили его. Во всей последарвиновской литературе тоже почти нет таких фактов, которые бы подтвердили или опровергли теорию отбора [4]). Вся хвалебная и критическая литература по дарвинизму представляет из себя, собственно говоря, лишь софистического характера словесную прю, где каждый старается бить на эффект нового, остроумного, но может быть совсем не оправдывающегося на фактах соображения. Вся эта пря, в сущности, лишь бросание словами, где каждый «доказывал» то, что ему угодно.

---

[1]) Дарвин, Происхождение видов, гл. IV, изд. О. Поповой, стр. 60.

[2]) Филипченко, Эволюционная идея в биологии, Москва 1923, стр. 64.

[3]) Там же, стр. 63. Курсив автора.

[4]) В современных научно-популярных книжках обычно приводятся только два фактических наблюдения, из которых делаются попытки сделать вывод о значении отбора: 1) Уэльдона (Ueldon) над крабами и 2) Bumbus (1899) над погибшими в бурю воробьями.

Дарвиновская литература вела то более, то менее остроумные споры по поводу отдельных положений этого учения, как, напр., вокруг понятия полезности, определения понятий «наиболее приспособленный» и «наиболее совершенный», вокруг принципа расхождения признаков, вокруг понятия случайности и т. д. и т. д. Вспомним, напр., чрезвычайно характерный по своей метафизичности спор между Вейсманом и Спенсером о всемогуществе или недостаточности отбора. И вот такие моменты становились в самом центре внимания биологии.

При этом уклон в метафизичность в вопросах дарвинизма достиг такой степени, что было выставлено все упрощающее и в сущности сводящее на-нет опытность науки положение, будто бы дарвиновская теория по самой своей сути вообще недоказуема на фактах и является лишь априорным, чисто логическим постулатом, не допускающим опытной проверки.

На метафизический характер биологии влияло и еще одно обстоятельство. Мы уже упоминали, что в сущности все содержание философии биологии XIX века составляли эволюционные вопросы. А ведь сама эволюция является процессом, относящимся к некоторым об'ектам, в данном случае к об'ектам, представляющим органический мир. При чем этот процесс касается определенных признаков и свойств этих последних и составляет изменчивость последних. Поэтому, об'ективно говоря, казалось бы более правильным распределить изучение в такой последовательности (во времени): прежде изучить самые признаки и свойства, а потом уже (или хотя бы одновременно) исследовать процессы изменчивости их; но не обратно: раньше начать изучение изменчивости об'ектов, а потом самые об'екты. А ведь в биологии XIX века дело обстояло именно так, по последнему способу. Действительно, XIX век стал веком эволюционной теории, а изучение самих свойств органических об'ектов было отодвинуто на задний план, оставлено, очевидно, в наследие грядущему XX веку. К таким мало привлекавшим к себе проблемам нужно отнести проблему живого и мертвого, вопросы об элементарных свойствах плазмы и о строении живой материи, о сведении свойств живой материи (чувствительность, тропизмы и т. п.) к физико-химическим процессам и т. п. и т. п. Все такие вопросы вообще мало затрагивались в XIX веке, а когда и затрагивались, то все же не ставились в центре внимания биологии; и если затрагивались, то чаще принимали метафизический характер (сюда относятся чисто дуалистические представления о принципиальном различии свойств и строения неорганических и органических тел, знаменитые в свое время теории строения плазмы Гейцмана, Флемминга, Бючли, Гейденгайна и т. д., спекулятивные теории наследственности Дарвина, Негели, Вейсмана и др. и т. д. и т. д.). Отдельные направления чисто материалистического характера (напр., работы Ж. Леба) привлекали к себе, конечно, далеко не такое внимание, какого заслуживали. Отсутствие большого внимания в XIX веке к таким проблемам можно отчасти об'яснять разными об'ективными условиями, вроде состояния физико-химических наук, техники и т. п., но факт, что такое положение скорее усугубляло метафизичность буржуазной биологии, нежели ослабляло ее, остается фактом.

Общую картину буржуазной биологии довершала, наконец,

чисто философская сторона. Мы не можем здесь подробно излагать этот вопрос (это потребовало бы еще целой статьи) и коснемся только наиболее характерной черты в нем. Мы хотим здесь обратить внимание на соотношение двух основных направлений в биологии: ламаркизма (последователей принципа употребления и неупотребления) и дарвинизма (последователей принципа отбора) с главными философскими течениями—материализмом и идеализмом. Заметим при этом, что в биологии материализм проявляется в виде принципа механистичности, а идеализм в виде витализма; механистичность учения Дарвина стоит вне сомнения, а материалистичность учения Ламарка иногда подвергается оспариванию.

Дело сводится к тому, что раздел по линии: дарвинизм—ламаркизм вовсе не стоит у буржуазных биологов в каком-то законном соотношении к разделу по линии: механистичность—витализм. Так, напр., на Дарвине пробуют базироваться не только биологи-механисты, но и биологи-виталисты. Вот, напр., что писал современный нам махровый виталист-ботаник, проф. Р. Франсе: «Ведь, красота природы, роскошь ее красок, прелесть ее форм, приятный запах и вкус многих ее продуктов не могли же возникнуть случайно? Этого и не было,—говорит Дарвин,—но все это возникло благодаря активным существам, обладающим вкусом и такой долей разума, которая позволяет им выбирать нравящиеся им краски и формы... Чувство красоты, способность выбирать и рассуждать распространены вплоть до одноклеточных существ и даже вплоть до последних пределов жизни, так как красота природы, роскошные краски и приятные формы наблюдаются и там. Таким образом учение о половом отборе оказалось основанным исключительно на «психических понятиях», т.-е. совершенно немеханистических воззрениях» [1]). И далее: «О б ' е д и н я ю щ и м з в е н о м в д а р в и н и з м е может быть немеханистическое об'яснение мира, а лишь идея естественного развития» [2]). Итак, ярый виталист все-таки хочет строить на дарвинизме и разыскивает в нем «немеханистические» основы.

С другой стороны, не только просто последователь Дарвина, а, как известно, сосоздатель дарвинизма, Альфред Уоллэс (Alfred Wallace) в своем изложении этого учения договаривается: 1) до признания, что в эволюции было по крайней мере три момента, когда должно было иметь место «вмешательство новых факторов», «новой силы», «жизненной силы» (а именно: а—при изменении неорганического вещества в организованное, б—при «появлении чувствительности и сознания», в—при появлении «у человека некоторого количества самых характерных и благородных из его качеств») и 2) до признания «существования невидимого мира—мира духа, которому подчинен материальный мир» [3]). Вот какие виталистические шедевры мы находим у буржуазных представителей «материалистического» дарвинизма. Даже русский переводчик книги Уоллэса, кадетствующий профессор М. А. Мензбир, не удержался назвать эту точку зрения автора «оригинальной» и «неожиданной» [4]).

---

[1]) Р. Ф р а н с е, Философия естествознания, СПБ., 1908 г., изд. «Вестника Знания», стр. 9.

[2]) Там же, стр. 9—10. Курсив автора.

[3]) А. У о л л э с, Дарвинизм, Москва 1911 г., стр. 541 и 542.

[4]) Там же, вступительная статья М. А. М е н з б и р а, стр. XXV.

Далее, как известно, многочисленных последователей ламаркизма можно делить на две группы: 1) механоламаркистов и 2) психоламаркистов [1]), и сюда войдут все переходы от чистого виталиста Паули до такого чистого материалиста, как П. Лесгафт.

Неустойчивость и неопределенность философских основ у буржуазных ученых, и в частности биологов, факт общеизвестный, но в данном случае философская путаница и неразбериха еще больше усугубляет картину общей метафизичности буржуазной биологии.

Теперь мы можем подвести итоги характерным чертам последней. Основной чертой ее служит общая тенденция использовать эволюцию в своих классовых интересах; главным маневром для этого является принятие эволюции «не всерьез», и всевозможное обволакивание этой идеи всякой метафизикой и мистицизмом. Этому служили: 1) выдвижение эволюции на первое место перед проблемами строения и свойств плазмы, 2) превращение биологии в науку о мертвых об'ектах, 3) боязнь фактического материала, который мог бы рассеять облако метафизики над эволюцией и дарвинизмом, 4) пользование формальной логикой и непризнание диалектики и 5) увеличивавшие метафизическую путаницу экскурсы в область философии.

IV.

А теперь обратимся к биологии XX века. Прошла уже целая четверть этого последнего, да еще оказавшаяся столь богатой мировыми событиями. Ясно отсюда, что и современная биология не могла остаться совсем такой, какой она была в конце XIX века. Но нас интересует здесь главным образом самая последняя, самая современная биология, а начало века—только постольку, поскольку тогда уже намечались некоторые черты ее, характерные для настоящего времени.

Пожалуй, самой краткой и яркой характеристикой современной биологии было бы сказать про нее классическое: «на Шипке все спокойно». И, действительно, прежде всего внешняя сторона говорит за это: до сих пор массовый состав ученых биологов и профессоров не только за границей, но и у нас в СССР, остается по-прежнему вполне буржуазным. Марксистов среди них теряющиеся единицы. Но, чтобы точнее поставить диагноз о современной биологии, таких внешних черт еще недостаточно; нужно разобраться подетальнее в самом содержании последней.

Прежде всего нельзя не видеть перелома, начавшегося в биологии как раз в первые годы XX столетия. Среди биологов появляются определенные признаки неудовлетворения, разочарования в морфологическом и сравнительно-анатомическом, мертвом направлении биологии. Знаменитые генеалогические деревья Геккеля, вызывавшие такой интерес и широкое распространение в XIX веке, как-то сразу стали терять в это время в своем научном значении, стали вызывать к себе критическое отношение или полное недоверие; в настоящее время геккелевское направление в данном вопросе можно считать уже совсем ликвидиро-

[1]) Филипченко, Эволюционная идея в биологии, Москва 1923 г., стр. 167.

іным. Неудовлетворенность сравнительно-анатомическим направ-
іением в биологии стала появляться и у его прямых сторон-
иков. Один из маститых русских сравнительно-анатомов на дис-
ртации своего ученика, говорят, острил, что последний будто
і смотрит на весь мир сквозь жаберную щель (диссертация была
і эту тему); острота эта очень знаменательна, но попала она,
онечно, не столько в молодого ученого, сколько в отживающее
натомическое направление в биологии.

Одновременно с этим пустили сильные ростки новые, чисто
иологические направления. Появились громадной важности ра-
оты Kammerer'а, Tower'а, Meisenheimer'а, Леба, де-Фриза и мно-
их других. Воскресает в свое время «не замеченный», а в сущ-
ости замолченный, менделизм, расцветает так называемая экспе-
иментальная биология (зоология, эмбриология) и т. д. и т. д.
настоящее время мы уже видим определенное преобладание
тих новых направлений над старыми, чисто морфологическими.
этом, конечно,—один из первых предвестников новой, грядущей
иологии.

От мертвых фактов к живым—таково это новое направление.
[алее оно расширяется еще более и начинает захватывать но-
ые области; оно начинает переходить уже в принцип: от былой
етафизики к фактам. Поднимается вопрос о раскрепощении от
етафизики дарвинизма. Ставится на пересмотр центральное по-
ожение прежней биологии: дарвинизм недоказуем. Виталист
Филипченко, напр., высказывается уже против этого принципа:
Можно, конечно, сказать, что иных примеров [1]) естественного
одбора в силу крайней медленности его действия быть и не
южет, хотя лично мы и не думаем этого» [2]). А на 1-м с'езде зоо-
огов в 1922 г. этот же автор делает доклад о своей попытке
роверить на опыте некоторые частные положения Дарвина [3]). Ко-
ечно, это далеко еще не тот критический пересмотр дарви-
изма, который должен иметь место в новой биологии, а только
ервые предвестники его, но характерные для состояния
овременной биологии. Все подобные новые попытки еще вполне
живаются с характерными настроениями старой биологии. Даже
ольше того, они почти теряются на фоне последних. Полу-
ается впечатление даже настоящего расцвета этих старых на-
троений. Но это, конечно, только внешнее впечатление. На самом
еле—это не расцвет, а отчаянная последняя попытка задержать
а собой позиции, удержать ход истории, не быть снесенными
оследней. Биология вошла уже в период острого кризиса, кото-
ый пока держит науку как бы в тупике, а на самом деле
отовит ей революцию. Современное положение биологии, это—
омент сильнейшего напряжения, в котором еще уживаются пока
епримиримые по существу тенденции и направления. Начало
того периода относится еще к началу XX века, но обострение
го—период мировой войны и последующих мировых событий.
А в ближайшей перспективе идут еще и еще большие обострения.

[1]) Т.-е. кроме «воображаемых». *А. Б.*

[2]) Филипченко, Эволюц. идея в биологии, Москва 1923 г., стр. 64.

[3]) Впрочем, в только что вышедшей книжке Б. М. Козо-Полянского «Дар-
винизм. Схема» (Северный Печатник, 1925 г.), автор отстаивает еще недока-
зуемость дарвинизма: «Что естественный отбор именно и есть причина эволю-
ции, это не может быть непосредственно и окончательно доказано» (стр. 74), а
в своей схеме дарвинизма (между стр. 34 и 35) ставит в этом месте жирный
знак вопроса.

Кризис биологии в первые годы XX столетія состоял и в том, что, с одной стороны, нарождались новые чисто биологические направления, а, с другой стороны, преобладающие механистические тенденции конца XIX века стали определенно слабеть и заменяться вновь поднимавшим голову витализмом. Получалось в сущности логическое противоречие: резкое увеличение чисто материалистического, фактического материала в науке сопровождалось усилением метафизических настроений. Профессору Зографу, который констатировал в своей речи на XII с'езде Русских Естествоиспытателей и Врачей в Москве в 1909 г. [1]) усиление виталистических тенденций в биологии, положение казалось в сущности нормальным, и он, как механист, искал лишь новых фактов, которые бы могли его успокоить, что за временным под'смом витализма последует такой же обычный под'ем материализма. Никаких непормальностей во всем этом Зограф не видел. Но надежды нашего профессора не сбылись, и вместо ожидавшегося им под'ема материализма витализм в биологии все продолжал свой под'ем, который держится и по сей день, и даже особенно резко выявился именно в последнее десятилетие.

В последние годы виталисты стали писать свои книги прямо целыми пачками. Вот, напр., Oscar Hertwig издал в 1916 г. «Das Werden der Organismen», в 1921 г.—«Zur Abwehr des ethischen, des sozialen, des politischen Darvinismus» и в 1922 г.—«Der Staat als Organismus, или R. France: «Die Welt von Morgen, Bios, Plasmatik и т. д. В России за последние годы опубликовали свои работы следующие виталисты: Филипченко (Изменчивость; Наследственность; Эволюционная идея в биологии и др.), Берг (Изменчивость явлений и законы природы—«Природа», 1919 г., № 7—9; Из истории эволюционных идей—«Научн. Известия», сборн. IV, 1922; Номогенез или эволюция на основе закономерностей; Борьба за существование и взаимная помощь; Теории эволюции; Наука, ее смысл и значение), Соболев (Начала исторической биогенетики), Вернадский (Химический состав живого вещества; Начало и вечность жизни; Живое вещество в химии моря), Лосский (Современный витализм) и др.

Такой количественный расцвет виталистических сочинений совпадает во времени, как мы уже говорили, с расцветом чисто материалистических (в своей сути) учений И. Павлова, Ж. Леба, учений о гормонах, витаминах, определении пола, менделизма, экспериментальной биологии и т. д. и т. д. Виталистических фактов наука не дает, а виталистических общих сочинений—сколько угодно. Очевидно, дело не в расцвете витализма, а в «расцвете» только в кавычках. Современный «расцвет» витализма—это лишь последние попытки растерявшейся буржуазии отстоять свое миропонимание перед натиском новых событий и в жизни, и в биологии. Это—начало конца буржуазной биологии. Всякое усиление витализма ведет лишь к более сильному напряжению противоречий в биологии, напряжению, которое поведет к революции.

В чем можно видеть следы растерянности и разочарований в современной биологии? Черты разочарования прежде всего отно-

[1]) Н. Зограф, Новейшие течения в эволюции, намечающиеся в новом, XX веке, «Дневн. XII С'езда Русск. Естествоисп. и Врачей в 1909 г. в Москве», стр. 175—195.

сятся к тому, чему наука поклонялась в XIX и в самом начале XX века. Прежде всего мы наблюдаем здесь разочарование в самой идее эволюции,—очевидно, усталость от опутывавшей ее до сих пор метафизики. И вот начинается проповедь просто-на-просто «финала эволюции». Под таким заглавием выходит, напр., очень маленькая, но очень характерная по своему содержанию книжка ботаника Козо-Полянского. Книжка стоит того, чтобы привести из нее несколько ярких выдержек. Книжка начинается так: «Идея эволюции насквозь пропитала всю биологию. Она, поистине является душой этой науки. Вполне понятно, поэтому, что нет такого биологического сочинения, которое, перейдя к общим вопросам, не заговорило бы об эволюции. Но совершенно непонятно, почему биологи всех времен, начиная с самого Дарвина, говорят об эволюции, как о процессе, не только имевшем огромное прошлое, но длящемся и в современной природе, между тем для доказательства реальности последнего у нас нет никаких данных» [1]). И далее: «Анализ выдвигаемых современной биологией доказательств реальности процесса эволюции убеждает, что все они касаются прошлого истории органического мира. что у нас нет достаточных оснований питать убеждение, ни что эволюция продолжается доселе, ни даже—что теперь идет сколько-нибудь заметное новообразование форм.

Все ведомо и только повторенья
Грядущее сулит... [2]) —

так заканчивает меланхолически автор словами Боратынского. Еще дальше: «Процесс эволюции весь в прошлом, он—дело давно минувших дней. Эта точка зрения способна примирить оба течения человеческой мысли,—признание эволюции органического мира и отрицание ее,—оба, опирающиеся на несомненный эмпирический материал. Посмотреть на современность органического мира—эволюции нет, на его прошлое—эволюция очевидна» [3]). Вот—нотки примиренчества. Но кто же погубил эволюцию? Догадаться не трудно, это—сиволапый... человек. Впрочем, цитируем самого автора: «Так как в этот (т.-е. последний. *А. Б.*) период наново выдвинулся на сцену только один новый агент—человек, то отсюда прямо вытекает (очевидно, по законам формальной логики!! *А. Б.*), что человек, вероятно, и является ликвидатором эволюции» [4]). И автор печально заканчивает: «Весь органический мир отмечен знаком смерти; он гибнет и его эволюция пресеклась с тех пор, как в ее жизнь вклинился человек, который и является ликвидатором эволюции» [5]). Вот вам характерные осенние настроения, прямо из «Вишневого сада» или из «Осенних скрипок»! А ликвидаторство-то какое! Автор открыл слона, которого никто до него не приметил! Но в последнем автор несколько ошибается; и здесь грядущее сулит только повторения; мысль о ликвидации эволюции тоже не нова, ее высказывали и не биологи (напр., Кант) и биологи (близок к этому, напр., взгляд К. Бэра). Но дело не в этом, конечно. Дело здесь

[1]) Козо-Полянский, Финал эволюции, 1922 г., изд. Буревестника. стр. 5. Курсив автора.
[2]) Там же, стр. 9.
[3]) Там же, стр. 10—11.
[4]) Там же, стр. 14.
[5]) Там же, стр. 16.

в характерном для биологии сегодняшнего момента разочаровании в эволюции, в легкости отказа от нее, в обвинении человека в ликвидации эволюции и в пессимистическом предвещании всеобщего конца.

У другой части биологов ликвидаторское настроение направлено не на самый принцип эволюции, а на увлечение им в биологии. Это настроение тесно связано подчас с неудовлетворенностью мертвым, морфологическим направлением прежней биологии. Высказываются голоса, что неудачи и неуспехи эволюционного направления зависят от того, что рано за него взялись, не будучи еще подготовленными изучением свойств живой материи и т. п. Отсюда предложение—не покончить с эволюцией, а только отложить вопрос о ней и временно заняться более черновой работой—изучить свойства и строение живой материи, сходства ее с неорганической и т. п. Таким образом возвращаются к той мысли (о которой мы говорили выше), что ошибка XIX века была в нецелесообразном распределении исследований во времени; прежде изменчивость, а потом свойства. За «обновление биологии новыми идеями», за «вмешательство» в нее физики горячо ратует, напр., русский физик Гольдгаммер в своей очень интересной книжке: «Процессы жизни в «мертвой» природе» (изд. Гржебина, 1922 г.). «То, чего мы не понимаем в мире неживом,—говорит автор,—нам кажется почему-то нормальным, а когда мы встречаемся со столь же непонятным у материи «живой», мы прибегаем к особым видам сил и энергий, материальных и нематериальных, свойственных будто бы только живому» (стр. 100). Дело идет по автору «о включении всей совокупности процессов жизни в общий ряд процессов природы, и это есть настоятельное требование, пред'являемое ко всякому научному мировоззрению» (стр. 101). «Жизнь есть тайна. Это верно; но ведь и эфир физики есть тайна, и электричество есть тайна, и катализ есть тайна. Но мы должны стремиться разгадать эти тайны, уменьшить их число» (стр. 47). Гольдгаммер ратует за то, чтобы усилить работу по постройке моста между живым и мертвым, но не «с берега жизни», как пробовали неудачно раньше, а «с берега смерти» (стр. 6 и 7). Это предложение физика идет как раз в унисон с соответственным настроениями части современных биологов. Здесь тоже—разочарование, но уже разочарование здоровое, разочарование, призывающее к физико-химическому изучению плазмы.

Далее идут другие «разочарования». Современных ученых «разочаровал» дарвинизм, и вот мы присутствуем при новом под'еме антидарвинистических настроений (Берг с его «Номогенезом»). Здесь дело подчас сводится, как оказывается, к тому, что приходит время снять былые метафизические покрывала с дарвинизма и решиться сделать из него определенные выводы. Вот, напр., знаменитый виталист Р. Франсе начинает с жалобы, будто «Спенсер и Дарвин разорвали контракт между «великим человеком» и богами» (начало-то каково!), констатирует наличие «мучительнейшего конфликта» между идеалами и действительностью и говорит о надломе (Bruch) в европейской культуре. Далее автор настраивается уже так мрачно (подумайте, потеря контракта, чувство мучительного конфликта и т. д.!), что впадает в пафос и истерику: «Так я не хочу больше жить. Лучше я буду смотреть в глаза всякой (даже коммунистической?—

спросим мы автора. *А. Б.*) действительности, начну в корне (völlig) переучиваться, лишь бы только иметь опять, наконец, чистую совесть, полную энергию к жизни и светлую бодрость человека, исполняющего свои обязанности. Таким образом я бесстрашно посмотрел прямо в глаза этому утверждению дарвинизма. И вдруг (в кликушестве всегда наступает вдруг просветление. *А. Б.*) мне стало ясно: оно не может быть правдой. Спенсер, Дарвин, Геккель и все другие также ошибались: никто не имеет права сказать: зверь написал Фауста, а другой зверь учил «переоценке всех ценностей». Нет, это не животное сочиняет, мыслит, рисует, строит, занимается музыкой, открывает, основывает фабрики и создает еще неслыханное по своей невообразимой сложности (Fülle), это—нечто действительно еще «неизвестное», еще не открыто, что изобрело (erfunden hat) также самих «животных», растения, человека и клетки, нечто более могущественное (das mehr kann), нежели все это, так как эти создания и сами мы есть только его орудия. Это неизвестное есть «живая материя» или, говоря научно, плазма»[1]). И вот наука будущего есть, по автору, плазматика (так и называется самая книжка Франсе), учение о плазме. «Еще никто из философов,—говорит далее автор,—не мыслит биоцентрически, теория познания и психология еще не стали проблемой плазмы, биотехника и биоценотика для них еще не открытые стороны духа. Еще не существует плазменной этики и социологии (это ли не биоцентризм! *А. Б.*). Культурная наука (Kulturwissenschaft) и еще много менее культурная работа не имеют еще биологической основы. Все еще нет биологической философии. И небиологические «философии» принимаются еще всерьез. Даже еще сами биологи не осознали, что они знают, что открыли их отцы и праотцы и что они сами ежедневно подтверждают. Все еще стоит стена между растениями и животными, все еще человек не включен без остатка в «царство плазмы», его постройки, орудия, оружие, открытия еще не включены в экологию организмов, а его психические действия—в общую сравнительную психологию; еще не существует исследований, как, напр., над языком плазмы, над изобретениями растений, над свадебными обычаями животных, над оценотикой человека, всé еще из понятия «сравнительная биология» не делается выводов, которые из него следуют как само собой разумеющиеся (ist mit allem, was daraus folgt, nicht selbstverständlich). И все это должно бы существовать, если бы по крайней мере естествоиспытатели познали, что такое плазма и что «жизнь» нельзя иначе расценивать, как плазматически»[2]). Мы не станем более следить за развитием мысли автора. Мы видим уже, к какой виталистической метафизике ведет он со своим якобы биоцентризмом (а на самом деле с самым грубым антропоцентризмом). Нам важна основная мысль автора: дарвинизм—это ошибка, а потому долой его; заменим его наукой о плазме; все от плазмы и все—плазма. Итак, у виталистов мы наблюдаем откровенную несостоятельность перед дарвинизмом, самый неприкрытый страх перед неизбежностью сделать из него определенные выводы. И это как раз у

[1]) R. France, Plasmatik. Die Wissenschaft der Zukunft, Stüttgart—Heilbronn 1923, S. 12—13. Курсив автора.
[2]) Там же, стр. 32.

тех виталистов, которые в былое время сами распинались за дарвинизм! Конечно, в этом—«знамение времени»; стало уже излишним вести старую политику «эволюции не в серьез», нужно уже определять свое действительное отношение к дарвинизму; ну, вот и определяют! Но здесь интересно, что и виталисты, хотя и с другого конца, приходят тоже к необходимости изучения плазмы. Эта мысль интересна особенно у Франсе, ибо она проявляется у него в чисто диалектическом процессе: поводом для этой мысли была чисто консервативная идея разделаться с ненавистным дарвинизмом, а сама мысль, неведомо для ее автора, является одним из провозвестников самой новой материалистической биологии, которая вырастет путем раскрепощения дарвинизма от схоластики. Диалектические законы не оставляют и виталистов.

Итак, современный витализм пышен только на вид, а в сердцевине его червь разложения, яд разочарования, предсмертная тоска! И в этом развале начинают появляться мало приметные сразу ростки новой биологии. Разочарование в дарвинизме поведет не к гибели последнего, а к его критическому пересмотру, отказ от эволюции окажется лишь «кажущимся» и, приблизив биологию к физике, сделает первую лишь более определенно материалистической [1]). Зачатки этих будущих направлений уже на-лицо. Но настоящей весны они еще не сделали. В массе биология и биологи остаются еще буржуазными, дореволюционными. Новую биологию и новых биологов еще нужно создать, а это в несколько месяцев не сделаешь. И приходится признаться: мы вынуждены пока и нашей пролетарской молодежи преподавать еще буржуазную, метафизическую биологию, ибо иной мы не имеем. А это по существу такое же ненормальное положение, как если бы преподавать политэкономию в наших рабфаках и совпартшколах по Туган-Барановскому. Положение более чем острое.

При этом ясно, что рассчитывать на массовое перевоспитание наших буржуазных биологов не приходится. В настоящее время, время внутренней борьбы и напряжения в биологии, весь процесс еще происходит где-то глубоко внутри и наружу еще почти не выходит. Если мы слышим о ненормальностях в биологии, то не от самих биологов, а больше от кровно-заинтересованных в делах современной биологии марксистов-общественников. Сами же биологи еще молчат. Внимание же общественников к биологии мы наблюдаем не только в частных разговорах, не только на многочисленных лекциях и занятиях по историческому материализму, но также и в печати.

V.

Но при всех намеках на изменения в биологии, на «новый курс» в ней, в ней не хватает для перехода на марксистский лад одного, и в то же время основного. Не хватает диалектики. Постольку и нельзя говорить, что биология перешла на новый курс, и что отдельные элементы новой биологии уже сделали весну в последней. Конечно, такие книжки, как недавно вышедшая «Диалектика в биологии» уже упоминавшегося Козо-Полянского, в своих попытках найти диалектику прежде всего в истории биологии, еще не делают биологию диалектической.

[1]) Здесь тоже мы имеем явный признак диалектического процесса.

Первым шагом новой биологии должен быть пересмотр, критическая переработка дарвинизма. До сих пор дарвинизм остается метафизической теорией, его необходимо поставить на ноги; критически, диалектически подходя к дарвинизму, необходимо подвергнуть разные положения последнего, от наиболее крупных и до более частных, опытной проверке. Далее полный разрыв с метафизикой само собой поставит перед новой биологией ребром проблему живого и мертвого и проблему плазмы. В этом направлении, как мы видели, уже действуют и биологи прежней биологии. Было бы, конечно, неправильным видеть черты новой биологии только в намеченных изменениях старой. Но мы не беремся здесь писать программу марксистской биологии и ограничиваемся только указанием, с чего эта программа должна будет начаться.

Грациадеи, политико-эконом и коммунист божьей милостью[1]).

Л. Рудаш.

Ах, видимость... одна лишь видимость!
Шекспир, Венецианский купец.

Есть болезни, вроде, например, туберкулеза, покрывающие щеки больных ярким румянцем. Страдающие этой болезнью обыкновенно не верят до последней минуты, что они умирают. Такой духовной болезнью является ревизионизм. Всякий, кто болен ею, уверен, что у него нет туберкулеза, что он не ревизионист; всякий называет себя истинным марксистом: больны, мол, другие, «ортодоксы», они не настоящие, а лишь «так называемые» марксисты.

Самый выразительный случай этого рода—наш товарищ Грациадеи. Еще когда много лет тому назад Бернштейн затеял «исправить» марксизм, пересмотреть его «на основании последних фактов науки», он в числе своих единомышленников нашел и Антонио Грациадеи, профессора Пармского университета. Грациадеи сам так рассказывает об этом факте в своей книге «Цена и прибавочная цена в капиталистическом хозяйстве» (стр. 5, примечание):

«Да будет нам позволено напомнить, что мы всегда высказывались за такого рода критику (марксизма). В 1899 г. автор настоящей книги опубликовал работу («Капиталистическое производство», Турин), главный тезис которой заключался в том, что теория прибавочной стоимости правильна и может быть рассматриваема и независимо от рикардо-марксовской и всякой другой теории стоимости, и что, следовательно, можно пожертвовать марксистской теорией стоимости, не навлекая на на себя никаких опасностей. Так как эта книга появилась в тот момент, когда бернштейновский ревизионизм был в полном расцвете, то слишком поспешные лица заключили, что она безоговорочно примыкает к этому движению. Однако (разрядка моя. *Л. Р.*), Бернштейн постоянно сознавал истинный характер развивавшегося мною тезиса. В своей брошюре «Как возможен научный социализм?» он писал буквально:

«Есть также авторы, считающие вообще ошибочным привлекать теорию стоимости для доказательства факта эксплоатации и выводящие эксплоатацию, помимо всякой теории стоимости, из учения о производстве, из прибавочного продукта. Примером может служить книга проф. Антонио Грациадеи «La produzione capitalistica».

[1]) Перевод с немецкого И. Румера.

Как мы видим, тов. Грациадеи—старый ревизионист, которого уже больше двадцати лет тому назад многие, и между прочим сам Бернштейн, причисляли к ревизионистам. Грациадеи против этого, разумеется, протестует... сегодня. В доказательство того, что он не ревизионист, он приводит, что им еще в 1899 г. была написана книга, на основании которой «слишком поспешные лица» причислили его к ревизионистам, но что однако... тут мы ждем доказательств того, насколько голословна была эта клевета «слишком поспешных лиц». Быть может, Грациадеи уже тогда выступил с открытым протестом против этой клеветы и выяснил различие между своими взглядами и взглядами Бернштейна? О, нет! Доказательство говорит совсем о другом: хотя «слишком поспешные лица» и причислили его к сторонникам Бернштейна, однако сам Бернштейн... «постоянно» признавал, что теория Грациадеи правильна! Какое блестящее опровержение взгляда, что Антонио Грациадеи был и остался ревизионистом! Ревизионист Бернштейн всегда признавал, что теория Грациадеи и его собственная теория тесно соприкасаются,—так неужели же, однако, Грациадеи мог быть ревизионистом!

Своеобразие всей этой несуразной ссылки на Бернштейна заключается в том, что тов. Грациадеи ни словом не упоминает, что уже тогда, когда Бернштейн «постоянно сознавал истинный характер» его «главного тезиса», этот тезис признавался исключительно одними ревизионистами, между тем как даже в буржуазном лагере он встретил основательную отповедь. Назову только Бенедетто Кроче, который показал, что все «открытие» нашего профессора в названной книге заключалось в том, что он «тщательно избегает слов труд и стоимость и говорит исключительно о продукте» (B. Croce, Metérialisme historique et économie marxiste, Paris, стр. 232). Тогда же был подмечен и своеобразный метод доказательства, применяемый нашим нынешним товарищем. По этому поводу тот же автор пишет (там же, стр. 233, прим.):

«С позволения г-на Грациадеи, я замечу, что он уже не в первый раз делает «открытия», которые суть не что иное, как эквивокации. Несколько лет тому назад... г-н Грациадеи писал: «Мы вполне можем представить себе общество, в котором прибыль существовала бы совместно не с прибавочным трудом, а с отсутствием труда. В самом деле, если бы всякий труд, выполняемый ныне людьми, был заменен работой машин, эти последние могли бы, при помощи сравнительно небольшого количества товаров, производить товары в огромных количествах. Если взять теперь общество, основанное на капиталистических началах, то в нем этот технический факт явился бы базисом для того социального факта, что господствующий класс, присваивающий себе всю разницу между производимым и потребляемым, располагал бы после вычета того, что потребляется рабочими, таким излишком продуктов, т.-е. такой прибавочной продукцией, т.-е. такой прибылью, которая значительно превосходила бы получаемую им теперь, когда в производстве участвует только слабая мускульная сила человека». Но г-н Грациадеи забывает об'яснить, как возможны рабочие и прибыль за счет рабочих в гипотетическом обществе, которое основано на отсутствии труда и в котором вся работа, выполнявшаяся до сих пор людьми, производится

машинами. Что будут делать рабочие? Работу Сизифа или Данаид? Согласно его гипотезе, рабочие должны будут кормиться от щедрот господствующего класса или умирать с голоду. Если же предполагать, что машины будут автоматически производить достаточное количество благ для всех членов этого общества, то это попросту—сказочная Аркадия».

Мы привели это место не потому, что оно очень метко дополняет нашу характеристику способа аргументации т. Грациадеи, а потому, что в дальнейшем нам придется познакомиться еще и с другими гипотезами нашего товарища. Как они ни чудовищны, мы не сможем избавить от них читателя. Заранее подготовить его к ним—это все, что мы можем для него сделать.

С тех пор тов. Грациадеи сделался коммунистом. Как это случилось, одному богу известно! Во всяком случае по своим научным убеждениям он не имел к тому ни малейших оснований.

Ни его теоретические взгляды не изменились, ни способ его аргументации не сделался лучше с тех пор, как он написал упомянутую выше книгу, в которой «пожертвовал марксистской теорией стоимости». Наоборот: за последнее время он стал выпускать брошюру за брошюрой, в которых преподносит читающей публике все ту же свою старую теорию и свой уже охарактеризованный нами блестящий способ доказательства.

Почему тов. Грациадеи стал так настойчив, почему он вдруг счел своевременным воспроизвести без всякого изменения свои старые, определенно ревизионистские взгляды в ряде брошюр,—этого мы не знаем. В течение 20 лет никто, кроме ревизионистов, не принимал всерьез и не удостаивал опровержения взгляды тов. Грациадеи на независимость теории прибавочной стоимости от марксистской теории стоимости. Тем более, что Антонио Грациадеи, не говоря уже обо всем прочем, действовал в Италии, где действовали также Антонио и Артуро Лабриолы, великий «Ахилл» Лориа, Бенедетто Кроче и tutti quanti, сделавшие поистине все возможное, чтобы скомпрометировать—конечно, не марксизм, но самих себя и всех будущих итальянских критиков Маркса. Может быть, тов. Грациадеи мстит теперь за молчание, жертвой которого он так долго был, и поэтому бомбардирует нас своими большими и малыми брошюрами? Или, что было бы гораздо серьезнее, он считает настоящий момент благоприятным для себя потому, что он сделался коммунистом? Не думает ли он, что его взгляды, не смогшие добиться признания, пока он был социал-демократом, будут теперь лучше оценены коммунистами? Не считает ли он почву III Интернационала более удобной для ревизии марксизма, чем была почва II Интернационала? Или он считает особенно благоприятным для этой цели настоящий фазис революции—фазис «стабилизации» капитализма? Решать эти вопросы мы предоставляем другим. Но тот факт, что проявления ревизионизма множатся в наших собственных рядах, заставляет нас рассчитаться и с Грациадеи, хотя он представляет собой с а м у ю п л о с к у ю, смешную и п у с т у ю разновидность того, что предлагалось доселе под видом критики марксизма. В э т о м о т н о ш е н и и он не имеет конкурентов, тут он бесспорно обладает «полной монополией» (пользуясь его любимым выражением).

1.

Значение «рикардо-марксовой» теории стоимости.

«Главный тезис» тов. Грациадеи, как мы видели, гласит:

«Теория прибавочной стоимости правильна и может быть рассматриваема и независимо от рикардо-марксовской и всякой другой теории стоимости, и, следовательно, можно пожертвовать марксистской теорией стоимости без всякой опасности для теории прибавочной стоимости».

Правда, до сих пор все «так называемые» марксисты были совсем другого мнения. И даже сам «так называемый» Маркс держался диаметрально-противоположного взгляда. Доказывать это, конечно, незачем, потому что это знает и признает даже Грациадеи, но все же для бо́льшей уверенности присмотримся ближе к какому-нибудь наудачу выбранному месту из Маркса. В «Теориях прибавочной стоимости» (II том, 1-я часть, стр. 3—4) мы читаем о ходе развития политической экономии до Рикардо следующее [1]):

«Политическая экономия развилась в труде А. Смита в одно большое целое; территория, которую она занимает, некоторым образом получила определенные границы, так что Сэй мог в школьном учебнике изложить ее плоско-систематически. Между Смитом и Рикардо имели место еще только детальные исследования... Сам Смит с большой наивностью вращается в постоянных противоречиях. С одной стороны, он исследует внутреннюю связь экономических категорий, или скрытое строение буржуазной экономической системы. С другой стороны, он ставит рядом связь, как она дана видимым образом в явлениях конкуренции, и как она, следовательно, представляется несведущему в науке наблюдателю, совершенно так же, как и человеку, практически участвующему и заинтересованному в процессе буржуазного производства... Преемники же (Смита), поскольку они не возвращаются к более старым отвергнутым им способам понимания, могут в своих детальных исследованиях и этюдах беспрепятственно итти вперед и в то же время постоянно опираться на А. Смита, как на свою основу... Наконец, выступил Рикардо и крикнул науке: стой! Основа, исходный пункт физиологии буржуазной системы—понимания ее внутренней органической связи и жизненного процесса—есть определение с т о и м о с т и р а б о ч и м в р е м е н е м. Отсюда исходит Рикардо и требует от науки, чтобы она оставила свою прежнюю рутину и дала себе отчет в том, насколько остальные развитые, выясненные ею категории—отношения производства и обращения—соответствуют или противоречат этой основе, этому исходному пункту; насколько вообще наука, только отражающая, воспроизводящая формы проявления процесса, а значит и сами эти явления, соответствуют основе, на которой покоится внутренняя связь, действительная физиология буржуазного общества, или которая составляет его исходный пункт; как вообще обстоит дело с этим противоречием между кажущимся и действительным движением системы? В этом-то и заключается великое ис-

[1]) Цитируется по русскому изданию Коммунистического Университета Зиновьева, Ленинград 1923—24 г.

торическое значение Рикардо для науки... С этой исторической заслугой тесно связано то, что Рикардо вскрывает, формулирует экономическое противоречие классов, как его обнаруживает внутренняя связь,—и таким образом в экономии формулируется, открывается историческая борьба и процесс развития в его корнях. Поэтому Кэри и об'являет его отцом коммунизма».

Из этой цитаты мы узнаем много поучительного о взгляде Маркса на интересующий нас вопрос. Определение стоимости рабочим временем не только является, по Марксу, «основой, исходным пунктом физиологии буржуазной системы», но оно составляет вместе с тем основу для «понимания ее внутренней связи и жизненного процесса». Мы узнаем, что «историческое значение Рикардо для науки» в том именно и состоит, что он заставил ее сопоставить с этой основой все свои остальные категории и «отдать себе отчет» в том, насколько они «противоречат или соответствуют этой основе, этому исходному пункту». Мы узнаем также, что определение стоимости рабочим временем дает ключ к «противоречию между кажущимся и действительным движением системы». Более того: по Марксу, определение стоимости рабочим временем приводит к «вскрытию и формулировке экономического противоречия классов». Благодаря этому определению «в экономии постигается и открывается историческая борьба и процесс развития в **его корнях**». Таким образом оно прямо ведет к коммунизму.

В приведенном месте Маркс охарактеризовал не только заслугу Рикардо, но и свою собственную, не только историческое значение теории стоимости Рикардо, но и своей собственной теории. **Виртуально** (в возможности) в рикардовском законе стоимости уже заключался коммунизм, развить его было возможно только путем дальнейшего развития самой теории стоимости. Эту дальнейшую историческую задачу и выполнил Маркс, как это описывает другой «так называемый» марксист, Фридрих Энгельс.

Показав, подобно Марксу, что теория стоимости Рикардо ведет к коммунизму («весь овеновский коммунизм, поскольку он вступает в экономическую полемику, опирается на Рикардо»), Энгельс далее говорит («Капитал», II том, предисловие, стр. XV, русское издание «Пролетария», 1923):

«Но вот выступил Маркс. И притом в прямом противоречии со всеми своими предшественниками. Там, где они видели **решение**, он видел только проблему. Он видел..., что здесь дело шло не о простом констатировании экономического факта и не о противоречии этого факта с вечной действительностью и истинной моралью, но о таком факте, которому суждено было произвести переворот во всей экономии, и **который давал ключ к пониманию всего капиталистического производства**,—тому, кто сумел бы им воспользоваться. Руководясь этим фактом, он исследовал все найденные им категории, как Лавуазье, руководясь кислородом, исследовал прежние категории флогистической химии. **Для того, чтобы знать, что такое прибавочная стоимость, он должен был знать, что такое стоимость.** Прежде всего необходимо было подвергнуть критике самое теорию стоимости Рикардо. Итак, Маркс исследовал труд со стороны его свойства создавать стоимость и в первый раз установил, **какой** труд, почему и как

образует стоимость, установил, что вообще стоимость есть не что иное, как кристаллизованный труд этого рода... Маркс исследовал затем отношение товара и денег и показал, как и почему— в силу присущего ему свойства стоимости—товар и товарный обмен должны порождать противоположность товара и денег. Его основанная на этом теория денег есть первая исчерпывающая теория их, получившая теперь всеобщее молчаливое признание. Он исследовал превращение денег в капитал и доказал, что оно основывается на купле и продаже рабочей силы. Поставив на место труда рабочую силу, свойство создавать стоимость, он разом разрешил одно из затруднений, о которые разбилась школа Рикардо: невозможность согласовать взаимный обмен капитала и труда с рикардовским законом определения стоимости трудом. Установив разделение капитала на постоянный и переменный, он первый достиг того, что до деталей изобразил действительный ход процесса образования прибавочной стоимости и таким образом об'яснил его, чего не сделал ни один из его предшественников; следовательно, он установил различие в самом капитале... Далее, он исследовал самое прибавочную стоимость, вскрыл обе ее формы: абсолютную и относительную прибавочную стоимость, и показал, какую различную, но в обоих случаях решающую роль играла она в историческом развитии капиталистического производства. Основываясь на теории прибавочной стоимости, он развил первую рациональную теорию заработной платы, какую мы только имеем, и впервые дал основные черты истории капиталистического накопления и изменение его исторических тенденций».

Если поучительна приведенная выше цитата из Маркса, то еще поучительнее во многих отношениях эта цитата из Энгельса. Там была дана характеристика значения рикардовского закона стоимости. Здесь изложено—с тем мастерством, на какое был способен только Энгельс—все значение марксова закона стоимости. И тем поучительнее это изложение, что оно было сделано Энгельсом с полемическими целями—против тех экономистов, которые, подобно нашему Грациадеи, утверждали, что марксова теория стоимости «исходит не от Маркса». Против этого утверждения Энгельс прежде всего показывает, что теория стоимости, в ее нынешней форме, должна называться исключительно марксовой, а никак не рикардо-марксовой теорией, ибо Маркс «подвергнул критике рикардовскую теорию стоимости» и «впервые установил, какой труд, почему и как образует стоимость, установил, что вообще стоимость есть не что иное, как кристаллизованный труд этого рода». Прибавим тут же (это нам может понадобиться впоследствии), что абстрактный труд является фактором, создающим стоимость, в противоположность конкретному, полезному труду, создающему потребительные ценности. Но для нас, в связи с Грациадеи, еще важнее те слова Энгельса, в которых он об'ясняет, почему Маркс должен был подвергнуть критике рикардовскую теорию стоимости: потому именно, что «для того, чтобы знать, что такое прибавочная стоимость, он должен был знать, что такое стоимость». Стало быть, Энгельс устанавливает здесь теснейшую связь, теснейшую зависимость между марксовой теорией стоимости и его же теорией прибавочной стоимости. Более того, Энгельс не только сравнивает открытие марксова закона стоимости с подвигом Лавуазье в

химии, он не только вскрывает зависимость марксовой теории прибавочной стоимости от марксовой же теории стоимости, но он показывает также абсолютную зависимость его теории денег, его теории капитала, его теории заработной платы, наконец, его теории накопления все от той же его теории стоимости. Отнимите марксову теорию стоимости, и падает вся политическая экономия Маркса—вплоть до характеристики исторической тенденции капиталистического накопления.

Так оценивали Маркс и Энгельс значение марксовой теории стоимости. Стало быть, согласно этим не безызвестным марксистам, тов. Грациадеи жестоко заблуждается в своем первом утверждении, гласящем, что марксова теория прибавочной стоимости независима от «рикардо-марсовой теории стоимости» (как он ее постоянно называет). И если «сомнение», не падет ли «вместе с рикардо-марсовой концепцией стоимости также и концепция прибавочной стоимости», он называет «неосновательным опасением», которое «при внимательном разборе» «теряет всякое право на существование» («Цена и прибавочная цена», стр. 18),—то мы, со своей стороны, должны констатировать, что это «сомнение» (по крайней мере, по Марксу и Энгельсу) не такое уж «неосновательное опасение», что оно все-таки имеет некоторое «право на существование» (хотя и слабое, потому что оно покамест основывается всего только на мнении Маркса и Энгельса).

Чтобы придать этому слабому «праву на существование» немножко больше силы, мы рассмотрим ближе тот «внимательный разбор», на основании которого тов. Грациадеи об'являет наше опасение «неосновательным» и отрицает за ним «всякое право на существование». Тут мы должны в первую очередь разрешить два вопроса:

1) Как обосновывает Грациадеи свое мнение, что марксова теория стоимости—все равно, правильна она или нет,—подобно всякой другой теории стоимости не имеет влияния на теорию прибавочной стоимости? Ибо ведь возможно, что Маркс и Энгельс (и по их примеру все «так называемые» «ортодоксальные» марксисты) неясно сознавали значение своей собственной теории стоимости и что по существу—как это ни маловероятно—все-таки прав Грациадеи.

2) Правильна или неправильна марксова теория стоимости? И если неправильна, то как это доказывает тов. Грациадеи?

Только разрешив эти вопросы, можно будет приступить к рассмотрению теории стоимости самого тов. Грациадеи.

Заметим еще, что свои взгляды тов. Грациадеи изложил в трех брошюрах, которые мы будем сокращенно цитировать следующим образом:

«Цена и приб. цена» означает	«Цена и прибавочная цена в капиталистическом хозяйстве (критика марксовой теории стоимости)» на немецком языке. Берлин 1923.
«Il Prezzo» »	«Il prezzo ed il soprapprezzo in rapporto ai consumatori ed ai lavoratori», Roma 1925;
«La Concezione» »	«La concezione del sopra-lavoro e la teoria del valore. Il sopralavoro come fenomeno di classe», Roma 1925.

II.

Мнимая независимость теории прибавочной стоимости от марксовой теории стоимости.

Мы привели две интересные цитаты, которые со всей возможной отчетливостью выяснили значение марксовой теории стоимости и ее связь с теорией прибавочной стоимости. Оказывается, что от теории стоимости зависит не только теория прибавочной стоимости, но и вся политическая экономия Маркса. А так как от этой последней зависит остальная часть марксизма, марксизм же составляет основу как научного социализма вообще, так и революционной борьбы пролетариата и его партии, которая руководит этой борьбой, то от марксовой теории стоимости зависит почти что все—вплоть до ленинизма. Тов. Грациадеи и тут, разумеется, держится иного мнения. Он полагает, что экономическая и—как он ее называет—политико-историческая часть марксизма столь же независимы друг от друга, как теория прибавочной стоимости и теория стоимости. Он говорит:

«Мы всегда были уверены, и сейчас уверены больше чем когда-либо, что именно политико-историческая часть марксистского учения и при современном уровне наших знаний меньше всего нуждается в поправках... Нуждается, по нашему мнению, в подробном пересмотре та часть марксовых теорий, которая является экономической в тесном смысле слова».

Мы не надеемся, что наши цитаты убедят тов. Грациадеи в ошибочности его взгляда, будто «политико-историческая» и «экономическая в тесном смысле» часть марксова учения независимы друг от друга. Да и не такова была цель наших цитат: мы хотели только удостовериться в том, как думают об этом вопросе Маркс и Энгельс.

Удостоверившись в этом, мы должны теперь рассмотреть, почему же Грациадеи полагает, что марксова теория стоимости и теория прибавочной стоимости независимы друг от друга. При этом неизбежно придется цитировать самого тов. Грациадеи. Если эти цитаты окажутся значительно менее интересными, чем цитаты из Маркса и Энгельса, то читатель простит нас: ответственность за это падает исключительно на самого тов. Грациадеи.

Итак, послушаем:

«Для Маркса труд есть причина не только производства, но и меновой стоимости» («Цена и приб. цена», стр. 13).

Так начинает тов. Грациадеи свое изложение марксовой теории стоимости. К сожалению, мы вынуждены прервать его на первой же фразе, ибо эта фраза передает учение Маркса если и не прямо неверно, то во всяком случае в е с ь м а несовершенно. Мы не можем пройти молча мимо этой фразы в особенности потому, что то, что вначале может показаться только более или менее несовершенной формулировкой, есть на самом деле и с т о ч н и к и к о р е н ь целого ряда курьезных заблуждений и эквивокаций Грациадеи, и мы облегчим себе нашу задачу в дальнейшем, если вскроем его (выражаясь мягко!) недоразумения в самом их первоисточнике.

Только с очень большими оговорками можно признать, что для Маркса труд есть п р и ч и н а производства и меновой стоимости.

Что касается производства, то довольно бессмысленно говорить, что «труд есть причина производства». Причиной производства являются потребности людей, заставляющие их преобразовывать в своих интересах естественные богатства природы. Это преобразование осуществляется человеческим трудом, труд есть производство. В этом смысле труд и производство—синонимы, взаимно-заменимые выражения.

Но если бы мы и согласились, чтобы не ссориться, принять неудачное выражение «труд есть причина производства», то мы должны с величайшей энергией настаивать на том, что «для Маркса» труд, как причина производства, отнюдь не тождествен с трудом, как причиной меновой стоимости! Если слова Грациадеи как будто заключают в себе обратное утверждение, то мы должны тут же подчеркнуть, что это с его стороны не просто нескладная формулировка, но что таково его серьезное мнение, что между трудом, создающим потребительные стоимости, и трудом, создающим стоимости (меновые), нет никакого различия. Как мы еще увидим подробнее, тов. Грациадеи не только не различает между процессом труда и процессом увеличения стоимости, но он вообще не знает этого последнего процесса и не различает между двумя видами труда, функционирующими в этих двух процессах. С его стороны это вполне понятно, поскольку он вообще не признает стоимости, как таковой, а признает только меновую стоимость, как отношение между двумя товарами. Признание стоимости есть, на его взгляд, грехопадение, которое «для многих марксистов начинается с того, что они опускают в выражении «меновая стоимость» прилагательное «меновая». И это особенно зловредно потому, что «та стоимость, которая интересует политическую экономию, представляет собой не общую, а частную проблему: проблему меновой стоимости» (Il Prezzo, стр. 9 и 10).

Так как Грациадеи профессор Пармского университета, то я не беру на себя смелость просвещать его. Это тем более превышает мою компетенцию, что ведь даже Маркс и Ленин не смогли его просветить. Поэтому ограничусь только установлением того факта, что «для Маркса»—а ведь пока все дело исключительно в том, что правильно и неправильно с точки зрения Маркса, т.-е. в правильной передаче марксовой теории стоимости, — для Маркса различение между конкретным, полезным трудом, создающим потребительные стоимости, и абстрактным трудом, создающим стоимость, имело первостепенное значение. Я попрошу только тов. Грациадеи обратить внимание на то, как оценивал сам Маркс важность этого различия, им впервые установленного. Ведь столько-то Маркс может требовать от коммуниста, чтобы тот его изучил, прежде чем критиковать?! А Маркс говорит: «Эта двойственная природа содержащегося в товаре труда впервые критически указана мною» (критически—против Рикардо и его теории стоимости!). И он прибавляет: «Так как этот пункт является центральным, так как от него зависит правильное понимание основных вопросов политической экономии, то мы осветим его здесь более основательно» («Капитал», том I, стр. 8). А в одном письме к Энгельсу он называет лучшим, что есть в «Капитале», это различение между абстрактным и конкретным трудом (см. «Briefwechsel», III, 395).

Если бы Грациадеи внимательно прочел приведенную выше цитату из Энгельса, он нашел бы в ней не только такое положение: «вообще стоимость есть не что иное, как кристаллизованный труд этого рода», но он мог бы также вычитать из нее, что в открытии «труда этого рода» и заключался как раз шаг вперед, сделанный Марксом сравнительно с Рикардо. Но «труд этого рода», о котором говорит Энгельс, есть, как известно, не что иное, как абстрактный труд в отличие от конкретного. Кроме того, мы должны обратить внимание нашего противника на то, что в приведенных словах Энгельса содержится еще нечто, что стоит принять к сведению: Энгельс не говорит—труд «этого рода», т.-е. абстрактный труд, есть причина стоимости (как это формулирует Грациадеи), но говорит: «труд есть стоимость».

Мы постараемся теперь раз'яснить важность этого положения и показать на одном очень актуальном примере, именно на примере самого профессора Грациадеи, к каким роковым последствиям может порой привести не вполне точная передача марксова учения,—но сначала мы хотели бы предостеречь читателя от отношения к этому спору как к простой «казуистике» и «словопрению». Иной читатель был бы склонен сказать то же самое, что в эпоху разложения школы Рикардо, когда буржуазная политическая экономия окончательно зашла в тупик, сказал один «нейтральный»:

«Споры... (вращаются) исключительно вокруг того, что слова употребляются различными лицами в различном смысле, и сводятся к тому, что спорящие, как рыцари в сказке, рассматривают щит с различных сторон».

Но Маркс, который цитирует эти слова «нейтрального», прибавляет:

«Подобный скептицизм всегда является предвестником разложения какой-либо теории, предтечей безыдейного и бессовестного, доморощенного эклектицизма» («Th. ü. d. M.», III, 126).

Да, но наша теория, марксизм, очень далека от разложения, и если кое-кто действительно уже впадает в «безыдейный и бессовестный» эклектицизм, то мы-то далеко не такие скептики, чтобы терпеть это молча и без протеста!

Итак, если указанное выше различение не есть пустая игра словами, то в чем же его значение? В том, в чем значение и корень всей марксовой теории стоимости, что отличает эту теорию от теории стоимости Смита-Рикардо—в том именно, что «для Маркса» стоимость есть специфическое явление товарного общества, та форма, которую приобретает труд в рамках товарного капиталистического производства.

Труд, как таковой, создает только потребительные стоимости. Какова бы ни была данная общественная форма, потребительные стоимости все равно создаются и должны создаваться. Но только в товарном обществе создаются, на-ряду с ними, еще и стоимости,—создаются не трудом, как таковым, который и в этом обществе сохраняет свое вещественное содержание, способность создавать потребительные стоимости, и попрежнему сообщает естественным предметам целесообразную форму, а формальной особенностью труда, тою формой, которую труд приобретает в буржуазном обществе.

Стоимость есть нечто идеальное, но труд, как таковой, разумеется, материален. И не труд сам по себе—по крайней мере, по Марксу, как это явствует из приведенных цитат—есть причина стоимости. Причиной ее является исключительно лишь та форма, в которую труд облекается в товарном обществе, т.-е. в конечном счете—сама форма этого общества, самобуржуазное общество. И, наконец, в капиталистическом обществе производителем стоимости капитал является лишь как отношение, поскольку, принудительно властвуя над наемным трудом, он принуждает его выполнять прибавочную работу» (Маркс, «Theorien über den Mehrwert», I, 149).

Только труд, производящий товары, и стало быть в капиталистическом обществе только наемный труд создает стоимость. «Форма, в которой пропорциональное распределение труда осуществляется в таком обществе, где связь общественного труда проявляется в виде частного обмена продуктов индивидуального труда, и есть меновая стоимость этих продуктов» (Маркс, «Письма к Кугельману», нем. изд., стр. 49).

Вся наука политической экономии имеет смысл только в том случае, если есть нечто, что должно быть ею об'яснено, если поверхностный, повседневный облик явлений не совпадает с их сущностью. Эту сущность и вскрыл Маркс в своей теории «товарного фетишизма». Она заключается в том, что товарное общество—в своем высшем выражении: капиталистическое,—будучи специфически-историческим продуктом, создает себе специфически-исторические формы для проявления междучеловеческих отношений. Общественные науки отличаются от естественных именно тем (и в открытии этого различия как раз и заключается бессмертная заслуга Маркса), что и сами социальные явления и их сущность, которая как в природе, так и в обществе «скрыта» за явлениями и должна быть еще только обнаружена наукой, не остаются тождественными из века в век, но меняются от одной исторической эпохи к другой. Товарное общество есть специфически историческое явление, и его сущность заключается в том, что труд становится абстрактным трудом, воплощенным в продуктах, как товарах, а абстрактный труд становится стоимостью, которая должна быть обнаружена за явлениями (напр., за ценой) и сама еще подлежит об'яснению. Такое об'яснение является, как сказано, единственным, что оправдывает существование политической экономии. Кто его не дает, тот, конечно, отказывается от самой этой науки. Маркс дал его—в своей теории овеществления.

Он показал, что в товарном обществе труд приобретает особую социальную форму, особенные формальные свойства благодаря тому, что он становится трудом независимых друг от друга частных производителей, из которых каждый производит какую-нибудь особую потребительную стоимость. Для удовлетворения своих разнообразных потребностей они должны обмениваться своими продуктами, должны вступать в отношения друг с другом. Но вместо того, чтобы видеть в этих отношениях отношения между людьми, как это есть на деле, они вынуждаются свойством своих продуктов, как товаров, изготовляемых не для собственного, а для чужого потребления, для рынка,—они вынуждаются этим свойством своей продукции рассматривать свои собственные от-

ся как отношения между товарами, овеществлять суб'ек-
ю отношения в об'ективные.

м дальше развивается товарное хозяйство, чем больше рас-
няется и усиливается товарное производство, чем, следо-
ю, более отдаленные друг от друга люди вступают в отно-
через посредство товаров, через рынок,—тем все больше
вещь, становится единственным посредником в отношениях
людьми, как производителями. Все производство регу-
ется отныне движением этих вещей, товаров, и их стои-
. Движением этих вещей и изменением их стоимости (об-
нно-необходимый труд) регулируется распределение труда
общества: оно показывает, было ли затрачено на какую-
категорию товаров больше или меньше труда, чем то нужно
бщества,—если больше, стоимость товара падает, если
о—возрастает. На самом рынке это выражается в движе-
н. Об этом и говорит Маркс в приведенном выше письме
ельману.

т это-то взаимное отношение товаров, маскирующее в товар-
бществе отношение товаропроизводителей, людей, и стано-
особым свойством товаров — становится их стои-
ью. Маркс не устает подчеркивать, что стоимость не есте-
ое, а общественное, «воображаемое», «идеальное» свойство
в—«вещественно выраженное взаимное отношение про-
ительных деятельностей людей, их труда» («Теории приба-
й стоимости», III, 153). Или: «стоимость товаров есть всего
«выражение» общественно определенного труда» (там же).

так, стоимость есть специфическая проблема товарного,
енности же капиталистического общества. В послед-
ама эта проблема приобретает специфический характер бла-
я появлению совсем особого товара: рабочей силы. И в
ом товарном обществе, т.-е. в таком, где товаропроизводители
стаются собственниками орудий производства, уже торже-
г овеществление: рынок и с ним стоимость, отношение това-
руг к другу и возрастание и падение их стоимостей уже
няют сознание отношений между производителями. В капи-
тическом же обществе производители и владельцы орудий
водства отделяются друг от друга; производитель стано-
наемным рабочим, продающим свою способность про-
ить, т.-е. свою рабочую силу, а владелец товаров делается
италистом, покупающим этот товар, чтобы с его по-
ю пустить в ход производство других товаров. Отношения
няются тем, что рабочая сила, как товар, обладает такой
оимостью, как всякий другой товар, но в то же время именно
оздает все другие стоимости. Как же это происходит, что
юсть труда, поскольку он производит, и его стоимость,
льку он является предметом продажи, отличны друг от
? Ведь «заработная плата должна была бы равняться про-
у труда». И как это происходит, что труд, сам обладающий
вой стоимостью, так что меновая стоимость различных видов
а различна, является тем не менее мерилом всех меновых
мостей? Не получается ли, что я измеряю меновую стоимость
вою стоимостью, килограмм—килограммом? На первый во-
Маркс ответил в своей теории прибавочной стоимости и в
м учении о наемном труде, на второй—в своей теории стоимо-

сти, в котором коренятся две первые (см. «Zur Kritik der politischen Ökonomie», стр. 45). На этих, неразрешимых для нее, вопросах потерпела крушение школа Рикардо. Маркс ответил на них, показав:

1) что труд не обладает стоимостью, а есть сама стоимость. Стоимость есть не что иное, как содержащийся в товарах, кристаллизованный общественно-необходимый труд. С большей или меньшей степенью ясности это знали уже Смит и Рикардо. Но они не знали, что в товары входит стоимостью совсем особый труд—именно абстрактный, в отличие от конкретного, полезного, создающего потребительные стоимости труда. Кроме того, классическая политическая экономия не знала,

2) что так как меновою стоимостью обладает не труд, а рабочая сила, то труд вполне может выполнять функцию мерила меновой стоимости.

И, наконец, Маркс показал,

3) что продается, становится товаром не труд, а рабочая сила. Стоимость этого товара определяется по известным законам, но это не значит, что рабочая сила должна производить столько же стоимости, сколько она сама стоит. Наоборот: она производит больше, и разница не уплачивается рабочему. Труд последнего распадается таким образом на две части: на необходимый труд, посредством которого рабочий воспроизводит свою заработную плату, и на прибавочный, посредством которого он создает прибавочную стоимость. Теория, в которой это раз'ясняется, есть теория капитала.

Как мы видим, роль Маркса в развитии науки колоссальна. Он об'яснил капитал, как отношение эксплоатации между капиталом и наемным трудом, скрытое за заработной платой, которая, будучи суммой денег, представляет собою, как деньги вообще и, более того, как всякая стоимость (что деньги являются лишь особой, получившей самостоятельность формой стоимости, впервые показано опять-таки Марксом),—представляет собою только об'ективированное, овеществленное, выраженное в вещах отношение между людьми (в данном случае—между капиталистами и наемными рабочими). Он свел все овеществленные категории политической экономии (товар, деньги, капитал и т. д.) к их социальному содержанию. Значение этого открытия еще усугубляется тем (и это будет для нас особенно важно при дальнейшем разборе взглядов Грациадеи), что в эксплоатации наемного рабочего Маркс обнаружил специфический вид эксплоатации, отличный от эксплоатации рабов в обществе, основанном на рабском труде, или от эксплоатации крепостных при феодальном строе. Решить эту загадку—в этом было все дело: не отделываться от вопроса общими фразами об эксплоатации (как это делали социалисты до Маркса, опиравшиеся на Рикардо), а об'яснить специфические черты, отличающие капиталистическую эксплоатацию от всех других форм эксплоатации. Но, как мы видели, это открытие Маркса основано целиком на его постижении природы стоимости; теория прибавочной стоимости (теория капитала) и теория наемного труда являются только выводами из этого постижения. Кто отказывается от марксовой теории стоимости, тот должен будет снова утерять, затушевать специфические черты в эксплоатации наемного ра-

бочего,—как это, вопреки всем его заверениям, действительно и случилось с Грациадеи.

Все, вкратце здесь изложенное, для «так называемого» марксиста—прописная истина. Но для Грациадеи, который собирается «критиковать» Маркса, «исправлять» его, не так уж обязательно знать Маркса. Настолько не обязательно, что, вслед за первым, приведенным выше положением, крайне нескладно формулированным, у него попадается такая, напр.,... неточность:

«Единственный товар, который может сообщить (товарам) новую стоимость, есть т о в а р - т р у д...» (Т а м ж е).

Каждый начинающий ученик Маркса поймет, что это неверно. Одним из главнейших успехов Маркса по сравнению с Рикардо было, как мы видели, как раз то, что он вскрыл ошибочность этого положения. Только поставив на место труда рабочую с и л у, смог он решить загадку, о которую разбилась школа Рикардо: мы имеем в виду «невозможность согласовать взаимный обмен капитала и труда с рикардовским законом определения стоимости трудом» (см. выше цитату из Энгельса).

За этим, крайне неточным, изложением «рикардо-марксовой» теории стоимости следует, наконец, само «доказательство»:

«Так как стоимость представляет собою социальную характеристику товаров, то для того, чтобы эти последние могли стать предметом такой характеристики, они прежде всего должны существовать. Та же рикардо-марксова экономия, провозглашая свой закон стоимости, исходит из того, что в продуктах различного рода нельзя усмотреть никаких общих свойств, кроме того факта, что они своим происхождением обязаны определенному количеству труда.

«При такой предпосылке с у щ н о с т ь необходимого и прибавочного труда коренится в элементах, независимых от меновой стоимости и даже предшествующих ей».

Когда противник прав, следует признать его правоту без оговорок. А в данном случае он прав. Рабочий, работающий на капиталиста, выполняет при этом две функции: он, во-первых, отрабатывает свою заработную плату, выполняя для этого в течение н е о б х о д и м о г о рабочего времени н е о б х о д и м ы й труд; а, кроме того, он выполняет безвозмездно п р и б а в о ч н ы й труд, за это прибавочное рабочее время он не получает платы. Различение необходимого и прибавочного труда может быть установлено и б е з обращения к меновой стоимости; процесс производства и, следовательно, выполнение обоих только что различенных видов труда предшествует процессу создания стоимости [1]). Но, может быть, то пустяшное обстоятельство, что необходимый труд (вернее, необходимое рабочее время) выражается в форме з а р а б о т н о й п л а т ы, а прибавочный труд—в форме п р и б а в о ч н о й с т о и м о с т и и, далее, прибыли (стало быть, тот и другой в форме денег), все-таки имеет некоторое отношение к меновой стоимости? Во всяком случае я попрошу это обстоятельство запомнить, ибо этот «пустяк» может еще оказаться довольно важным.

«Для определения необходимого труда мы должны знать качество и количество средств, потребных для поддержания жизни

[1]) Я отлично знаю, что эта и следующая мои формулировки не безупречны. Но я хочу предоставить тов. Грациадеи наибольшую возможность—оказаться правым!

рабочего; мы должны далее знать, сколько требуется времени для изготовления этих средств. Когда количество необходимого рабочего времени таким образом установлено, мы получим прибавочный труд, вычтя это время из всего времени, фактически затрачиваемого рабочим».

И тут мы должны признать, что тов. Грациадеи прав. Поэтому и тут мы отметим только ту мелочь, что каждый капиталист «фактически» применяет этот метод сам, не обращаясь к помощи эксперта в лице университетского профессора политической экономии. Заработная плата, которую капиталист уплачивает рабочим, есть «фактически» не что иное, как «установление» необходимого рабочего времени. Возникает, разумеется, вопрос: почему капиталисты не прямо «устанавливают» необходимое рабочее время, а прибегают к «косвенному» способу денег, заработной платы? Может быть, и к этой мелочи имеет какое-нибудь отношение меновая стоимость? Просим запомнить и это обстоятельство, тем более, что как раз тут мы обнаружим одну из тех эквивокаций тов. Грациадеи, о которых писал уже Б. Кроче. Она содержится в следующей же фразе:

«Лишь после того, как путем этого независимого от стоимости процесса установлено существование и количество необходимого и прибавочного труда, позволительно утверждать, что товары приобретают—согласно рикардо-марксовой теории—известную стоимость».

Стой! Вот оно перед нами, великое открытие, во всем своем блеске! Оно достойно присоединяется к методу доказательства великого маэстро, уже знакомого нам из введения к этой статье! Мы можем еще раз процитировать слова Б. Кроче: «Не в первый раз г-н Грациадеи делает открытия, которые суть не что иное, как эквивокации».

Пусть Грациадеи укажет нам сначала, каким это способом устанавливается (кем?), независимо от стоимости, существование и в особенности количество необходимого и прибавочного труда!

После того, как Маркс установил (и именно посредством анализа понятия стоимости, прибыли и прибавочной стоимости), что стоимость есть труд, а прибавочная стоимость—прибавочный труд,—после этого, через семьдесят лет после Маркса, не требовалось со стороны Грациадеи героических усилий, чтобы сделать это открытие еще раз! Так на самом Марксе оправдалось его собственное слово:

«Продукт духовного труда, наука, действительно всегда ниже своей стоимости, потому что рабочее время, необходимое для ее воспроизведения, совершенно несоразмерно с тем рабочим временем, которое потребовалось для ее первоначального производства: так, напр., теорему о биноме школьник может усвоить в течение часа» («Theorien über den Mehrwert», I. 289).

Той, теперь уже «элементарной», истины, что рабочий выполняет необходимый и прибавочный труд, не знали ни Смит, ни Рикардо, ни вся классическая экономия вообще; и ее не признает экономия эпигонов—вплоть до вульгарной экономии наших дней. Классики сознавали ее лишь смутно, инстинктивно; эпигоны инстинктивно же восстают против нее.

До Маркса никто не знал, что существуют необходимый и прибавочный труд. Но как открыл это Маркс? Независимо от

теории стоимости? Ни в коем случае! Ведь своим исходным пунктом он должен был взять то, что он видел на поверхности буржуазного общества. А на этой поверхности имеются только заработная плата и прибыль—две суммы денег. Если бы Маркс был профессором итальянского университета, он дальше этой поверхности и не пошел бы. Но он не был им и поставил вопрос: что такое «деньги»? И нашел такой ответ: «деньги» это стоимость в получившей самостоятельность, материально-осязаемой форме. Затем он поставил дальнейший вопрос: что такое стоимость?—и ответил: абстрактный труд (отличный от производящего потребительные стоимости, конкретного, полезного труда). Но если стоимость=труд, то и деньги (=стоимость)=труд. Но в этом случае и заработная плата=деньги=стоимость=труд. И точно так же прибыль=деньги=стоимость=труд. А так как капиталист не работает (вопреки мнению тов. Грациадеи), то этот труд, выражающийся в прибыли, может происходить только оттуда, откуда происходит и заработная плата: из труда рабочего. И Маркс первый дал этим двум видам труда, производящему заработную плату и производящему прибыль, названия необходимого и прибавочного труда. И он же первый отличил от стоимости прибавочную стоимость, которую все экономисты до него знали только в специальных формах (прибыли, процента, земельной ренты), в каких она является на поверхности нынешнего буржуазного общества. Это различение стало впервые возможно после анализа стоимости, после открытия того, что рабочая сила обладает свойством создавать стоимость, после учения о заработной плате и о капитале,—как мы все это уже показали выше.

Теперь, после Маркса, Грациадеи заявляет с важной и торжествующей миной:

«Доказательство того, что необходимый, а следовательно, и прибавочный, труд можно анализировать и не прибегая к той или другой теории стоимости, дает, впрочем, сам Маркс. В III отделе X главы I тома «Капитала» он разбирает, между прочим, явление барщины и дает здесь описание и определение прибавочного труда, но связанного ни с какой теорией стоимости»!

Это—Монблан... учености! Еще сотни таких мест могли бы мы привести вам, тов. Грациадеи, из Маркса. После того, как именно Маркс нашел и обнаружил в факте прибавочного труда тайну капиталистического общества, его «внутреннюю связь», стало возможно обнаружить этот факт, представляющий собою почти всеобщее историческое явление, и в других общественных формациях. В последних он, разумеется, не находится ни в какой связи со стоимостью, ибо сама стоимость была в них неизвестным явлением. Зато там было известно нечто другое: «отношения угнетения и рабства», более или менее маскировавшие существование необходимого и прибавочного труда. Если бы в таком обществе жил какой-нибудь Грациадеи, он, вероятно, сказал бы (после открытия прибавочного труда другими):

«Превосходно! Но прошу обратить внимание: факт прибавочного труда это одно, а форма угнетения—совсем другое. Продукт, производимый рабами, предшествует той форме, в которую он облекается, форме рабства, при помощи которой у них отнимают продукты их труда». Допустим на минутку, что он действительно ей предшествует. Но в том-то, господин профес-

сор, и заключается весь фокус, чтобы за этой формой (в нашем случае: за формой стоимости) открыть—независимо не от стоимости, а от других исследователей—прибавочный труд, который маскируется именно этой формой, маскируется стоимостью, заработной платой.

Но даже и Маркс не открыл способа, как «установить», независимо от стоимости, количество необходимого и прибавочного труда. Пусть-ка попробует это сделать тов. Грациадеи! Вот где он может развернуть свои таланты Колумба в полном блеске! Прибавочный труд вообще не устанавливается кем-то; существует очень сложный общественный процесс, определяющий—не прибавочный труд, а прямо прибыль, и процесс этот известен под названием конкуренции (всеобщая норма прибыли). Грациадеи оспаривает, конечно, и этот закон Маркса, усматривая в нем противоречие с марксовым законом стоимости (противоречие между I и III томом «Капитала»). Мы не выдадим ничьей тайны, если скажем, что вся «аргументация» Грациадеи сводится и здесь к ряду эквивокаций.

Как прибавочный труд определяется общественным процессом, так не в меньшей мере определяется им и необходимый труд: заработная плата, фактически уплачиваемая рабочему капиталистом, служит тому доказательством. Она есть не что иное как капиталистический метод «установления» необходимого труда. Нет надобности, чтобы кто-то устанавливал количество необходимого труда, потому что это ежедневно делает сам капиталист. Законы этого общественного процесса открыты опять таки Марксом, как и законы процесса образования прибыли, но ни тот, ни другой процессы не независимы от стоимости. Необычайно наивно выставлять требование об определении «качества и количества средств, необходимых для поддержания жизни рабочего» и, далее, об определении «количества рабочего времени потребного для изготовления этих средств»,—не сказав предварительно ни слова о стоимости, тогда как рынок (включая и рынок труда) ежедневно совершает это определение через посредство обмена и, стало быть, через посредство меновой стоимости и словно не зная, что Маркс давным-давно выполнил это требование в своей теории капитала, основанной (как показано выше на законе стоимости,—Грациадеи поступает обратно тому, как поступал Маркс. Там, где буржуазная экономия видела решение, Маркс видел только проблему. Не так наш Грациадеи: там где Маркс дал решение, он видит проблему и притом такую которую он не в состоянии разрешить, да вовсе и не пытается разрешать!

Ни заработная плата, ни прибыль не воспринимаются непосредственно как то, что они есть: как необходимый и прибавочный труд. Так они воспринимаются только тем, кто подходит к ним с марксовой теорией стоимости и прибавочной стоимости. Если я уже знаю, что стоимость товара равняется воплощенному в нем абстрактному труду, и что, следовательно, стоимость рабочей силы равняется абстрактному труду, воплощенному в потребляемых рабочим благах; если я, кроме того, знаю, что всякая сумма денег есть воплощение стоимости, т.-е. труда, а стало быть, и заработная плата с прибылью (то и другое—деньги) не представляют собой ничего иного,—а знать это я могу опять-таки только на основании марксовой теории стоимости; если я знаю

все эти прекрасные вещи, тогда я могу сделаться—правда, не профессором экономии в Пармском университете, потому что там-то именно этого и не полагается знать, но зато учащимся в каком-либо московском коммунистическом университете. Почему, однако, капиталист уплачивает рабочему эти «блага» в форме денег, в форме заработной платы? Почему не применяет он метода Грациадеи, указанного в последней фразе приведенного выше места и состоящего в том, что сначала «устанавливается существование и количество необходимого и прибавочного труда», а потом уже «товары приобретают известную стоимость»? Или, как он это формулирует тотчас вслед за разобранной фразой:

«На основании какого критерия можно, в самом деле, утверждать, что данный товар представляет собою, напр., стоимость 6 часов какого угодно труда, если использование этих часов не установлено предварительно путем предшествующей проверки? Только после того (значит: в временном смысле *Л. Р.*), как труд, сделавшись действующей силой производства, становится причиной и мерилом стоимости, только тогда превращается он в самое стоимость, необходимый и прибавочный труд—в необходимую (?) и прибавочную стоимость».

В самом деле, почему все-таки капиталисты употребляют противоположный метод? Почему они выплачивают рабочему заработную плату, не ломая себе голову над тем, как выразится в часах стоимость продуктов, которые рабочий может себе купить на нее? И даже в России, где во главе производства стоят марксисты-коммунисты, все еще применяется устарелый метод выплаты «необходимого труда» в виде заработной платы. Здесь «наемные рабочие» в сущности вовсе не наемные рабочие в том смысле, как в капиталистическом обществе, ибо здесь они связаны трудовым отношением не с капиталистами, а со своим собственным государством; они не выполняют «необходимого» труда в смысле капиталистической эксплоатации; их «заработная плата» есть нечто совсем иное, чем в капиталистическом обществе. И все-таки рабочему не говорят: «твой необходимый труд состоит из 6 часов, вот тебе за это товары, которые тоже стоили 6 часов». Несмотря на совершенно изменившиеся, совершенно другие условия труда, попрежнему сохраняется специфически капиталистический метод оплаты труда. Почему? Да потому, тов. Грациадеи, что сейчас, в товарном обществе, никто не в состоянии «установить» стоимость товара в часах, эта стоимость в товарном обществе выражается—после открытия марксова закона стоимости так же, как и до него—в форме денег. Ответ на ваш вопрос вы найдете в «Капитале» (I, 40):

«Позднее научное открытие, что продукты труда, поскольку они суть стоимость, представляют лишь вещественное выражение человеческого труда, затраченного на их производство, составляет эпоху в истории развития человечества, но оно отнюдь не уничтожает вещественной видимости общественного характера труда. Лишь для данной особенной формы производства, для товарного производства, справедливо, что специфически общественный характер независимых друг от друга частных работ состоит в их равенстве, как человеческого

труда вообще, и что он принимает форму стоимости продуктов труда. Между тем для людей, захваченных отношениями товарного производства, специальные особенности последнего—как до, так и после указанного открытия—кажутся имеющими всеобщее значение подобно тому, как свойства воздуха—его физическая телесная форма—продолжают существовать, несмотря на то, что наука разложила воздух на составные элементы».

Покуда существует товарное производство, стоимость есть, об'ективно необходимая форма проявления общественного труда; как необходимый, так и прибавочный труд неизбежно принимает форму стоимости, денег. И это так даже в социалистическом хозяйстве, покуда оно не эмансипировалось от товарной формы своих продуктов!

Так великое открытие тов. Грациадеи оказывается па проверку простой эквивокацией. Б. Кроче прав не постольку лишь, поскольку он первый сделал это открытие относительно открытий нашего профессора, но он дал также вполне правильную характеристику метода Грациадеи, состоящего, по его словам, в том, что тот «тщательно избегает слов стоимость и труд и говорит исключительно о продукте» (см. приведенную выше цитату). Сущность этого метода заключается, стало быть, в том, чтобы считать формальные особенности капиталистического общества попросту несуществующими. За явлениями тов. Грациадеи тотчас же открывает их сущность: за заработной платой он тотчас усматривает необходимый труд и продукты, в которых тот воплощается; за прибавочной стоимостью тотчас же—прибавочный труд и продукты, производимые рабочим «для потребления капиталиста» (любопытное общество, в котором капиталисты так много «потребляют»!). И вооруженный столь острым зрением, немедленно открывающим за явлениями их сущность, тов. Грациадеи свысока игнорирует явления.

К сожалению, однако, это не мешает ему... все время оставаться па поверхности явлений и ничего не знать об их сущности.

Но вот что еще гораздо хуже и уж отнюдь не является личным делом тов. Грациадеи: как раз то гигантское достижение Маркса, которое заключалось в открытии специфических черт в эксплоатации рабочего класса, Грациадеи снова растворяет в абстрактном выражении эксплоатация. «Римский раб был привязан цепями, наемный рабочий привязан невидимыми нитями к своему собственнику»,—говорит Маркс. Они невидимы до сих пор, эти пити,—правда, не для наемного рабочего, которому Маркс открыл глаза, но для многих профессоров буржуазных университетов. Но именно этим и доказывает наш Грациадеи (если это еще нуждается в дальнейших доказательствах), что теория прибавочной стоимости не независима от марксовой теории стоимости. Только потому, что он не принимает, не понимает этой последней, только поэтому не может он понять и того, к чему приводит растворение специфической эксплоатации наемного рабочего в знаменитой формуле: ночью все кошки серы. Что это все, что угодно, только не коммунизм,—об этом не стоит тратить и двух слов.

III.

нимая неправильность марсовой теории стоимости. «Последний час» Грациадеи.

Что за заработной платой скрывается необходимый труд, а за рибавочной стоимостью (прибылью, процентом, земельной рен- ой и т. д.)—прибавочный труд, это было открыто Марксом, не Грациадеи; этот факт, надеюсь, можно считать общеизвест- ым. Поэтому немножко...—как бы это выразиться?—комично. огда Грациадеи выдвигает это, как свое открытие, против [аркса, стараясь доказать таким путем независимость теории рибавочной стоимости от марсовой теории стоимости. Если уже то более чем странно, то что сказать о следующей фразе.

«Ошибка, в которую впадают марксисты, по которой следо- ало бы избегать, даже приняв все учение Маркса о стоимости, аключается как раз в том, что они не разделяют те два раз- ичные момента, через которые, согласно этому учению, прохо- ;ит труд; они смешивают в одну кучу труд, как причину про- зводства, и труд, являющийся по теории Рикардо—Маркса при- иной стоимости; хуже того, они об'являют оба эти факта тожде- твенными. После этого понятно, что, по их мнению, вместе с еорией стоимости должна пасть и теория прибавочного труда».

Недурно, не правда ли? Не Грациадеи, а марксисты делают у «ошибку», что смешивают конкретный труд, создающий ютребительные стоимости, с абстрактным трудом, создаю- щим стоимости меновые, т.-е. не отличают процесс труда от процесса увеличения стоимости. Полцарства за такого... «мар- ксиста»! Пусть Грациадеи укажет хоть одного, кроме самого себя. Он признает один лишь процесс труда и не видит, что внутри капиталистического общества, где всякий труд имеет форму наемного труда, этот процесс необходимо является вместе с тем и процессом увеличения стоимости для капитала. Сам процесс труда является в этом обществе исключительно как процесс увеличения стоимости для капитала, и только марксовой теории стоимости обязаны мы тем, что за этим явлением был открыт реальный трудовой процесс, освобо- жденный от обманчивой видимости, маскирующей его сущность. Буржуазные экономисты, и среди них в первую очередь Гра- циадеи, смешивают в одну кучу видимость и сущность; по- этому-то для него «цена есть единственная реальность» и «тео- рия меновой стоимости есть либо теория цен, либо вообще ника- кая теория» (там же, стр. 38). И поэтому он не имеет ника- кого понятия о том, что марксова теория стоимости есть как раз (единственно правильная) теория цен и является таковой лишь потому, что указывает, какой труд и как воплощается в товарах. На стр. 16 своей брошюры «La Concezione» он говорит о «суеверии стоимости» и пишет, между прочим, следующее:

«Так как всякий товар бесспорно стоит труда; так как этот труд является наиболее всеобщим, присущим всем предприятиям и содержащимся во всех продуктах элементом,—то по отноше- нию к данному предприятию и данному товару труд кажется (!) основным процессом коллективного производства... Все про- дукты уравниваются благодаря тому, что все они стоили неко-

торого количества труда, и само производство кажется (!) уже производством не экономических благ, а трудовых стоимостей (valori—lavoro), а то и вовсе сводится к одному труду.

«Таким образом стоимость (меновая) как бы превращается в общую химическую субстанцию всех товаров, из которых она может быть извлечена. Достаточно взять из небольшого количества какого-угодно товара кусочек этой субстанции и проанализировать его отдельно, чтобы разоблачить тайну всего коллективного производства. Эти иллюзии и заблуждения очевидны».

В самом деле: эти иллюзии и заблуждения очевидны! Но только не там, где их ищет Грациадеи, не в марксизме, а у него самого. Он не знает (этот якобы коммунист!), что в капиталистическом производстве, как таковом, в самом деле производятся не «экономические блага», а стоимости! Мы сейчас процитируем одно место из Маркса, где он упрекает А. Смита за то, что тот слишком «по-шотландски» понимает материальность труда. Но послушаем сначала, как он разделывается с одним представителем не классической, а вульгарной экономии, с Мак-Кэллоком:

«Итак, ценность имеют только товары, вещи вообще, лишь как выражение человеческого труда; не поскольку они представляют нечто само по себе, а поскольку они являются воплощениями общественного труда. И у иных хватает смелости говорить, что жалкий Мак разбил на-голову Рикардо,—он, который в своем бессмысленном стремлении эклектически «примирить» рикардовы теории с их противоположностями, отождествляет их принцип и принцип всякой экономии, самый труд, как человеческую деятельность и общественно-определенную человеческую деятельность, с физическим и т. п. действием, которое товары претерпевают как потребительные ценности!» («Теории прибавочной стоимости», III, 153, Ленинград 1924 г.).

Грациадеи, может быть, льстит себя мыслью, что как когда-то «жалкий Мак» разбил Рикардо, так он теперь разбивает Маркса. В таком случае пусть он поставит в приведенных строках Маркса вместо имени Мак-Кэллока свое собственное имя,—и цитата подойдет к нему слово в слово. Он тоже знает только «физическое действие» и не имеет понятия о том, что означает «абстрактный труд» в политической экономии Маркса.

Если бы он знал Маркса, он мог бы найти у него все нужные об'яснения. Маркс говорит:

«Однако нельзя так по-шотландски понимать овеществление труда, как это понимал А. Смит. Если мы говорим о товаре, как об овеществлении труда, в смысле его меновой стоимости, то речь идет у нас только о воображаемой, т.-е. только о социальной форме существования товара, не имеющей ничего общего с его вещественным существованием; мы представляем себе его в виде определенного количества общественного труда или денег. Возможно, что конкретный труд, результатом которого является товар, не оставляет на нем никакого следа... Здесь вводит в обман то обстоятельство, что общественное отношение представляется в форме вещи» («Теории прибавочной стоимости», I, 179).

В другом месте он так развивает эту мысль:

«Отдельный товар, отдельный продукт, выступает не только реально, как продукт, но и как товар; не только как реальная, но и как идеальная часть всего производства. Каждый отдельный товар является носителем определенной части капитала (именно всего общественного капитала. *Л. Р.*) и созданной им прибавочной стоимости... То, что устанавливает ценность отдельного продукта и определяет его как товар, это уже не употребленный на отдельный, особый товар, труд, который в большинстве случаев невозможно было бы вычислить и который в одном товаре может быть больше, чем в другом, а весь труд, вся стоимость, деленная на число продуктов» («Теории прибавочн. стоимости», III, 95—96).

Эти цитаты красноречиво свидетельствуют о том, как мало понял Грациадеи в марксизме, который он «исправляет»! Что самое главное в теории стоимости Маркса? Различение продукта и товара. Продукты имеются во всяком обществе, товары только при определенном, специфическом общественном строе. Кто находит возможным рассчитаться со своеобразием того конкретного общественного строя ссылкой на нечто, имеющееся во всяком обществе (на продукт), тот утеривает социологический принцип марксизма и остается при плокой тавтологии: продукт есть продукт,—или: труд есть труд. И тогда, разумеется, придется отрицать и существование стоимости, процесса увеличения стоимости и т. д., пока не дойдешь, наконец (и мы еще увидим, что Грациадеи доходит и до этого)—до отрицания существования капитализма, как особого исторического способа производства, и до отрицания факта наемного труда.

Если при рассмотрении продуктов отвлечься от их «социальной формы существования», от того факта, что они—товар, если видеть в них только «телесную реальность», забывая о формальных особенностях, привходящих к последней при определенном общественном строе,—тогда, конечно, и в труде не увидишь ничего, кроме услуг, или, в лучшем случае, «физического действия», каковым труд является при всяком общественном строе, но не увидишь той особенной формы, которую он необходимо принимает в определенно конкретном, товарном и капиталистическом обществе вследствие того, что в нем продукты становятся товарами. Так можно стать «шотландцем», даже родившись в солнечной Италии!

Понятие абстрактного труда является центральным в политической экономии Маркса, и кто не знает, что означает у Маркса абстрактный труд, тот не имеет никакого права критиковать марксову теорию стоимости.

Буржуазные экономисты, и Грациадеи также, понимают абстрактный труд в смысле Смита—как физическую деятельность отдельного человека (индивидуально-суб'ективная точка зрения), но не как специфическую деятельность, а как всякую затрату энергии рабочим. Но это есть как раз то, что Маркс называет конкретным, создающим потребительную стоимость, «полезным» трудом (см. приведнную выше цитату из «Теорий прибавочной стоимости», III, 153). Конечно, и здесь мы имеем затрату энергии, но, поскольку она создает потребительные стоимости, не абстрактную, а конкретно-целевую.

Поэтому Маркс говорит:

«Как целесообразная деятельность, направленная на присвоение элементов природы в той или иной форме, труд составляет естественное условие человеческого существования, не зависящее ни от каких общественных форм, условие обмена веществ между человеком и природой. Напротив, труд, создающий меновую стоимость, является специфически общественной формой труда. Например, труд портного, в своей материальной определенности, как особая производительная деятельность, производит одежду, а не ее меновую стоимость. Последнюю он производит не как труд портного, но как отвлеченный всеобщий труд, а этот труд зависит от общественного строя, которого портной не произвел» («К критике...», стр. 50). Конкретные виды труда создают потребительные стоимости, но «в качестве потребительных стоимостей они совершенно независимы друг от друга, они скорее не стоят ни в каком отношении друг к другу» («К критике...», стр. 56).

Наоборот, абстрактный труд у Маркса никогда не означает «физического действия» индивидуума, отдельного рабочего, а равносилен общественному, обобществленному труду. Конкретный, полезный, целесообразный труд становится абстрактным трудом путем общественного процесса. «Труд,—говорит Маркс,—измеряемый, таким образом, временем, выступает в действительности не как труд различных индивидуумов, но скорее различные трудящиеся индивидуумы выступают, как простые органы этого труда» («К критике...», стр. 44). И дальше: «Получается то же самое, как если бы различные лица соединили свое рабочее время и представили различные количества, находящегося в их общем распоряжении рабочего времени в различных потребительных стоимостях. Таким образом рабочие время отдельного лица есть, в действительности, время, которое требуется обществом для производства некоторой определенной потребительной стоимости, т.-е. для удовлетворения некоторой определенной потребности» («К критике...», стр. 46). Исходным пунктом Маркса в его политической экономии, его предпосылкой, служит товарное, более того—капиталистическое общество, как та наличная действительность, в которой мы живем. Из этого общества он извлекает простейший в экономическом отношении элемент. Этот простейший элемент есть товар. Маркс говорит:

«Мы исходим из товара, из этой специфической общественной формы продукта, как из основы и предпосылки капиталистического производства». И «Капитал» начинается следующими словами:

«Богатство обществ, в которых господствует капиталистический способ производства, представляет «огромное скопление товаров», а отдельный товар его элементарную форму. Наше исследование начинается поэтому анализом товара».

Исходя таким образом из товара, как из «основы и предпосылки капиталистического производства», Маркс в то же время об'ясняет, что такое товар в капиталистическом производстве: товар—это «специфически общественная форма продукта».

В самом деле, товары обращаются на рынке, они вступают во взаимные отношения, не заботясь о том, какому конкретному специфическому труду они обязаны своим существованием. Что

это значит? Это значит, что различие форм конкретного труда уже потушено в товарах благодаря процессу их обращения. А так как в капиталистическом обществе всякий продукт становится товаром, то тем самым всякий труд становится товаропроизводящим, т.-е. таким, который создает для капитала стоимости,— независимо от специфической формы данного труда. Возможно же это в рамках капиталистического производства лишь потому, что капитал проник во все отрасли производства и поэтому для него стали безразличны все формы труда, ибо все они являются теперь только источниками прибыли, источниками обогащения для капитала. Это-то и уравнивает в глазах капитала все виды труда. Если равенство товаров выражает равенство видов труда, то отвлечение от вещественного содержания труда выражает в капиталистическом обществе нечто еще бо́льшее, а именно равенство всех отраслей производства в глазах капитала. Маркс говорит:

«Труд—совсем простая категория. Столь же древним является и представление о нем в этой всеобщности, как труда вообще. Однако экономический «труд», взятый в этой простейшей форме, есть столь же современная категория, как отношения, которые порождают эту простейшую абстракцию» (Маркс, «К критике политической экономии», Введение, стр. 22 русского издания).

И далее:

«Безразличие к определенному виду труда предполагает весьма развитую и цельную совокупность действительных видов труда, из которых уже ни один не является безусловно господствующим... С другой стороны, эта абстракция труда вообще является только результатом конкретной целостности трудовых процессов. Безразличное отношение к определенному труду соответствует общественной форме, при которой индивиды с легкостью переходят от одного вида труда к другому и при которой определенный вид труда является для них случайным и потому безразличным. Труд здесь не только в категории, но и в действительности, стал средством создания богатства вообще и утратил свою связь с определенным индивидом».

Эти индивиды, которые с легкостью переходят от одного труда к другому и для которых безразличен определенный вид труда, это прежде всего капиталисты, и по мере того, как капиталистическое производство становилось преобладающим в Европе, политическая экономия, как наука, отражающая это производство, все больше выдвигала в центр своих исследований проблему абстрактного труда. Самые различные отрасли производства последовательно рассматривались, как воплощение абстрактного, производящего стоимости труда—сначала торговля, затем земледелие (явное отражение того пути, по которому шел капитализм в своем завоевании отдельных отраслей производства),—и лишь напоследок труд, как таковой, труд сам по себе, был провозглашен Адамом Смитом фактором, созидающим стоимость (см. Маркс, «К критике политической экономии», стр. 39 и сл. нем. изд.).

Абстрактный, общественный труд не есть, следовательно, абстрактная затрата энергии рабочего, как часто ошибочно себе представляют,—но он есть лишь выражение того факта, что скрытой основой буржуазного производства является общественный труд. Товарное обращение есть то средство, при

помощи которого осуществляется и подтверждается общественный характер капиталистического производства.

Поэтому абстрактный труд есть такое же идеальное, лишь воображаемое свойство товаров, как и их стоимость, представляющая собой лишь форму, в какой этот абстрактный труд является в условиях товарного производства. Тот и другая выражают на языке капиталистического производства некое социальное свойство труда (или его продуктов), отличное от его материального содержания. Без марксовой теории стоимости, которая впервые ввела понятие абстрактного труда, этот общественный характер труда и его продуктов остался бы скрытым, и все до сих пор думали бы так же, как думает Грациадеи, который отрицает существование именно этого труда и, следовательно, не имеет ни малейшего понятия об общественной стороне всего трудового процесса, как он обнаруживается внутри капиталистического общества в обращении товаров.

Отметим одно очень интересное совпадение. Не так давно. почти одновременно с выступлением Грациадеи, была сделана попытка философской ревизии марксизма венгерским товарищем Лукачем. И оказалось, что корень большинства недоразумений тов. Лукача в основных вопросах марксизма заключался в том, что он принял процесс увеличения стоимости, в каковой форме процесс труда по необходимости является в капиталистическом обществе, за единственную действительность. За явлением он забыл сущность, за формой—содержание.

Любопытно, что у Грациадеи мы встречаем ту же ошибку, только в обратном виде: Грациадеи считают, что форма не существенна по сравнению с содержанием. Он признает только процесс труда и изо всех сил отрицает процесс увеличения стоимости.

Но различие между ним и Лукачем в том, что последний по крайней мере последовательно выдерживает свою точку зрения до конца, а Грациадеи цепляется за процесс труда лишь для того, чтобы иметь возможность полемизировать с Марксом; покончив же с этим душеполезным делом, он в дальнейшем преспокойно остается на поверхности явлений.

Отбросив это различие, мы имеем тут перед собой общий методологический корень ревизионизма «слева» и ревизионизма «справа». Отметить это обстоятельство мы считаем во всяком случае не лишним.

На этом мы, казалось бы, можем почтительно расстаться с открытием нашего автора, что теория стоимости и теория прибавочной стоимости независимы друг от друга.

Но нет! Ведь он имеет наготове еще два «произведения», специально написанные в ответ его прежним критикам, которых он (подумать только!) третирует как так называемых марксистов; в этих произведениях он обещает «тщательнее разобрать» (esame più minuto) все то, что он «не мог углубить» и должен был «обрисовать лишь общими чертами» в своей книге «Цена и прибавочная цена» (см. «La Concezione», стр. 1).

Но когда мы обращаемся к этому «углубленному» изложению, нас ожидает большой сюрприз. Везде, где требуется доказательство, автор либо отсылает нас к своей книге «Цена и прибавочная цена», в которой требуемое доказательство якобы уже

было дано, либо из этой книги приводится цитата, которая и должна служить вместо доказательства. Везде, где мы ждем доказательств, нас отсылают от Понтия к Пилату. В книге «Цена и прибавочная цена» Грациадеи извиняет отсутствие доказательств тем, что он «вынужден» ограничиться лишь «общими чертами», а в «углубленных» брошюрах он считает доказательства излишними потому, что с этой стороной дела он покончил-де в книге «Цена и прибавочная цена»! Милый способ «вести доказательство». В чем же состоит углубление?

Но нет, мы ошибаемся. На стр. 24 его «La Concezione» мы читаем:

«Взаимная независимость обоих учений о меновой стоимости и о прибавочном труде... получает таким образом окончательное подтверждение в концепции прибавочного труда, как такового, который выполняется всем рабочим классом в целом. Если в нашей книге «Цена и прибавочная цена» мы не могли привести этот н о в ы й и р е ш а ю щ и й аргумент, ...»—то он спешит привести его теперь.

Значит, «новый и решающий аргумент» все-таки есть! Его с полным основанием можно назвать «последним часом» Грациадеи. В самом деле, в пяти параграфах названной брошюры Грациадеи старается показать, что заблуждение Маркса и так называемых марксистов заключается в том, что, по их мнению, прибавочная стоимость производится каждым рабочим и каждой фабрикой. Нет, нет!—восклицает Грациадеи,—это роковое заблуждение. Только рабочий класс в целом производит прибавочную стоимость, выполняет необходимый труд, а никак не отдельный рабочий.

Как это возможно, знает один бог! Потому что, как известно, он один умеет творить чудеса. Работа выполняется (это знают все) не рабочим классом в целом, а отдельным рабочим. Стало быть, и прибавочная стоимость может п р о и з в о д и т ь с я — только таким путем. Здесь мы имеем дело не с «идеальным», не с «воображаемым» свойством товаров, а с продуктами, которые фактически п р о и з в о д я т с я рабочими. Стало быть, здесь Грациадеи—марксист невпопад. Но даже и в этом дурном смысле он не настоящий марксист: ведь у него прибавочная стоимость, по крайней мере в форме прибыли, не п р о и з в о д и т с я, а— п о т р е б л я е т с я! Его точка зрения—точка зрения потребителя. Но об этом после.

Но хотите знать, в чем заключается решающий и новый аргумент, опровергающий названное ошибочное мнение марксистов? В том, что если бы на каждой фабрике рабочие производили прибавочную стоимость, «действительно и полностью» выполняя необходимый и прибавочный труд, то каждый из них в отдельности или, по крайней мере, все они вместе должны были бы изготовлять в с е продукты, потребляемые ими, да сверх того еще в с е продукты, потребляемые самим капиталистом. А ведь на деле-то каждый рабочий производит только вполне определенный товар, и каждый капиталист наживается на вполне определенном товаре.

«Если бы по отношению к каждому рабочему можно было говорить о действительном и полном труде, необходимом и прибавочном, то каждый отдельный рабочий должен был бы один

производить все продукты, составляющие его заработную плату, и все те продукты, в которых реализуется доход капиталиста».

И к этому открытию, которое (смеем уверить тов. Грациадеи!) составит эпоху в истории критики марксизма, он насмешливо прибавляет:

«Но достаточно высказать подобную гипотезу, чтобы тотчас же усмотреть ее нелепость, не требующую дальнейших доказательств. Уж лучше вернуться к Робинзону Крузо, да еще заставить его при этом играть двойную роль: и роль капиталиста и роль рабочего» («La Concezione», стр. 24).

Если кто-нибудь снова протаскивает в политическую экономию робинзонаду, называя ее правомерной научной абстракцией, так это в действительности, конечно, сам Грациадеи. Но, в самом деле, достаточно привести новый и решающий аргумент тов. Грациадеи, чтобы сразу показать всю цену его критики марксизма. Как прежде он всегда был в состоянии мгновенно узреть за видимостью самую сущность явлений и благодаря этому заново открыл, через семьдесят лет после Маркса, необходимый и прибавочный труд, так теперь он видит исключительно лишь те продукты, которые рабочий производит «для потребления капиталиста и своего собственного». Деньги, при помощи которых можно купить и такие товары, которых сам не производишь, т.-е. весь процесс товарного обращения, сообщающий общественный характер односторонним частно-капиталистическим хозяйствам и, казалось бы, имеющий кое-какое отношение к марксову понятию стоимости,—всего этого более не существует! Поистине великолепное, вполне достойное коммуниста презрение к маммоне!

Обратимся теперь ко второму интересующему нас вопросу и посмотрим, почему же все-таки теория стоимости Маркса оказывается неправильной. Что может сообщить нам Грациадеи по этому поводу? После всего вышеизложенного наши надежды, разумеется, очень скромны.

Для разнообразия обратимся прямо к одной из его «углубленных» брошюр, где этот вопрос подвергается «специальному», «тщательному» разбору.

Эта брошюра («Il Prezzo») начинается следующими словами:

«Марксисты и отчасти сам Маркс рассматривают стоимость (меновую)—подробнее мы это покажем в дальнейшем—скорее как явление производства, чем обращения. Это—заблуждение...»

Мы не знаем, что еще покажет Грациадеи «подробнее» в дальнейшем. Что марксисты и сам Маркс рассматривают стоимость—не «скорее», а исключительно как «явление производства» (этим словом Грациадеи очевидно хочет сказать, что по Марксу источником стоимости является производство), этого он может и не доказывать, ибо это общеизвестно. Но вот что не общеизвестно и что ему следовало бы доказать, и доказать возможно подробнее: 1) что Маркс лишь отчасти понимал стоимость именно так; но этого он не может доказывать хотя бы потому, что, как мы увидим, он уже через несколько строк утверждает, что Маркс всегда, «с первых же страниц «Капитала», понимал стоимость иначе, именно как продукт обращения; и 2) что было бы заблуждением считать стоимость «явлением» производства. Второе он действительно пытается доказать, но как—это опять-таки составит эпоху в критике марксизма!

На этот раз, в виде исключения, аргументация начинается цитатой из Маркса («Капитал», III, I, 263):

«В процессе обращения не производится стоимость, значит не производится и прибавочная стоимость. Происходят только изменения формы одной и той же товарной массы... Если при продаже произведенного товара реализуется прибавочная стоимость, то лишь потому, что она уже в нем существует».

К этим словам Грациадеи делает следующую выноску:

«Заметим мимоходом (не задерживаясь на этом, чтобы не отдалиться от самой сути вопроса), что в приведенных выражениях, в которых говорится о том, что стоимость «существует» в товарах, с типической ясностью обнаруживается одно из вреднейших последствий того предрассудка, будто стоимость есть не явление обращения, а явление производства. Товары содержат в себе вещества, а не стоимости. Стоимость не физическое свойство товаров, стоимость—именно потому, что она возникает из отношения двух товаров—не может быть постигнута, если брать только один какой-нибудь товар сам по себе».

Дорогой читатель, признаюсь чистосердечно: когда я прочел эти строки и вспомнил, что они написаны не буржуазным университетским профессором, а коммунистом,—я не знал, что и подумать. Судьба учеников тов. Грациадеи, слушающих его лекции в Пармском университете, не очень меня волнует, так как они, вероятно, большей частью происходят из буржуазных кругов или, в лучшем случае, принадлежат к мелкобуржуазным элементам. В фашистской Италии рабочим, вероятно, редко случается попасть в число университетских слушателей. Но тов. Грациадеи ведет, в качестве члена итальянской коммунистической партии, просветительную работу и в партийных кругах; в парламенте он, как видно из газет, нередко выступал официальным оратором И. К. П. как раз по экономическим вопросам. Он видный экономист итальянской коммунистической партии. И он, коммунист, обнаруживает такую глубину невежества в вопросах марксизма!

Кто первый показал, вопреки всей буржуазной политической экономии, что стоимость есть общественное отношение, а не физическое свойство товаров? Кто создал теорию товарного фетишизма, единственную теорию, об'ясняющую сущность товаров и всего буржуазного общества? Кто—Грациадеи или Маркс?

И вот теперь, через семьдесят с лишним лет, человек, называющий себя—даже не марксистом, а коммунистом, украдывает это учение и преподносит его в искаженной, плоской, бессмысленной и бессовестной форме, как свое собственное открытие, и старается доказать, что именно Маркс и марксисты не знают, что стоимость не есть физическое свойство товаров!

Разумеется, и тут претензии Грациадеи неизмеримо превышают его дарования. Наш профессор знает только меновую стоимость, стоимости, как таковой, он не признает. Хоть бы он внимательно прочел... не первый том «Капитала», этого нельзя от него требовать,—но хотя бы брошюру «Наемный труд и капитал» или «Заработная плата, цена, прибыль»! Грациадеи—единственный человек, не знающий примечания на стр. 45 первого тома «Капитала», каковое примечание мы позволим себе процитировать здесь для его назидания:

«Один из основных недостатков классической политической экономии состоит в том, что ей никогда не удавалось из анализа товара, и в частности товарной стоимости, вывести форму стоимости, которая именно и придает товару характер меновой стоимости. Как раз в лице своих лучших представителей, А. Смита и Рикардо, она рассматривает форму стоимости как нечто совершенно безразличное и даже не имеющее отношения к природе товара, как такового. Причина состоит не только в том, что анализ величины стоимости поглощает все ее внимание. Причина эта лежит глубже. Форма стоимости продукта труда есть самая абстрактная и в то же время самая всеобщая форма буржуазного способа производства, который именно ею характеризуется как исторически особенный вид общественного производства. Если же рассматривать буржуазный способ производства, как вечную естественную форму общественного производства, то неизбежно останутся незамеченными специфические особенности формы стоимости, следовательно, товарной формы, а при дальнейшем ходе исследования—денежной формы, формы капитала и т. д.».

Только тот, кто рассматривает товарное производство как вечную естественную форму производства вообще, только тот неизбежно должен впасть в указанное заблуждение,—заметьте себе эти слова Маркса, тов. Грациадеи! Это заблуждение Рикардо Маркс называет «исторически оправданным» и «научно необходимым в истории политической экономии» («Теории прибавочной стоимости», II том, 1 часть, стр. 2). Оно было исторически оправдано, потому что Рикардо был представителем буржуазного общества в такую эпоху, когда сам капитал еще имел историческую миссию[1]). И оно было необходимо в развитии науки, потому что только путем анализа величины стоимости можно было открыть форму стоимости. Но когда в наше время, после Маркса, то же самое повторяет не представитель буржуазной науки, а якобы коммунист,—тогда это уже не заблуждение и не имеет ни исторического, ни научного оправдания!

И вот с такой-то научной высоты Грациадеи не стесняется утверждать, что «менее образованным марксистам» марксизм представляется «каким-то колдовством», «проделкой фокусника, придуманной в интересах самого капитализма»! (там же, стр. 5). Он не стесняется то-и-дело говорить о «так называемых марксистах», от которых и следовало ждать, что они возмутятся его «учением» (учением Грациадеи!). Человек, обнаруживающий такое невежество в марксизме, не стесняется писать: «Эти так называемые марксисты (а их большинство), либо вовсе не читавшие «Капитала», либо прочитавшие, да и то весьма поверхностно, только первый его том, пребывают в блаженном неведении относительно тех непреодолимых затруднений, в которых Маркс запутывается во II и III томах...» («La Concezione», стр. 40).

---

[1]) См. у Маркса «Theorien über d. Mehrwert», II, 1, 310: «Если воззрение Рикардо, в целом, соответствует интересам промышленной буржуазии, то лишь потому и постольку, поскольку ее интересы совпадают с интересами производства или производительного развития человеческого труда. Там, где эти интересы вступают в противоречие друг с другом, он так же беспощаден по отношению к буржуазии, как обыкновенно он бывает беспощаден по отношению к пролетариату и аристократии».

В чем же заключается доказательство, что стоимость—явле-
іе не производства, а «скорее» обращения? Читайте и изум-
йтесь:

«Что стоимость (меновая) есть явление не производства, а
ращения, это такая истина, которая, будучи очевидна сама по
бе (essendo intuitiva), более того—заключаясь в самом определе-
іи предмета[1]), в сущности вовсе не нуждается в дока-
ıтельстве. Ни один марксист... не решится оспаривать столь
:евидный факт, признававшийся Марксом с первых страниц
Капитала» (!!).

Сначала Грациадеи сообщил нам, что Маркс лишь «отчасти»
ıзделял тот взгляд, что стоимость есть скорее явление обра-
ения, чем производства. Теперь же оказывается, что Маркс
)изнает это с первых страниц «Капитала», и поэтому ни один
ıрксист не должен сомневаться в «столь очевидном факте»! А
ежду тем этот факт не более очевиден, чем утверждение, будто
аркс признавал этот взгляд хотя бы отчасти,—как это известно
ıждому школьнику.

И, действительно, верный высказанному им принципу, Гра-
іадеи не приводит никаких доказательств. И это все, что он
)жет сказать в опровержение теории стоимости Маркса!

Нам остается еще проделать неприятную работу—разобрать
юрию стоимости самого Грациадеи. Каковы будут его открытия,
итатель, вероятно, уже догадывается.

(Окончание следует).

---

[1]) Меновая стоимость, которую только и знает Грациадеи, действи-
:льно проявляется только в обращении товаров; поэтому в названии
иеновая стоимость» уже выражен тот факт, что она есть явление обраще-
ія. Но быть таковым и осуществляться в обращении она может только
)тому, что скрытая за ней стоимость была создана в процессе про-
ıводства. Грациадеи берет название «меновая стоимость» и пользуется
гим названием, как аргументом против Маркса! Это напоминает
ууржуазных философов, которые, состряпав себя «идеал» всесовершенного, все-
:дущего и т. д. существа, выводят отсюда существование бога, так как-де
идея» совершенного существа не могла бы находиться в их голове, если бы
акого существа не было в действительности. Так можно посредством над-
ежащего «определения» доказать решительно все, даже существование бога.

К вопросу о понимании категории абстрактного труда.

А. А. Вознесенский.

«Как при всякой исторической социальной науке, по отношению к экономическим категориям нужно постоянно иметь в виду, что как в действительности, так и в голове здесь дан суб'ект,—в нашем случае современное буржуазное общество, и что поэтому категории выражают формы бытия, условия существования, часто только отдельные стороны этого определенного общества, этого суб'екта».

(Маркс. «Введение к критике политической экономии». Сборник «Основные проблемы политической экономии», Г. Изд., 1922, стр. 31).

1. Значение категории ценности и вопрос об ее определителе.

В основе всей системы марксистской политической экономии лежит учение о ценности-стоимости [1]). Это — фундамент, на котором строится все здание политической экономии, как научной системы: все основные политико-экономические категории и законы вытекают—прямо или косвенно—из теории ценности. Если мы откажемся от этой последней или неправильно ее истолкуем, то мы принуждены будем отказаться от всей марксистской политической экономии (а сам марксизм немыслим без его экономической стороны), или, по крайней мере, извратить ее. Одно другого стоит.

Отсюда ясно, что вопрос об определителе, об основе самой ценности является кардинальным вопросом в политической экономии, не сравнимым ни с каким другим. В зависимости от того, каков будет определитель ценности, ее основа—в зависимости от этого будет построена та или иная теория ценности, а следовательно, и система политической экономии. Поэтому становится вполне понятным то громадное значение, которое придавал этому вопросу сам Маркс.

---

[1]) Употребляем выражение «ценность-стоимость» в виду установившегося в русской литературе двоякого способа перевода немецкого термина Werth. В дальнейшем мы будем пользоваться термином «ценность».

2. Значение, придававшееся Марксом разделению труда на конкретный и абстрактный.

Как известно, ценность, по Марксу, создается или—лучше — определяется трудом абстрактным [1]). Но товар является не только ценностью, он должен еще быть и потребительной ценностью; последняя же создается трудом конкретным. Следовательно, представленный в товаре труд оказывается имеющим двойственный характер: труд конкретный и абстрактный. И вот Маркс таким образом характеризует значение выяснения этого вопроса.

В начале 2-го параграфа первого тома «Капитала» он замечает:

«Я первый критически раскрыл этот двойственный характер представленного в товаре труда. Так как этот пункт является решающим, и от него зависит все в политической экономии, то мы рассмотрим его здесь более подробно» [2]).

Хотя здесь перевод последней фразы — с точки зрения буквы — и не совсем точный, однако смысл подлинника передается вполне правильно: «Da dieser Punkt der Springpunkt ist um den sich das Verständniss der politischen Oekonomie dreht, soll er hier näher beleuchtet werden».

В письме к Энгельсу от 24 августа 1867 г. Маркс пишет: «Самое лучшее в моей книге (речь идет о «Капитале». *А. В.*): 1) в первой же главе подчеркнутая особенность двойственного характера труда, смотря по тому, выражается ли он в потребительной или меновой ценности. (На этой теории о двойственном характере труда покоится **все** понимание фактов)» [3]).

Далее, в другом письме к тому же Энгельсу от 8 января 1868 года—Маркс отмечает «три важнейших и совершенно новых элемента книги» («Капитал»):

«2) ...все без исключения экономисты не замечали простой вещи, а именно, что, если у товара двоякий характер, если он, с одной стороны, потребительная ценность, а, с другой стороны, ценность меновая, то и труд, воплощенный в товаре, должен иметь двоякий характер. Простой же анализ труда, без дальнейших различий, как например, у Адама Смита, Рикардо и т. д., постоянно должен наталкиваться на необ'яснимые вещи. В сущности, тут и заключается вся тайна критического понимания» («Письма». 145).

Наконец, еще ранее, в «Критике политической экономии», Маркс говорит: «Анализ товара, заключающийся в сведении его на двойственный труд... составляет результат более, чем полуторавековых критических исследований классической политической экономии» (Изд. «Московск. Рабочий», 1922 г., стр. 63. — В дальнейшем цитируется это же издание).

---

[1]) Что ценность определяется именно трудом, а не каким-либо другим моментом, это здесь предполагается данным и специально не рассматривается.

[2]) «Капитал», т. I, русское издание под ред. П. Струве, 1906 г., изд. Поповой, СПБ., стр. 6. В дальнейшем I том цитируется по этому изданию.—Неоговоренные подчеркивания (курсив) принадлежат автору настоящей статьи.

[3]) Карл Маркс и Фр. Энгельс. Письма, изд., «Моск. Рабочий», 1923 г., стр. 144. Курсив «все» принадлежит Марксу.

Таково значение, придававшееся Марксом категории абстрактного труда (или двойственному характеру труда, заключенного в товаре,—что, по существу, одно и то же).

3. Обычная трактовка категории абстрактного труда в марксистской литературе.

Как же смотрят на ту же самую проблему последователи Маркса? Как они к ней относятся? Как ее интерпретируют? Можно взять почти любую книжку по марксистской политической экономии, чтобы убедиться, что никакого особо серьезного значения категории абстрактного труда не придается, никакой сколько-нибудь серьезной разработке она не подвергается.

Мало того, некоторые авторы ухитряются излагать теорию ценности Маркса, даже не упоминая об абстрактном труде. Так, напр., поступает Богданов в своем известном «Кратком курсе экономической науки», не говоря уже о «Начальном курсе политической экономии», а в 4 вып. II т. «Курса политической экономии» Богданова и Степанова, написанном первым из них, абстрактный труд отождествляется с простым, и проблема абстрактного труда подменяется вопросом о простом и сложном труде, что вовсе не одно и то же.

Какова же обычная трактовка абстрактного труда? Она сводится, по существу, к следующему положению, если его выразить кратко: труд, рассматриваемый с его качественно-полезной стороны, создает потребительные ценности и называется трудом конкретным; труд же, рассматриваемый с количественной стороны, создает ценности и называется трудом **абстрактным**. Это труд, как затрата мозга, нервов, мускульной энергии, словом, как затрата известной физической энергии человека. На этом анализ абстрактного труда и выяснение его роли и заканчивается,—и так поступает, как уже было отмечено, громадное большинство авторов. Укажем хотя бы некоторых из них: **Каутский**—«Экономическое учение Карла Маркса»; **Кон**—«Теория промышленного капитализма»; **Фишер**—«Теория ценности»; **Любимов**—«Азбука политической экономии» (последний пытается что-то говорить о **социальном** характере абстрактного труда, но чрезвычайно невразумительно, вдобавок ставя это свое об'яснение в зависимость от категории общественно-необходимого труда); **Дашковский**—«Конспектированный курс политической экономии»; **Михалевский**—«Начальный курс политической экономии»; **Мотылев**—«Цена и стоимость» и т. д., и т. д., и т. д.

При том **обычном** понимании абстрактного труда, о котором только что было сказано, абстрактный труд оказывается категорией **исключительно** физиологической, вне-исторической и несоциальной.

Но в таком случае остается совершенно непонятным, почему же Маркс придавал этому вопросу такое **исключительное** для системы политической экономии значение? Оно кажется ничем не оправдываемым гипертрофическим преувеличением.

Это первое недоумение от такого рода интерпретации Маркса. И второе, сразу же возникающее,—следующее.

В марксистской литературе считается едва ли не общим местом положение, что ценность—экономическая, в марксистском

смысле слова—есть категория историческая, т.-е. преходящая, присущая только обществу с товарным хозяйством, и социальная. А между тем ее определитель—согласно обычному взгляду—категория вне-историческая и естественно-техническая. Но как же с помощью логической, вне-исторической и естественной категории можно определить категорию историческую и социальную, считать первую основой для второй? Получается очевидное несоответствие.

При такой трактовке категории абстрактного труда придется и ценность рассматривать как категорию вне-историческую и несоциальную, а потому и вся политическая экономия характеризуется как наука вне-историческая, имеющая об'ект своего изучения во всякой системе хозяйства, т.-е. мы преблагополучно станем на антимарксистскую позицию. Следовательно, как правильно формулирует вопрос Рубин, выход один: «Так как понятие ценности у Маркса носит характер социологический и исторический,—а в этом именно все его своеобразие и заслуга,—то на той же основе должны мы строить и понятие абстрактного труда; как «созидателя» ценности» (И. И. Рубин, «Очерки по теории стоимости Маркса», Госизд., 1923 г., стр. 77—78) [1]).

Необходимость такой точки зрения, помимо уже указанных соображений, а также и тех, как нам кажется, совершенно неопровержимых ссылок на Маркса, которые мы сделаем впоследствии,—вызывается еще и тем обстоятельством, что Маркс возникновение и проявление категории ценности ставит в определенную причинную зависимость именно от абстрактного труда.

Вот несколько примеров: «Потребительная ценность или благо имеет... ценность лишь потому, что в ней осуществлен, материализован абстрактный человеческий труд» («Капитал», т. I, стр. 4).

«В качестве кристаллов этой общей всем им общественной субстанции (=абстрактн. труду, как ясно из контекста. *А. В.*) они (вещи) являются ценностями—товарными ценностями» (там же).

«Товары обладают ценностью лишь постольку, поскольку они являются выражением одной и той же общественной субстанции человеческого труда» (там же, 11).

«В своем качестве одинакового человеческого или абстрактного труда он создает товарную ценность» (там же, 10).

4. Содержание и роль категории абстрактного труда.

Труд каждого из людей, поскольку он занят производительной деятельностью, во всяком обществе затрачивается на производство каких-нибудь определенных полезных вещей, потребительных ценностей. Такой труд Маркс называет трудом конкретным. Он имеет место во всяком человеческом обществе и

---

[1]) Указанная работа является одной из самых лучших по теории ценности Маркса. Автор придерживается последовательно-социологической трактовки основных политико-экономических понятий, и, в частности, понятия абстрактного труда. К сожалению, изложение автора в данном пункте слишком отвлеченно, не совсем конкретно-ясно, а вместе с тем и мало убедительно. Помимо этого, как нам кажется, именно в вопросе об абстрактном труде Рубин допустил несколько неточностей и даже ошибок. На них мы остановимся впоследствии.

является, таким образом, категорией вне-исторической или логической, или, как говорит Маркс: «Человеческий труд, в качестве созидателя потребительных ценностей, т.-е. в качестве полезной работы, является условием существования людей, независимо от каких бы то ни было общественных форм, вечной естественной необходимостью, неизбежным посредником в том обмене веществ между человеком и природой, который представляет собою человеческая жизнь» («Капитал», т. I, стр. 7).

Но, ведь, труд отдельной личности может и не иметь общественной значимости. Как же разрешается вопрос об общественной значимости подобного рода труда, труда отдельной личности, выполняющей определенную конкретную работу?

Возьмем какой-либо тип натурального, организованного хозяйства, напр., для простоты,—хозяйство общественной ячейки семьи. Каждый работоспособный член ее может выполнять определенную, отдельную, специальную работу.

Чем же и как определяется значимость этого индивидуального труда для данной ячейки-семьи?

Раз я, член семьи, выполняю такую-то определенную работу и она нужна, полезна или необходима для ведущей хозяйство семьи, то тем самым и мой труд имеет значимость для этой последней. Он нужен, полезен, важен—и при том именно в своей конкретной определенной форме, как мой труд и при том труд, затраченный в определенной специальности.

Если мы примем семью за общество, то тогда скажем: здесь труд отдельных участников хозяйства становится трудом общественным непосредственно в своей конкретной форме. Он не перестает быть связанным с определенной индивидуальностью (личностью) и определенной специальностью.

Эту же мысль Маркс выражает такими словами: «Различные, направленные на производство этих продуктов, виды труда (в деревенском патриархальном производстве любой крестьянской семьи»), каковы: земледелие, скотоводство, пряденье, тканье, шитье и т. д., представляют собою в своей натуральной форме общественные функции, являясь функциями семьи» («Капитал», т. I, стр. 33).

То же самое мы будем иметь и во всяком коллективном хозяйстве, поскольку оно представляет собой единый сознательно построенный организм.

Или возьмем какой-нибудь тип эксплоататорского общественного хозяйства, но опять-таки натурального и тем самым организованного хозяйства, напр., крепостническую или рабовладельческую систему хозяйства, поскольку они остаются в рамках натурального производства.

Совершенно очевидно, что и здесь индивидуальный труд отдельных производителей будет проявлять свою общественную значимость точно таким же путем, как это имеет место и в вышеразобранном случае—в хозяйстве семейной общины. И здесь отдельные виды труда имеют общественную значимость («представляют собою... общественные функции»), непосредственно в своей конкретной форме, не принимая каких-либо особых форм.

Разбирая этот случай, Маркс замечает: «Непосредственной общественной формой труда является здесь его натураль-

ная форма, т.-е. труд выступает в своих частных формах, как та или иная определенная работа» («Капитал», т. I, стр. 33), т.-е. как труд конкретный.

Совершенно та же картина получается, если мы обратимся к социалистическому обществу с его планомерно направляемым хозяйством.

Итак, ни в одном из указанных типов натурального, организованного хозяйства мы не имеем категории абстрактного труда,—труд неизменно выступает единственно в своей конкретной форме [1]).

Посмотрим теперь, как тот же самый вопрос разрешается в применении к неорганизованному, анархическому обществу,—обществу с товарным хозяйством.

Производство здесь осуществляется массою раз'единенных, формально самостоятельных и независимых друг от друга, отдельных частных производителей. Каждый из них работает в своих собственных интересах, ради своей выгоды и производит определенные продукты в определенном количестве на свой страх и риск. Однако фактически все они работают друг на друга, т.-е. для общества. Достигающее при анархическом хозяйстве высшей степени развития общественное разделение труда превращает каждого в производителя одного определенного вида продукта. Но сапожник производит сапоги не для себя лично, а для других; производители шерсти, пуговиц, ваксы и т. д., и т. д.—также.

Таким образом, хотя производители разобщены, хотя каждый из них не получает определенного задания от общества, тем не менее все они работают на общество, и тем самым труд их имеет общественное значение, или общественную значимость. Но как же может выявиться общественная значимость отдельных частных конкретных работ? В обществе раз'единенных производителей это может произойти только путем обмена—через рынок—продуктов труда одного из них на продукты труда других, т.-е., иначе говоря, путем превращения продуктов труда в товары.

Следовательно, «продукты потребления делаются товарами лишь потому, что они продукты частных работ, исполняемых независимо одна от другой» («Капитал», т. I, стр. 29).

Именно только через рынок может проявиться общественная значимость индивидуального частного труда. Но в таком случае в каком же виде, в какой форме выступает их труд, труд отдельных частных независимых товаропроизводителей?

Обмен, как таковой, есть момент чисто количественный. В самом деле, мы обмениваем одну пару сапог на семь пудов хлеба, иначе говоря, приравниваем одну пару сапог семи пудам хлеба, или то и другое, напр., 10 рублям. Но, как потребительные ценности, товары отличаются лишь качественно, а качество не может быть мерою количества,—следовательно, момент качества совершенно отпадает в про-

[1]) Если бы нам возразили указанием на то, что и здесь категория абстрактного труда появится, раз мы заговорили о количественной стороне труда, то мы ответили бы ссылкой на то, что конкретный труд великолепно может быть измерен именно в своей конкретной форме. См. по этому поводу, не оставляющее никаких сомнений, замечание Маркса в § 4, 1 гл. I т. «Капитала», когда он рассматривает феодальное хозяйство и, особенно, хозяйство крестьянской семьи.

цессе обмена, как таковом. Поэтому Маркс и говорит: «Как меновые ценности, они (товары) могут разниться лишь количеством и не заключают в себе поэтому ни одного атома потребительной ценности» («Капитал», т. I, стр. 3).

Но раз обмен есть момент чисто количественный, то и труд, определяющий те пропорции, в которых обменивается один товар на другой (меновые ценности), выступает исключительно с этой же количественной стороны, сбрасывая с себя все, какие бы то ни было, качественные элементы.

Отсюда понятно, что при этом происходит отвлечение прежде всего от личности, от того суб'екта, который затратил свой труд на производство данного товара.

Далее, отпадает также и момент профессии, определенной специальности, отпадает, отвлекается та форма полезного конкретного труда, в котором он был затрачен.

Таким путем конкретный труд превращается, заменяется совершенно особой формой труда, — трудом абстрактным.

Это — не труд какой-либо личности, и это не труд какой-либо специальности, — в нем не выявляется никакой личности, в нем не видно никакой специальности, никакой формы его затраты.

Это безличный, безразличный, вне-специальный (не связанный ни с какой профессией или специальностью), труд, труд вообще. Чей же это труд? Кто его затрачивает? Безличное человеческое общество. Абстрактный труд — труд общества, общественный труд, не имеющий никакого отношения к каким бы то ни было личностям.

Мы уже видели ранее, что при всяком типе хозяйства, кроме товарного, труд индивидуальных производителей проявляет свою общественную значимость непосредственно в своей конкретной форме; он не перестает быть связанным с определенной специальностью. Совершенно иное происходит, как только что было указано, при товарном хозяйстве. Индивидуальный труд выступает здесь лишь как частичка одного и того же единого целого — труда общества. Такая частичка заключается в каждом товаре. «Совокупная рабочая сила общества, выражающаяся в товарных ценностях, рассматривается здесь, как одна и та же рабочая сила, хотя она состоит из бесчисленного множества индивидуальных рабочих сил» («Капитал», т. I, стр. 4). Итак, в обществе с товарным хозяйством труд отдельных производителей может проявить свою общественную значимость, лишь приняв особую форму, не соответствующую его реально видимой форме проявления, — форму труда абстрактного. «Особый труд частного лица, чтобы иметь общественное значение, должен представиться, как своя непосредственная противоположность, — как абстрактно-всеобщий труд» («К критике политической экономии», стр. 79 цит. изд.).

Другими словами, труд людей, поскольку они живут в обществе, всегда был и является трудом общественным, т.-е. имеющим общественную значимость. Но в товарном обществе труд производителей принимает особую специфическую форму — форму абстрактного труда, — и в качестве такового он определяет ценность.

Уже из этой краткой характеристики категории абстрактного труда мы можем и обязаны сделать следующие дальнейшие выводы:

а) Во-первых, категория абстрактного труда, по Марксу,— это не мыслительная только категория, т.-е. имеющаяся лишь в нашей голове, это не просто одно из наших понятий, и это даже не орудие только познаний, нет, это—реальная категория, т.-е. присущая самой реальной действительности и в ней проявляющаяся и действующая. К чему сводится ее роль? Абстрактный труд—основа меновых пропорций, т.-е. чисто реальных, совершенно об'ективных, совершающихся вне нас, явлений.

Приведение различных видов труда «к однородному, не представляющему никаких различий, простому труду, короче, к труду, который качественно одинаков и представляет только количественное различие... является абстракцией: однако это—абстракция, которая в общественном процессе производства совершается ежедневно» (Маркс, «К критике...», стр. 44).

Точно также Роза Люксембург замечает: «Абстракция Маркса (речь идет об абстрактном труде. *А. В.*) не выдумка, а открытие... она существует не в голове Маркса, а в товарном хозяйстве... она живет не воображаемой, а реальной и общественной жизнью» («Реформа или революция», стр. 64).

Итак, понятие абстрактного труда в нашей голове есть лишь отражение определенного реального явления, реальной действительности, вне нас находящейся.

Тем самым решается в отрицательном смысле представление некоторых экономистов, что эта категория Маркса, как и ценность, имеет лишь методическое значение,—нет, это реальное явление.

Здесь попутно следует выяснить одно могущее возникнуть неправильное представление.

Абстрактный труд, это—категория, имеющая место в самой реальной действительности. Сказывается она и проявляется через процесс обмена. Но не следует думать, что абстрактный труд — категория меновая, — меновая в том смысле, что она создается и возникает лишь в процессе обмена. Так думает, между прочим, Рубин в уже цитированной работе. Он, напр., говорит: «Абстрактный труд появляется только в действительном акте товарного обмена» (цит. соч., стр. 81); «последний (абстрактный труд) рождается только в обмене» (там же). Или еще: «абстрактный труд создается обменом» (82)[1]. Но такое представление не может быть признано правильным. Поскольку производство является товарным производством, т.-е. поскольку уже заранее, при самом производстве продуктов, «принимается во внимание» (Маркс), что они производятся как товары, постольку же здесь, в процессе производства, они не выступают как потребительные ценности, а следовательно, и конкретный труд модифицируется в абстрактный труд,— и последний уже имеет место.

Таким образом абстрактный труд, это — категория производственная, а не меновая. Но, разумеется, проявиться,

[1]) Подчеркиваем: как это ясно из цитируемых мест, Рубин в данном случае говорит не о том, что абстрактный труд является категорией менового общества, а о том, что он появляется или рождается в акте обмена.

обнаружиться он может только через обмен, т.-е. относительно, путем сопоставления ценности данного товара с ценностью другого. Но это, повторяем, лишь способ его проявления. Однако очевидно, что сам он дан до этого способа.

«Общественное рабочее время заключается в (этих) товарах, так сказать, в скрытой форме и обнаруживается только в процессе обмена» («К критике...», стр. 57).

Представление об абстрактном труде, как возникающем в процессе или акте обмена, ведет к дальнейшим неверным положениям. В самом деле, раз абстрактный труд возникает в процессе обмена, то, следовательно, и ценность (именно ценность, а не меновая, не форма ценности) возникает также в процессе обмена, но это представление—абсурдно с марксистской точки зрения, так как ценность определяется трудом, затрачиваемым на производство данного товара. «То общее, что выражается в меновом отношении или меновой ценности товара, это их ценность» («Капитал», т. I, стр. 4), но последняя дана до менового отношения, хотя и может проявиться только через него.

Меновая ценность лишь «необходимый способ выражения или форма проявления ценности» (там же) [1]).

Из того же неверного представления, о котором только что шла речь, приходится далее делать тот вывод, что и прибавочная ценность есть категория меновая, т.-е. создается в процессе обращения, обмена, и мы таким путем приходим к отрицанию всей марксистской экономической системы [2]).

По поводу изложенной трактовки абстрактного труда, как категории производственной, может быть сделано следующее «возражение»: производство и обмен, это — один и тот же процесс, или две стороны одного и того же процесса; поэтому столь острая постановка вопроса, которая только что была сделана, неосновательна. Но это недоразумение. Хотя производство и обмен — единый процесс, однако необходимо различать ступени или фазы этого процесса. Вот и спрашивается: абстрактный труд есть порождение какой фазы? Мы утверждаем: производственной. Итак труд абстрактный, это—реальная категория и притом производственного характера.

б) Далее. Кто же производит это абстрагирование от конкретных свойств труда? Кто им занимается? Происходит это не сознательно-рациональным путем,—эта абстракция совершается в обществе и, так сказать, самим этим безличным обществом; другими словами, абстрагирование происходит чисто стихийно, независимо от воли и сознания отдельных людей, и в этом смысле слова — бессознательно. Таким образом категория абстрактного труда — не рациональная категория, а стихийная, стихийно проявляющаяся и действующая. Абстрагирование же в нашей голове есть лишь отражение «абстрагирования» в реальной действительности.

---

[1]) «Ценность ее (рабочей силы), так же как и ценность всякого другого товара, была определена прежде, чем она вступила в обращение, так как известное количество общественного труда было наперед издержано для производства рабочей силы» (там же, стр. 106).

[2]) Мы уже вторично замечаем, что то или иное неправильное толкование абстрактного труда приводит к анти-марксистской позиции в самых существенных вопросах.

Отсюда становится совершенно понятной недопустимость столь распространенного суждения: «Абстрактный труд называется так потому, что **мы** абстрагируемся от качественной стороны труда». Абстрагирование производим не мы, а оно совершается в реальной действительности.

в) Но почему же, благодаря каким обстоятельствам, возникает, появляется эта категория (как реальное **явление**, которому соответствует в нашей голове определенное **понятие**) абстрактного труда? Как мы уже видели, это происходит потому, что **только** через такую **специфическую** форму может проявиться общественная значимость труда отдельных производителей в товарном обществе, т.-е. при определенном типе общественно-производственных отношений. Следовательно, в категории абстрактного труда выражаются общественно-производственные отношения между независимыми частными раз'единенными товаропроизводителями, и, таким образом, абстрактный труд оказывается категорией **социальной**. В этом отношении он не представляет собой исключения из ряда остальных экономических категорий. Но абстрактный труд является категорией социальной и в другом смысле слова. Дело в том, что, как мы уже видели, абстрактный труд, это — не индивидуальный труд, а труд общества: это не труд какого-либо индивидуума, какой-либо личности; он представляет собой трату общественной энергии, энергии общества в целом.

Итак, **третьей чертой категории абстрактного труда является его социальный характер**.

г) Таким образом, при какой же форме общества труд людей принимает оболочку труда конкретного? Как мы уже видели, это имеет место лишь в обществе раз'единенных, независимых, самостоятельных производителей — товаро-производителей. Отсюда следует, что абстрактный труд представляет собою категорию **историческую**, т.-е. временную, преходящую, присущую **только** обществу с товарным хозяйством.

Разумеется, **мыслить** абстрактный труд можно и во всяком организованном, напр., и коммунистическом, обществе, как можно **мыслить**, скажем, и о капитале; однако тогда это будет лишь чисто мыслительная категория, которой не будет ничего соответствовать в реальной действительности. А, между тем, при товарном хозяйстве абстрактный труд представляет собою не только **мыслительную**, но и вполне **реальную** категорию, дающую себя знать через механизм конкуренции всему стихийному товарному производству, являясь регулятором этого последнего. Эту мысль, имеющую громадное методологическое значение, Маркс развивает в том же «Einleitung»: «Труд, это—наиболее абстрактная категория. Столь же древним является представление о нем в этой всеобщности, как труда вообще. Однако экономический «труд», взятый в этой простейшей форме, есть столь же **современная** категория, как и **отношения, которые порождают эту простейшую абстракцию**...

Абстрактная категория «труда», «труда вообще», труда sans phrase, этот **исходный пункт современной** экономической науки, становится впервые практической истиной (или действительной, «practisch Wahr». *А. В.*) только здесь, в современнейшей из форм бытия буржуазного общества (в Соединенных Штатах).

Следовательно, «простейшая абстракция, которую современная экономия ставит во главу угла, и которая выражает древнейшее, для всех общественных форм, действующее отношение, становится в этой абстракции практически истинным только как категория современнейшего общества». Только здесь труд вообще выступает «не только в категории, но и в действительности» (см. «Введение», стр. 27—29, по цит. изд.), т.-е. становится экономической реальностью.

Как уже было выше отмечено, представление об абстрактном труде, как категории исторической, находится в полном противоречии со взглядом на этот вопрос большинства экономистов. Одни из них прямо подчеркивают вне-исторический (логический) характер категории абстрактного труда; другие, специально не отмечая этого момента, фактически придерживаются тех же взглядов, считая абстрактным трудом просто труд с количественной стороны.

А, между тем, как мы уже видели, абстрактный труд, это — не просто труд с количественной стороны. С количественной стороны может быть рассматриваем и всякий индивидуальный труд, затрачиваемый в определенно-полезной форме, т.-е. труд конкретный. Но это еще не превращает его в труд абстрактный. Последний представляет собою особый вид, особую специфическую форму труда при специфических общественно-производственных отношениях.

Итак, абстрактный труд представляет собою категорию реальную, стихийно-устанавливающуюся и проявляющуюся, социальную и историческую.

5. Значение раскрытия содержания категории абстрактного труда для характеристики категории ценности.

Абстрактный труд, по Марксу, определяет ценность, он «создает» ее, является ее основою. Отсюда следует: раз дано понимание, раскрыто содержание категории абстрактного труда, то тем самым уже дано понимание, раскрыто содержание и категории ценности-стоимости. Очевидно, она повторит в себе основные черты своего определителя, или своей основы.

Иначе говоря, ценность также представляет собою, во-первых, категорию реальную, т.-е. нечто, устанавливающееся и проявляющееся в реальной действительности, а не существующее лишь в нашей голове. Закон трудовой ценности дает себя знать в реальной действительности, в товарном хозяйстве, «как регулирующий естественный закон, на манер закона тяжести, когда над вашей головой обрушивается дом» («Капитал», т. I, стр. 31).

Отсюда ясно, что представление о ценности, лишь как об орудии познания, как категории, имеющей лишь чисто методологическое значение (Зомбарт и др.), совершенно не верно.

Такое представление, — помимо того, что оно является представлением не марксистским, — лишало бы анархическое товарное хозяйство единственного его регулятора, благодаря которому оно только и может существовать.

Далее, закон трудовой ценности устанавливается, действует и проявляется чисто стихийно, наподобие естественного закона, —

он не результат наших воль, а дан до них и вопреки им. Ценность, следовательно, не рациональная категория, она не вычислима бухгалтерским способом; она дана независимо от нашей воли. Поэтому, когда мы — при изучении политической экономии — занимаемся исчислением ценности в иллюстрирующих наши положения примерах, то это, разумеется, чисто условный прием.

Далее, в-третьих, ценность—есть категория социальная.

Это не вещь и не просто что-то материальное. Нет, она представляет собою выражение определенного типа общественно-производственных отношений. «В противоположность чувственно-грубому бытию товарных тел, бытие ценностей не заключает в себе ни одного атома материи». «Товары обладают ценностью лишь постольку, поскольку они являются выражением одной и той же общественной субстанции человеческого труда, — что, стало-быть, их бытие в качестве ценностей носит чисто общественный характер» («Капитал», т. 1, стр. 11).

...«Ценность, т.-е. нечто, имеющее чисто-общественный характер» (там же, 18).

Ценность — «это только определенное общественное отношение самих людей, которое принимает для них фантастическую форму какого-то отношения между вещами» (там же, 29).

Итак, ценность, как и абстрактный труд, представляет собою категорию социальную. Это есть выражение в вещной форме общественно-производственных отношений между раз'единенными частными товаропроизводителями, — эти отношения представляются последним, как отношения между вещами, как свойства и результат самих вещей (товарный фетишизм).

Наконец, поскольку ценность есть выражение абстрактного труда, — категории чисто исторической, — поскольку, благодаря этому, она представляет собою выражение определенных, исторически-преходящих общественно-производственных отношений, — постольку и сама она является категорией чисто исторической, временной, преходящей, присущей только товарному обществу.

«Продукт труда при всяких общественных условиях есть предмет потребления; но лишь исторически-определенная эпоха, делающая затраченный на производство какого-нибудь полезного предмета труд его «об'ективным» свойством, т.-е. его ценностью, превращает продукт труда в товар» («Капитал», т. I, стр. 21).

«В обществе, основанном на принадлежности средств производства всему обществу..., труд, употребленный на производство, не проявляется в виде ценности, как бы свойственной самим продуктам» (Маркс, «Критика Готской программы», изд. 1919 г., стр. 15).

Совершенно то же самое отмечает Энгельс. Общество, — говорит он, — в котором будет введено обобществленное производство на основе общности владения средствами производства, «не станет приписывать продуктам... какой-нибудь ценности... Люди сделают тогда все очень просто, не прибегая к услугам знаменитой «ценности»... Понятие ценности является наиболее всеобщим и потому наиболее полным выражением экономических условий

товарного производства» («Анти-Дюринг», изд. Петр. Совета, 1918, стр. 276—277) [1]).

Итак, ценность есть категория историческая и социальная. А так как ценность является вместе с тем и основой, стержнем всей политико-экономической системы, то тем самым и политическая экономия ставится на исторические и социальные рельсы: это наука историческая (т.-е. имеющая свой об'ект лишь в определенно-историческом типе общества) и социальная, исследующая не естественно-технические явления, а общественные отношения. И, действительно, все ее основные категории — деньги, капитал, зарплата, рента и т. д.—представляют собой не что иное, как определенные исторически-преходящие общественно-производственные отношения, скрывающиеся под вещной оболочкой, принимающие форму отношений между вещами [2]).

Итак, с точки зрения того понимания абстрактного труда, которое было выше изложено, абстрактный труд оказывается основной, решающей категорией политической экономии. Он становится основанием всей системы нашей науки и ее исходным пунктом. Такое его место и значение вполне совпадают с заявлениями на этот счет самого Маркса (см. выше).

Вместе с тем, абстрактный труд и ценность оказываются тесно, даже более, — неразрывно связанными друг с другом: одна категория без другой не существует. Какое же между ними взаимоотношение? Абстрактный труд является «созидающей ценность субстанцией», т.-е. он «создает» ценность («Капитал», т. I, стр. 4, 10, 14 и мн. др.), определяет ее. Ценность же представляет собою форму выражения абстрактного труда. Ценность товара — это об'ективированный в нем, овеществленный общественный (абстрактный) труд, это — труд в застывшем состоянии, в вещной форме (см. стр. 14, 31, 35, 42, 56, 94 и мн. др. первого тома «Капитала»).

То же Маркс говорит и в других томах.

Напр.: «Ценность... есть не что иное, как овеществленный труд» (т. II, М. 1918 г., стр. 200). «Ценность есть не что иное, как овеществленный общественный труд» (т. III, 2, ГИЗ, 1923, стр. 360). «Ценность—овеществленный труд» (стр. 388). «Ценность товаров, т.-е. количество труда, об'ектированного в них» (396,—в переводах стоит «стоимость»).

Таким образом абстрактный труд создает, определяет ценность, последняя же представляет собою об'ектированное (в вещи) выражение первого. И, вместе с тем, та и другая категория выражают определенные, исторически-преходящие социальные отношения.

---

[1]) Из сказанного ясно, что ни о какой ценности в условиях социалистического хозяйства не может быть и речи. Здесь мы имеем категорию трудовых затрат, соответствующую конкретному труду.

[2]) Отсюда—заметим в скобках—ясно, что попытки некоторых наших новейших методистов—растворить политико-экономические категории в технических или смешать первые со вторыми,—если и могут быть, при известных условиях, оправданы с методической точки зрения, то совершенно недопустимы с методологической стороны,— и в этом отношении могут быть заслуженно квалифицированы как «покушения с негодными средствами». Ничего, кроме беспардонной вульгаризации и извращения марксизма, из подобных попыток получиться не может.

6. Ссылки на Маркса.

Изложенное выше понимание абстрактного труда, как категории исторической, отнюдь не является общепризнанным в марксистской литературе. Более того, абсолютное большинство авторов стоит на определенно противоположной позиции. А, между тем, представление об абстрактном труде, как об исторической социальной категории, только и соответствует—по нашему глубокому убеждению—духу и смыслу учения Маркса. Но, ввиду спорности и важности вопроса, мы постараемся подкрепить эту точку зрения буквой марксизма, буквальными выражениями самого Маркса.

Это тем более легко сделать, что у Маркса имеется множество заявлений на этот счет, не оставляющих никаких сомнений по своей ясности. Приходится только поражаться близорукости большинства экономистов.

Можно было бы привести из одного первого тома «Капитала» десятки мест, которые допускают только одно понимание и толкование, а именно, что абстрактный труд—категория товарного хозяйства. Ограничимся лишь несколькими цитатами,— и их будет достаточно.

«Тот факт, что специфическое общественное свойство независимых одна от другой частных работ состоит в их равенстве— в качестве человеческого труда вообще, и что это свойство получает форму ценности продуктов труда—этот факт имеет силу лишь для данной особой формы производства, для товарного производства («Капитал», т. I, стр. 31).

Выясняя исторически-преходящий характер товарного фетишизма, прослеживая его корни, Маркс рассматривает различные типы общественных формаций, между прочим и «мрачное европейское средневековье», с его крепостнической системой хозяйства. «Но именно потому, что отношения личной зависимости составляют основание всего этого общественного строя, человеческому труду и его продуктам нет надобности принимать отличный от их сущности фантастический вид. Они фигурируют в механизме общественных отношений в виде натурального труда и натуральных повинностей. Непосредственной общественной формой труда является здесь его натуральная форма, т.-е. труд выступает в своих частных формах, как та или иная определенная работа (следовательно, как труд конкретный. *А. В.*), а не своей общей форме, не как человеческий труд вообще, что имеет место в общественном строе, основанном на товарном производстве» [1]) (там же, стр. 33).

Следовательно, при натуральной системе хозяйства, в организованном обществе, труд выступает в своих частных формах, как та или иная определенная работа, т.-е. как труд конкретный.

Он не выступает здесь в форме абстрактного труда («человеческий труд вообще»), что имеет место лишь при товарном хозяйстве.

Но хотя крепостной труд—при натуральной системе хозяйства—не выступает в форме труда абстрактного, а остается

[1]) «Человеческий труд вообще» является для Маркса в I томе синонимом труда абстрактного. См. стр. 8, 9, 10, 13 и др.

просто трудом конкретным, однако «крепостной труд так же хорошо измеряется временем, как и труд, производящий товары» (там же) [1]).

Точно также и при общинной форме производства, более близкий пример которого «представляет деревенское патриархальное производство людей крестьянской семьи», труд не принимает форму абстрактного труда, а выступает в своей конкретной оболочке.

Маркс разъясняет это следующим образом:

Община-семья «производит для собственных потребностей хлеб, скот, пряжу, холст, одежду и т. д. Эти различные предметы являются для данной семьи различными продуктами ее семейного труда, но они не выступают друг против друга как товары. Различные, направленные на производство этих продуктов виды труда, каковы: земледелие, скотоводство, прядение, тканье, шитье и т. д., представляют собою в своей натуральной форме общественные функции, являясь функциями семьи... Различие пола и возраста, а также и изменения в естественных условиях труда, связанные с различиями времен года, регулируют распределение труда в семье и рабочее время отдельных ее членов. Измеряемая продолжительность времени, затрата индивидуальных рабочих сил является здесь прямо как общественный фактор, определяющий самый труд, так как индивидуальные рабочие силы функционируют тут прямо, как органы совокупной рабочей силы семьи» (там же, стр. 33—34).

Совершенно ясно, что труд отдельных членов семьи выступает в своей конкретно-индивидуальной форме, а не выступает в качестве труда абстрактного. Почему? Да потому, что общественная (в данном случае—общинная) значимость индивидуальных рабочих сил проявляется здесь непосредственно: «различные виды труда представляют собою в своей натуральной форме общественные функции», так как каждый из участников хозяйства семьи выполняет определенную полезную работу,—тогда как общественная значимость частного индивидуального труда в обществе автономных товаропроизводителей может проявиться, как мы видели выше, лишь через обмен, меновой акт, и благодаря этому частный конкретный труд выступает в оболочке или в форме труда абстрактного.

Переходя к анализу характера труда в обществе, представляющем собою «союз свободных людей, которые работают общими орудиями производства и все свои индивидуальные рабочие силы сознательно расходуют, как единую общественную рабочую силу» (34), т.-е. в обществе социалистическом,—Маркс опять-таки показывает, что труд отдельных участников производства проявляет свою общественную значимость в своей конкретной форме, а не абстрактной, и это как раз потому, что различные функции сознательно закрепляются за данным лицом.

Следовательно, во всяком не-товарном обществе труд остается и выступает лишь как труд конкретный. Но, как это совершенно ясно уже из приведенных цитат, конкретный труд,

---

[1]) Следовательно, конкретный труд может быть рассматриваем и с количественной стороны, но это еще не делает его абстрактным.

согласно Марксу, также может измеряться и измеряется с своей количественной стороны,—измеряется продолжительностью времени, в течение которого он затрачивается. Однако это еще не делает его трудом абстрактным. Отсюда вытекает неправильность двух довольно распространенных мнений: 1) будто труд конкретный имеет лишь качественную сторону,—нет, он имеет *и* количественную (но не только количественную) сторону; 2) будто труд абстрактный—это всякий труд, рассматриваемый с количественной стороны,—нет, с количественной стороны может быть рассматриваем и любой конкретный труд, и однако это еще не делает его абстрактным [1]).

Тот же самый момент, т.-е. исторический характер категории абстрактного труда, Маркс неоднократно выясняет и ранее, еще в «Критике политической экономии».

Так, напр., он рассматривает характер труда в земледельческом патриархальном производстве, в хозяйстве средних веков (барщина и натуральные повинности), в общинном производстве и, наконец, при товарном производстве (см. по цит. изд. стр. 46—47).

Оказывается, что только в меновом обществе труд частного обособленного лица становится общественным тем путем, что он «принимает форму непосредственной своей противоположности, форму абстрактной всеобщности». «Как целесообразная деятельность, направленная на присвоение элементов природы в той или иной форме, труд составляет естественное условие человеческого существования, не зависящее ни от каких общественных форм, условие обмена веществ между человеком и природой. Напротив, труд, создающий меновую ценность (в «К критике...» Маркс еще не различал содержание ценности—«ценность»—от формы проявления ценности—«меновой ценности». *А. В.*). является специфически общественной формой труда. «Напр., труд портного в своей материальной определенности, как особая производительная деятельность, производит одежду, а не ее меновую ценность. Последнюю он производит не как труд портного, но как отвлеченный всеобщий труд, а этот труд зависит от общественного строя, которого портной не произвел» («К критике...». стр. 50).

В другом месте он замечает:

«Характер труда, создающего меновую ценность,—специфически буржуазный» (70).

Наконец, еще одно место: в эпоху феодализма «большая часть национального производства... служила непосредственным источником потребления самих производителей. Продукты не превращались, по большей части, ни в товары, ни в деньги, но входили вообще во всеобщий общественный обмен веществ, не являлись поэтому овеществлением всеобщего абстрактного труда и не составляли в действительности буржуазного богатства» (155—156). Замечание по своей ясности не оставляет желать ничего большего.

Если мы еще вспомним место из «Einleitung», приведенное раньше, то можем без всяких сомнений считать, что трактовка

---

[1]) К вопросу об историческом характере абстрактного труда см. в I т. «Капитала», стр. 6, 7, 10—11, 12, 13, 19, 20, 23, 25 и др.

абстрактного труда, как категории исторической, не только соответствует д у х у марксизма, рассматривающего все основные политико-экономические категории именно, как исторические и социальные, но вполне подтверждается и его б у к в о й.

7. Понимание абстрактного труда в физиологическом смысле.

Как же, после всего сказанного, приходится относиться к ф и з и о л о г и ч е с к о й трактовке абстрактного труда? Нужно ли и можно ли придавать абстрактному труду еще и физиологическое толкование?

По нашему мнению, и нужно, и можно.

Прежде всего н е о б х о д и м о сохранить и физиологическое понимание абстрактного труда, и по следующим основным соображениям:

Во-первых, уже из самого метода выявления категории абстрактного труда ясно, что мы не имеем никакого основания отбрасывать физиологическую сторону абстрактного труда. В самом деле, каким путем мы приходим к выявлению этой категории? Как мы уже видели выше (см. § 4), это происходит путем отвлечения от конкретных видов труда всех каких бы то ни было к а ч е с т в е н н ы х элементов, связанных с личностью, профессией или специальностью и т. д. Словом, происходит отвлечение от всевозможных форм, в которых затрачивается труд, но не от самого труда, как безличной, безразличной общественной субстанции. Последняя остается,—отвлечения от физиологической стороны абстрактного труда не происходит, и отбрасывать ее совершенно незакономерно.

Во-вторых, общеизвестно, что у самого Маркса мы встречаем резкое подчеркивание физиологического характера труда, созидающего ценность, как «затраты человеческой рабочей силы в физиологическом смысле» (т. I, стр. 8, 10 и др.).

Следовательно, если бы мы отказались от такого понимания, то рисковали бы впасть в противоречие с буквой марксизма. Но это еще не было бы большой бедой. Гораздо важнее третье основание.

Ц е н н о с т ь, р е г у л и р у ю щ а я ц е н ы, может быть и должна быть рассматриваема со стороны ее субстанции, сущности и со стороны количественной. Субстанцию ценности составляет абстрактный труд, а измеряется ценность общественно-необходимым рабочим временем.

Но если мы будем понимать абстрактный труд и тем самым ценность исключительно как общественно-производственное отношение, не связанное в своем существовании с материально естественной формой, т.-е. если мы откажемся от трактовки абстрактного труда *и* в физиологическом смысле, то каким же образом мы сможем в таком случае говорить о в е л и ч и н е ценности, о ее количественной стороне? Ведь, общественно-производственное отношение не измеряется секундами, минутами, часами и т. д. Они не могут быть основою количественных соотношений обмениваемых товаров.

Иначе говоря, при таком положении вещей у нас не будет никаких оснований говорить о ценности с количественной стороны, не будет, следовательно, никаких оснований и для выражения в числовых величинах перехода ценностей в цены про-

изводства и т. д., и, вместе с тем, закон трудовой ценности не может являться регулятором стихийного анархического хозяйства. Словом, падает вся теория ценности, оказываясь пустым измышлением, вымыслом.

Рубин, отвергающий даже всякий намек на физиологичекое понимание абстрактного труда, полагает, что он избегнет казанного затруднения, если скажет, что «понятие абстрактного труда должно быть развито в связи с качественною стороною ценности (в смысле социологической ее стороны. *А. В.*). Величина же ценности находит свое выражение в понятии общественно-необходимого труда» («Очерки», стр. 95).

Но это совершеннейшее недоразумение. Общественно-необходимый труд (а точнее, общественно-необходимое время) представляет собою лишь меру ценности. Но, очевидно, субстанция измеряемого—в данном случае ценности—дана до и помимо всей меры (нельзя с помощью меры длины измерять то, что само не имеет длины и т. д.). Что же это за субстанция? Мы же говорили, что в форме ценности труд лишается всяких своих качественных особенностей, он отрешается от своих конкретных форм—он становится трудом безличным и безразличным, вне-специальным. А это и есть труд абстрактный.

Другими словами, общественно-необходимое время, являющееся мерою величины ценности, не может иметь об'ектом своего измерения труд конкретный,—как потому, что он не составляет субстанцию ценности, так и потому, что он является трудом индивидуальным, частным и качественно различным.

«Потребительная ценность или благо имеет... ценность лишь потому, что в ней осуществлен, материализован абстрактный человеческий труд. Как же, однако, измерить величину этой ценности? Посредством количества содержащейся в ней созидающей ценность субстанции», т.-е. труда» («Капитал», т. I, стр. 4).

Но этой субстанцией, как только что было сказано, является труд абстрактный.

«Труд, измеряемый, таким образом, временем, выступает в действительности не как труд различных индивидуумов, но скорее различные трудящиеся индивидуумы выступают, как простые органы этого труда. Другими словами, поскольку труд проявляется в меновых ценностях, он может быть представлен, как всеобщий человеческий труд» («К критике...», стр. 44), т.-е. как труд абстрактный.

Из этих слов Маркса с исчерпывающей определенностью следует, что абстрактный труд—в форме ценности—подвергается измерению (разумеется, в стихийном процессе рыночных отношений) и, таким образом, должен быть рассматриваем и с количественной стороны. А отсюда, в свою очередь, следует, что он не может быть рассматриваем только с социальной стороны, т.-е. только как выражение определенного типа производственных отношений,—ибо последние, взятые сами по себе, количественно не измеряются,—он должен быть вместе с тем и выражением специфической физиологической субстанции. Таким образом, вопреки Рубину, оказывается, что определить величину ценности с помощью одного лишь понятия общественно-необходимого труда,—без связи с трудом абстрактным, абсолютно невозможно: в понятии общественно-

необходимого труда величина ценности своего выражения не находит.

Однако что же представляет собою абстрактный труд в физиологическом смысле? Обычно в этом случае определяют труд абстрактный, как затрату мозга, мускулов, нервной энергии и т. д. Но такое определение неточно, неясно, а в известном смысле и неверно. Ведь, труд абстрактный—это безличный,—не индивидуальный, а общественный труд. Следовательно, он представляет собой трату общественной энергии, энергии общества. Общество в целом—бессуб'ектное, единое товарное общество—затрачивает свою энергию на производство единицы определенного товара. Поэтому—«мозг, мускулы, нервы и т. д.» приобретают здесь несколько иной характер: это просто трата общественной энергии, измеряемой продолжительностью времени, в течение которого производится эта затрата. Другими словами, абстрактный труд—это общественная субстанция, общественная материя. Именно так понимал это Маркс,—так он постоянно и выражался.

Несколько примеров:

В товарах накоплен абстрактный человеческий труд. «В качестве кристаллов этой общей всем им общественной субстанции они являются ценностями, товарными ценностями» («Капитал», т. I, стр. 3—4).

«Товары обладают ценностью лишь постольку, поскольку они являются выражением одной и той же общественной субстанции человеческого труда» (стр. 11). «Ценность, как таковая, не имеет никакой иной «материи», кроме самого труда» (письмо к Энгельсу от 2 апреля 1858 г.).

«В форме ценности товар отрешается от всякого следа своей естественной потребительной ценности и от того частного вида полезного труда, которому данный товар обязан своим происхождением, и превращается в однообразную общественную материю безразличного человеческого труда» («Капитал», т. I, стр. 56).

Итак, абстрактный труд, это—«однообразная общественная материя безразличного человеческого труда». Это далеко не одно и то же с вульгарно-понимаемыми «мускулами, мозгом, нервами» и т. д.

Но не является ли вопиющим противоречием представление об абстрактном труде, как социальной категории, с пониманием его и в физиологическом смысле,—в только что указанной трактовке?

Так именно полагает Рубин в своих «Очерках по теории стоимости Маркса». Он ставит вопрос таким образом: или абстрактный труд категория историческая и социальная,—и тогда он не может представлять собою затрату человеческой энергии в физиологическом смысле; или категория физиологическая, но тогда она не может быть социальной и исторической.

Такая альтернатива нам представляется вовсе не обязательной. Мало того, она абсолютно неверна.

Все основные политико-экономические категории, будучи по своему существу выражением определенных социально-производственных отношений, в то же время выявляются или проявляются в вещной форме, или материально-естественной форме. Другими словами, эти общественно-производственные отношения одевают

материально-естественную или вещную маску, **и иначе проявляться они не могут**.

Например, деньги выступают прежде всего как вещь. Но оказывается, что это особая, специфическая общественная вещь,—в ней и через нее выражаются определенные социальные отношения.

Следовательно, из того, что деньги представляются на первый взгляд в виде вещи, не следует, что они перестают быть категорией социальной и исторической.

То же самое с капиталом. Он также на первый взгляд представляется какими-то вещами (деньги, средства производства, товары и т. д.).

На самом же деле это—общественно-производственное отношение между классами капиталистов и наемных рабочих,—отношение, которое проявляется в вещах и придает этим последним характер особых «общественных» вещей. Но, благодаря этому сращиванию социального содержания с вещной оболочкой, капитал не становится категорией вне-исторической.

Совершенно то же самое мы имеем в отношении заработной платы, ренты, прибыли и др. экономических категорий. Все они имеют двойственную форму бытия. Это общий закон политической экономии.

Точно также и абстрактный труд. представляя собой обезличенную общественную материю, в то же время является в этой своей специфической и исторической форме выражением общественно-производственных отношений между независимыми самостоятельными товаропроизводителями. Это две стороны одного и того же явления. И обе стороны неразрывно связаны друг с другом. Здесь нет никакого противоречия, как нет никакого противоречия и в том, что ценность является социальной категорией и в то же время определителем меновых пропорций цен товаров. Ценность представляет собою выражение общественно-производственных отношений между независимыми товаропроизводителями, происходящее в форме приравнивания продуктов их труда.

Заметим, между прочим, что даже если бы мы рассматривали абстрактный труд только с его физиологической стороны (что уже само по себе неверно) в вышеуказанном смысле, то и в этом случае абстрактный труд окажется чисто-исторической категорией: как мы уже видели из слов самого Маркса, ни в одной из общественных формаций, кроме товарного общества, не происходит в реальной действительности стихийного отвлечения от индивидуальных видов труда их качественных индивидуальных особенностей. Другими словами, труд не выступает нигде, кроме товарного общества, в форме «однообразной общественной материи безразличного человеческого труда».

Итак, мы полагаем, что и необходимо и допустимо рассматривать абстрактный труд и в физиологическом смысле, не упуская при этом из виду специфической «физиологичности».

8. Абстрактный труд и деньги.

Из сказанного выше мы убедились, что абстрактный труд, определяя характер ценности, а тем самым и всей политической экономии, выступает в качестве основной и исходной катего-

рии нашей науки. Уже в этом одном сказывается его величайшее значение. Однако роль абстрактного труда на этом не кончается.

Как известно, политическая экономия вплоть до Маркса оставалась в тупике перед загадкой денег, «ослепляющих взор своим металлическим блеском». Насколько безнадежно путалась в этом вопросе буржуазная политическая экономия, хорошо характеризуется приводимым Марксом шутливым замечанием Гладстона, что «даже любовь не сделала большего числа людей глупцами, чем размышление над существом денег» («К критике...», стр. 57).

И только Маркс смог разрешить загадку денежного фетиша своим анализом форм ценности. По этому поводу он сам говорит таким образом: «Нам предстоит исполнить задачу, к которой буржуазная политическая экономия даже не приступала, а именно—представить генезис (этой) денежной формы, т.-е. проследить развитие ценности, как выражения менового отношения товаров, начиная с простейшей и наименее видной и кончая ослепительной денежной формой. Вместе с этим раз'яснится и та загадка, которую представляют собой деньги («Капитал», т. I, стр. 11).

Роль денег в товарном хозяйстве столь исключительно велика, что если бы Маркс только и сделал в политической экономии, что вскрыл сущность денег, то и тогда он явился бы одним из самых замечательных творцов нашей науки.

Всякий, кто хоть сколько-нибудь знаком с анализом форм ценности, данным Марксом в первой главе первого тома «Капитала», знает, что без категории абстрактного труда не только не мог бы быть дан этот анализ, но даже нельзя было бы поставить правильно и вопрос о нем.

Анализ форм ценности, как уже было сказано, помог Марксу вскрыть сущность денег и этим совершить гениальное открытие. Оказалось, что деньги—это тот же товар, но товар, играющий роль всеобщего эквивалента, т.-е. роль видимого соизмерителя ценностей всех товаров.

Но что делает все товары соизмеримыми? Затрачиваемый на их воспроизводство труд. Какой труд? Не конкретный,—так как различные конкретные виды труда, как применяемые в различных процессах труда или различных отраслях производства, имеют качественные различия, а потому не могут служить эквивалентами, так как эквивалентность есть чисто количественный момент. «В деньгах нельзя рассмотреть, какого рода товар превращен в них» («Капитал», т. I, 56). Следовательно, нельзя рассмотреть и того, какой труд был в них воплощен. «В форме денег один товар совершенно походит на другой» (там же). А следовательно, и различные виды труда походят один на другой, т.-е. превращаются в одинаковый безличный безразличный человеческий труд, т.-е. труд абстрактный.

Таким образом, что делает все товары соизмеримыми, так это труд абстрактный. Другими словами, именно он является реальным, действительным всеобщим эквивалентом.

Следовательно, деньги—это лишь видимый, вещный заместитель или выразитель абстрактного труда, его олицетворение в вещной форме.

еньги, говорит Маркс,—это «наилучшая адекватная форма лвения ценности или овеществления абстрактного, а у одинакового человеческого труда» («Капитал», т. I, стр. 42). в другом месте: Натуральная форма денег «есть вместе м непосредственная общественная форма воплощения рактного человеческого труда» («Капитал», т. I, стр. 81). гсюда совершенно понятно, что только на мировом рынке, эньги сбрасывают с себя всякие местные отличия, «форма ществования приходит в вполне точное соответствие с их , делается ей адекватной» (там же). Другими словами, деньги становятся полным подобием труда абстрактного, ак, подобно последнему, выступают исключительно с колиэнной стороны, лишенные всяких качественных признаков,— о здесь они выражают собою безразличную общественную ию, человеческий труд в его специфически-исторической).

аналогичных формулировках Маркс выражает сущность и в других местах (см., напр., «К критике политической мии», стр. 68, 75, 106 и др.; том III Капитала», кн. 2, 48, 418 и др.).

деланное Марксом открытие Роза Люксембург характеритакими словами:

..«Абстракция Маркса не выдумка, а открытие... она сущет не в голове Маркса, а в товарном хозяйстве... она живет ображаемой, а реальной и общественной жизнью, и это ее ствование настолько реально, что ее режут, куют, взвеши и чеканят. Этот открытый Марксом абстрактный человечетруд в своей развитой форме есть не что иное, как деньги. о именно составляет одну из самых гениальных экономичеоткрытий Маркса, между тем как для всей буржуазной мии, от первого меркантилиста до последнего классика, ическая сущность денег оставалась постоянно книгой за печатями» («Реформа или революция», изд. Петрогр. Со 1919 г., стр. 64).

в другом месте она же замечает: «Лишь Маркс впервые увив стоимости особое общественное отношение, возникающее определенных исторических условиях; он пришел вследствие к разграничению между обеими сторонами труда, создаютовар: между конкретным, индивидуальным и безразличным ственным трудом,—к разграничению, благодаря которому ние денежной загадки бросилось в глаза, как при свете ительного фонаря» («Накопление капитала», Госиздат, г., стр. 32).

акпм образом в форме денег абстрактный труд тупает как всеобщая и господствующая катеия товарного общества.

Но, ведь, что такое абстрактный труд? Мы уже говорили, это социальная категория,—в ней выражается определенный производственной связи между людьми, определенный тип ственно-производственных отношений, именно: между незамыми автономными товаропроизводителями. А раз деньги— олицетворение абстрактного труда, то, следовательно, также представляют собою категорию социальную, а вместе и историческую.

«Деньги — общественное отношение, выраженное в вещи» («Финансовый капитал» Гильфердинга, 1923 г., стр. 17).

Деньги—это вещное выражение социальных отношений.

«Денежная форма вещи для нее самой представляет нечто внешнее и есть лишь форма проявления скрытых за ней человеческих отношений» («Капитал», т. I, стр. 43).

Из развитого понимания сущности денег, как формы проявления или выражения абстрактного труда и тем самым определенных социальных отношений, непосредственно вытекает подтверждение той точки зрения, что абстрактный труд должен быть рассматриваем и с специфически-физиологической стороны, а вместе с тем это радикально опровергает взгляд Рубина.

В самом деле, раз единственное, что делает товары соизмеримыми, это абстрактный труд, то совершенно ясно, что он может выполнять эту функцию лишь в том случае, если он имеет и количественную сторону. Но если мы будем рассматривать абстрактный труд только как производственное отношение, не выявляющееся чрез превращение труда в безразличную общественную материю, то абстрактный труд роли всеобщего эквивалента не может играть, так как производственные отношения не могут измеряться, во всяком случае не могут служить эквивалентом,—а, следовательно, товары теряют единственный свой измеритель, они перестают быть соизмеримыми.

Таким образом теория денег лишний раз подтверждает развитую ранее мысль о том, что абстрактный труд должен быть и может быть соизмеримым.

«Товары становятся соизмеримыми не благодаря деньгам. Наоборот: так как товары, как ценности, суть овеществленный человеческий труд (мы знаем уже, что это — труд абстрактный. *А. В.*), а потому сами по себе соизмеримы, все они могут измерять свою ценность одним и тем же специфическим товаром и, таким образом, превратить его в общую меру ценности или в деньги» (там же, 45).

Другими словами, не потому товары соизмеримы, что существуют деньги, а потому возможны деньги, что товары уже до них соизмеримы, так как в них заключается общая, одинаковая субстанция — безразличный человеческий труд (абстрактный труд).

Вместе с тем падает попытка Рубина опираться—при рассмотрении количественной стороны ценности—лишь на категорию общественно-необходимого труда. Деньги, этот всеобщий эквивалент, всеобщий определитель меновых пропорций, являются выражением именно абстрактного труда, а не общественно-необходимого.

Абстрактный труд — субстанция ценности, общественно-необходимое время — мера этой субстанции, измеритель ее величины.

9. Абстрактный труд и товарный фетишизм.

Как известно, в системе Маркса играет колоссальную роль теория товарного фетишизма. Это учение Маркса является гениальнейшим открытием, что признают почти единодушно даже его противники.

Теория товарного фетишизма «вскрывает иллюзию человеческого ума, грандиозное заблуждение» (Рубин, 4), вызванное тем, что в товарном обществе устанавливается господство вещей над человеком и овеществление отношений между людьми, т.-е. происходит, пользуясь выражением Маркса, «обобществление вещей и овеществление лиц». А, благодаря этому, человеческое сознание впадает в величайшую иллюзию, приписывая вещам свойства, которые в действительности являются результатом определенных общественно-производственных отношений.

Эта социологическая концепция Маркса имеет громаднейшее методологическое значение, отделяя поле исследования политической экономии от других наук и тем самым устанавливая об'ект нашей науки.

И вот оказывается, что эта теория товарного фетишизма вытекает из того же учения о двойственном характере труда, заключенного в товарах. Основа соизмеримости ценности товаров,— абстрактный труд, в них заключающийся,—является категорией иррациональной, в смысле «стихийной».

Он действует и проявляется стихийно. Наглядно люди его заметить не могут. Вычислить его с помощью каких-либо бухгалтерских способов также невозможно. Словом, истинная подоплека товарных взаимоотношений остается для людского глаза начисто скрытой, благодаря чему и создается иллюзия, о которой только что было сказано.

Такое понимание связи теории товарного фетишизма с проблемой абстрактного труда находится в полном соответствии с заявлением самого Маркса: «Фетишизм товарного мира вытекает, как уже показал предыдущий анализ, из своеобразного общественного характера труда, который производит товары»,— равенства частных работ в их абстрактной форме («Капитал». т. I, стр. 29).

Итак, и методология политической экономии оказывается в теснейшей связи с той же проблемой абстрактного труда. Этим лишний раз подчеркивается, что категории абстрактного труда, столь неосновательно забываемой экономистами и находящейся в полном пренебрежении, должно, наконец, уделить достаточное внимание. Если, по выражению Бухарина, «теоретический костяк, т.-е. определенная сумма теоретико-абстрактных положений, нами выставляется на первый план»... и «служит нашей теоретической опорой», которую необходимо все более совершенствовать и отшлифовывать,—то в применении к политической экономии необходимо помнить, что в этом костяке категория абстрактного труда занимает основное исходное положение.

Правильное разрешение проблемы абстрактного труда ставит на правильные рельсы всю систему политической экономии.

У истоков трудовой теории ценности.

(К истории развития экономического учения А. Смита).

В. Позняков.

Нужно в общем признать, что история политической экономии до сих пор еще не написана. Правда, мы имеем целый ряд всевозможных курсов и отдельных исследований буржуазных экономистов, предметом которых является как раз история политической экономии; и, тем не менее, когда соприкасаешься близко с тем или иным моментом развития экономической мысли, поневоле приходишь к этому выводу. Ибо все эти курсы и истории очень далеки от научно-об'ективного исследования и изложения. С одной стороны, это обстоятельство коренится просто в неспособности буржуазного экономиста об'ективно оценить и даже просто представить себе взгляды того или иного экономиста (это, в особенности, относится в отношении к представителям трудовой теории ценности), с другой же стороны, мы встречаемся и с заранее поставленной целью, — путем историко-экономических изысканий подвести фундамент под заранее данную школу или направление буржуазной экономии.

Как это ни звучит на первый взгляд парадоксально, но, действительно, об'ективную историю политической экономии может дать только марксист; лишь сторонник «классовых» теорий (с точки зрения буржуазной экономии) способен дать об'ективно-научное исследование хода развития экономической мысли. Ибо в современный исторический момент е г о классовая истина необходимо совпадает с об'ективной истиной. Именно, применение марксистского метода дает ему возможность, с одной стороны, понять истинный характер экономических построений тех или иных, в том числе и буржуазных, экономистов, а также, с другой стороны, и установить их действительное значение в развитии экономической науки вообще.

Мы далеки от намерения писать такую историю; мы думаем остановиться здесь только на одном, но при том очень интересном моменте этого развития. Вместе с тем, дальнейшее послужит и некоторой иллюстрацией к выставленному выше общему положению.

Основная проблема всей политической экономии — это, без сомнения, теория ценности. Трудовая теория ценности, получившая свою законченную форму у Маркса, в сколько-нибудь развитом и более или менее связном виде была впервые изложена Смитом. Что важнее, у Смита она легла в основу целой экономической системы, правда, не без значительных противоречий. От-

сюда вполне понятно то крупное место, которое занимает Смит в истории политической экономии. Но в то же время именно при определении развитой им теории ценности, исследователи встречают наибольшие трудности. И, однако, и сама теория ценности Смита, и история этой теории, по большей части, совсем отсутствуют в обычных «историях» политической экономии. То, что излагается там под видом теории Смита, обычно представляет не взгляды самого Смита, а то, что считает нужным вложить в его уста данный историк. Мы попытались в своей работе о теории ценности и прибыли А. Смита [1]) дать представление о действительных взглядах Смита по этим вопросам. Конечно, наше понимание и изложение также суб'ективны; насколько они в то же время и об'ективны, об этом пусть судит читатель. Но в ожидании этой оценки, мы хотели бы здесь отметить и исправить некоторые несоответствия «об'ективности» в нашей работе. Такие несоответствия в ней имеются. Но вина в том не в нашем «суб'ективном» подходе, а в суб'ективных построениях некоторых историков экономической мысли; каемся, тогда мы им поверили на слово, но иного нельзя было и требовать от нашей, по существу, ученической работы.

В ней мы, между прочим, писали: «Исследование о богатстве народов появилось в 1776 году, но в существенном экономическое учение Смита было выработано к 1763 г., к каковому времени относится найденный в 1896 г. курс лекций, читанный Смитом в Глазго» [2]). Это положение совершенно не соответствует действительности; нас ввел в заблуждение Ш. Жид, который в своей «Истории экономических учений» утверждал: «В своем, читанном в Глазгове «Курсе», он (т.-е. Смит. *В. П.*) касается лишь вопроса о производстве богатств» [3]). В другом же месте он говорит: «Известно, впрочем, что теория распределения Смита менее всего оригинальна: он, так сказать, пристегнул ее к своей первоначальной концепции, где главное место занимало изучение производства. Легко убедиться в этом, сравнив «Богатство народов» с «Курсом» лекций, читанных Смитом в Глазгове в 1763 г.; в последнем речь идет только о производстве» [4]). Только под влиянием физиократов Смит, по словам Ш. Жида, включил теорию распределения богатств в свой первоначальный план. Но у Жида мы находим и след. слова: «Поскольку, по его мнению (т.-е. по мнению Смита. *В. П.*) стоимость производства является регулятором цены, поскольку анализ стоимости производства, изучение причин, определяющих размер заработанных плат, прибыли и ренты, является делом первостепенной важности» [5]). Отсюда мы и сделали вышеприведенный вывод; полагаем, что мы имели на это некоторое право. Тем более, что эти лекции («Juris Prudence or Notes from the Lectures on J u s t i c e, P o l i c e, R e v e n u e, and A r m s delivered in the University of Glasgou by Adam Smith Professor of Moral

---

[1]) «Проблема ценности и прибыли в учении А. Смита». Статья в сборн. «Проблемы теоретической экономии». М. 1925.

[2]) Ук. ст., стр. 2[illegible] – 29.

[3]) Русск. пер. М. 1914, стр. 30.

[4]) Ук. с., стр. 45. Добавим, что в действительности дело обстоит скорее наоборот.

[5]) Там же.

Philosophy». MDCCLXVI), найденные в 1896 г. и опубликованные в том же году [1]) остались совершенно неизвестными в нашей экономической литературе. Если мы развернем хотя бы «Историю экономических учений» Лященко [2]), то мы там не найдем ни малейшего указания на то, что эти лекции были известны их автору. С самими «Лекциями» в то время мы не были знакомы; повторяем, что это была ученическая работа.

Лишь в самое последнее время они становятся, как будто, известными и у нас. На них, напр., останавливается Штейн [3]); но он не сумеет использовать их и сделать надлежащие выводы. А между тем эти «Лекции» бросают яркий свет на историю развития теории Смита; кроме того, они ставят еще целый ряд очень интересных проблем. Эти «Лекции» мы и сделаем темой нашей статьи.

Предварительно нам нужно ознакомиться с некоторыми данными и датами из биографии А. Смита.

После того, как Смит пробыл студентом в Глазговском Колледже (с 1737 года до весны 1740 г.), он получает стипендию и, в качестве стипендиата, отправляется в Оксфорд. Формально не окончив его, он уезжает к себе домой в Киркальди, затем переезжает в Эдинбург и там начинает чтение своих публичных лекций по истории английской литературы и критики. В 1751 году он становится профессором Глазговского университета, будучи 28 лет от роду, сперва, в течение одного года—логики, а затем—нравственной философии. Следуя плану, принятому в свое время Гетчесоном, профессором нравственной философии в том же Глазговском университете, его предшественником и в то же время его учителем, он также разделил читаемый им курс нравственной философии на четыре основные части: первая имела своим предметом естественную теологию; вторая излагала этику в собственном смысле слова,—позже она была обработана им и выпущена в 1759 году в виде «Теории нравственных чувств». Третья часть была посвящена праву (Justice), т.-е. естественному праву, и, наконец, последняя—практическим приложениям права, или, собственно говоря, политике. Здесь он, по словам Dugald Stewart'а, рассматривал политические установления, касавшиеся торговли, финансов, церковных и военных учреждений. Его учение о естественном праве, т.-е. третья часть его курса вместе с последней четвертой частью, записанные одним из его слушателей-студентов, и лежит сейчас перед нами в виде «Lectures on Justice, Police, Revenue and Arms».

В 1764 году он соглашается, наконец, на предложение, делавшееся ему и раньше, сопровождать в качестве учителя и воспитателя молодого Buccleungh в его путешествии за границу; он отказывается от профессуры, и в марте того же года Смит и его воспитанник выезжают в Париж. Однако, пробыв там всего десять дней, они отправляются затем в столицу Лангедока—в Тулузу, где и остаются в течение полутора лет. Повидимому, Смит там скучал, ибо, «чтобы убить время», как он выражается в письме к Юму, он начал писать книгу; этой книгой и было

[1]) «Lectures on Justice, Police, Revenue and Arms», delivered in the University of Glasgou by Adam Smith. Edited by Edwine Cannan, Oxford, 1896.

[2]) Нов. изд. 1924 г.

[3]) Проф. В. М. Штейн, Развитие экочом. жизни, т. I, 1924. Ленинград.

«Богатство народов» [1]). Из Тулузы они отправляются в Женеву, там Смит встречается с Вольтером, затем они приезжают снова в Париж и остаются там в течение десяти месяцев, где Смит знакомится лично с физиократами, бывает у них, в частности у Кенэ и Тюрго. Особенно близкое знакомство связывает его с Тюрго. В октябре 1766 года он, вместе с учеником, снова возвращается в Англию. Следовательно,—и это мы подчеркиваем,—этот найденный курс «Лекций» относится во всяком случае ко времени до путешествия Смита во Францию и до знакомства его с физиократами. Таким образом, благодаря ему, мы получаем возможность наблюдать Смита, еще свободного от «физиократической инфекции»; тем больший интерес должны представить для нас эти «Лекции».

Как известно из биографий Смита, перед своей смертью он заставил в своем присутствии сжечь все начатые, но не оконченные им работы, а также и все свои записки. Эта участь постигла, в числе прочих, и начатую им «Историю цивилизации». Тогда же, несомненно, погибли в огне и его лекции по нравственной философии, где он трактовал также и экономические вопросы. О развитии экономических идей Смита мы могли поэтому судить лишь настолько, насколько давали для того материал оставшиеся после него работы, т.-е., главным образом, его «Теория нравственных чувств».

Но, благодаря счастливому случаю, мы теперь обладаем гораздо более богатым материалом. Во время одной из своих случайных встреч,—рассказывает Е. Кэннан (это было 21 апреля 1895 года),—когда разговор коснулся Смита, один из его собеседников, адвокат Maconochie сообщил ему, что в его семье сохранилась запись лекций Адама Смита в Глазго, и что она находится в его обладании. Кэннан, после тщательного анализа этого манускрипта, приходит к заключению, что он действительно представляет таковую запись, и довольно подробную, лекций самого Смита, и что записанный курс лекций, хотя на обложке стоит 1763 год, должен был быть прочитан скорее всего в 1763—64 академическом году, т.-е. накануне его от'езда во Францию, или в предыдущем 1762—63 академическом году [2]). Действительно, ход мыслей в этих «Лекциях», их построение, отдельные выражения и примеры, при сравнении их с «Богатством народов» с несомненностью свидетельствуют об их принадлежности Адаму Смиту.

Обращаясь к этим «Лекциям», мы, прежде всего, остановимся на внешнем содержании и расположении всего материала. «Лекции» распадаются на пять частей; первая (on justice) касается естественного, а также и положительного права (государственного, гражданского и уголовного). По об'ему эта часть занимает немного более половины всей книги. Вторая, озаглавленная «On police», трактует вопросы политики, или скорее мы это передали бы—«О полиции», понимая слово «полиция» в смысле прежде употребительного термина «полицейское право», позже замененного административным правом. Он говорит здесь о так называемой полиции безопасности и благосостояния; но первой он

[1]) См. A. Delatour, Adam Smith, sa vie, ses trouvaux, ses doctrines, Paris 1896, стр. 28.

[2]) «Lectures on Justice, Police, Revenue and Arms», Introduction, стр. XX.

уделяет едва одну страницу и почти исключительно сосредоточивает свое внимание на полиции благосостояния. Дальнейшие части посвящены налогам, армии и международному праву.

Первую часть мы намерены совершенно оставить в стороне, ибо, во-первых, мы связаны местом, а, во-вторых, главное, что нас здесь интересует, это—экономическая теория Смита и сам Смит, как экономист.

Уже одно это расположение материала указывает также на тот путь, которым Смит пришел к своей экономической теории. В своей, прежде упомянутой, статье мы по этому поводу писали: «экономически-политическая программа Смита требовала теоретического обоснования», и это обоснование было им дано в теоретических главах «Богатство народов». Теперь мы ближе и точнее можем определить этот путь; более того, мы ясно можем проследить и предыдущий этап его пути: каким образом, от нравственной философии, точнее от естественного права, составляющего ее часть, Смит мог перейти к своей экономической политике.

«Полиция (police) есть вторая общая часть юриспруденции», так начинается вторая часть его «Лекций». «Собственно говоря,—продолжает Смит,—под таковой следовало бы понимать всю политику гражданского правительства, на это указывает и этимология слова. Но теперь под этим словом разумеют лишь низшие части правительственной деятельности, а именно: заботу о чистоте, безопасности и дешевизне или изобилии» [1]). Тут же он оговаривается, что рассмотрение вопросов этой «полиции», поскольку они касаются чистоты или безопасности, не входит в его задачу; но он все же считает нужным сделать одно или два замечания, прежде чем перейти к собственно экономическим вопросам (т.-е. к дешевизне (cheapness) и изобилию (plenty). Он останавливается на безопасности и отмечает, что для предупреждения преступлений недостаточно одних предписаний. Скорее наоборот: «Мы замечаем, — говорит Смит, — что в городах, где имеется очень большое количество полицейских предписаний, — там не всегда бывает большая безопасность» [2]). В Париже имеется масса подобных предписаний и, однако, там совершается большое количество преступлений; в Лондоне есть только два или три простых предписания и, тем не менее, там очень мало преступлений. Однако при феодальном режиме и в Англии мы встречаемся с таким же явлением, какое имеет теперь место в Париже. И он вполне материалистически об'ясняет этот факт; именно, остатки феодального режима, громадное количество праздной дворни у дворянства влекут за собой такие последствия; ибо, сплошь и рядом, слуги выгоняются вон и им ничего не остается делать помимо разбоя. Вообще,—говорит Смит,—материальная зависимость развращает людей. «Согласно этому принципу, следовательно, нет лучшей полиции, которая предупреждает совершение преступлений, как иметь возможно меньшее количество людей, живущих за счет других. Ничто так сильно не развращает человека, как зависимость, в то время как независимость всегда увеличивает честность народа» [3]). Но залог этой незави-

[1]) «Lectures etc.», стр. 154.
[2]) Там же, стр. 154.
[3]) Там же, стр. 155.

симости Смит видит в развитии торговли и мануфактур. «Учреждение торговли и мануфактур,—говорит он,—которые влекут за собой независимость, есть лучшее средство (police) для предупреждения преступлений». Ибо «народ (kommon—peohle) будет иметь этим путем лучший заработок, чем как-либо иначе, и вследствие этого общая честность будет иметь место в целой стране» [1]). Слова, ясно показывающие, насколько капиталистические отношения были еще мало развиты в то время. Мануфактура,—по словам Смита,—доставляет массе населения независимость! (Надо, впрочем, заметить, что вообще «мануфактура» у Смита—это кустарное производство, а иногда и простое ремесло).

Мы видим, вместе с тем, каким путем пришел, или каким путем шел Смит к «Богатству народов» и к своей экономической теории. «Экономически-политическая программа Смита требовала теоретического обоснования и первые две книги он посвятил экономической теории, создав более или менее единую и более или менее стройную систему политической экономии» [2]). Но мы видим теперь, что к экономической политике в свою очередь он подошел от Jurisprudence.

Уменьшение преступлений, общественная безопасность—такова цель, по крайней мере для Смита времени чтения этих лекций в Глазго; лучшим средством для этого он считает благосостояние нации. И он естественно переходит к тем причинам, которые обусловливают это благосостояние. Главные признаки его—это дешевизна и обилие (plenty); эту дешевизну и обилие в то же время он отождествляет с «наиболее соответствующим путем достижения богатства и изобилия (abundance)». И далее он продолжает: «Дешевизна, в действительности, есть то же самое, что и обилие. Только, в виду обилия воды, она стоит столько, сколько требуется, чтобы поднять ее (т.-е. ничего не стоит. *В. П.*), и только в силу редкости алмазов (ибо их действительная польза, кажется, еще не открыта), они стоят так дорого» [3]).

Мы встречаемся, таким образом, и в «Лекциях» с его известным сопоставлением воды и алмаза, знакомым нам по «Богатству народов». Хотя нужно сказать, что оно более старо: Смит взял его у Пуффендорфа, оно же встречается у Лоу и у Harris'а. Но вот что интересно. Тогда как в «Богатстве народов» различие в ценности воды и алмаза он сводил к т р у д у, необходимому для их добывания, только, идя при этом обратным путем, он доказывал, так сказать, от противного, наглядно показывая этим примером, что их цены нисколько не зависят от их полезностей, что они скорее обратно пропорциональны им,—здесь, в «Лекциях», решающим моментом, определяющим различие их цен, он считает их р е д к о с т ь и л и о б и л и е.

Следующие два параграфа (оговариваемся, что разбивка на параграфы принадлежит издателю «Лекций») Смит посвящает вопросу о причинах возникновения и развития промышленной деятельности людей. Он начинает с параллели между живот-

[1]) Там же.
[2]) Там же.
[3]) Там же, стр. 157. Ср. с «Богатством народов», русск. пер. П. Бибикова, т. I, стр. 132.

ным и человеком. Природа, — говорит он, — производит все необходимое для существования животного, последнее пользуется готовыми благами природы и не нуждается в их искусственном улучшении. Кроме того, и его потребности очень просты. Но человек имеет такую деликатную природу (the delicacy of man), что ни один предмет, данный природой, не соответствует его вкусам. Он находит, что каждая вещь нуждается в усовершенствовании. Таким образом возникает промышленная деятельность в виде всевозможных ремесл и искусств. Более того, человек обладает не только более утонченным строением тела, но он обладает еще и более утонченным умом, который точно также пред'являет свои притязания.

«Вся промышленная деятельность человека в течение жизни,—говорит он,—направлена не только на добывание предметов, удовлетворяющих три низших рода наших потребностей— в пище, одежде и жилище, но и на создание таких удобств в них, которые согласуются с разборчивостью и деликатностью нашего вкуса. Улучшение и умножение материалов, которые являются главными предметами удовлетворения наших потребностей, есть причина всего разнообразия ремесл и искусств»[1]. Затем он перечисляет различные виды этих ремесл и искусств: земледелие, промышленность (manufactures) и торговлю; последняя собирает продукты всех этих различных видов ремесл и искусств, очевидно, с целью доставить их населению. Этому же предмету, но только косвенно, служит также искусство письма, геометрия, а также законы и правительство, которые обеспечивают каждому пользование его собственностью и плодами ее. Таким образом,—говорит Смит,—все эти вещи служат снабжению нас всем необходимым.

И он переходит, вслед за этим, к разделению труда; мы опускаем его рассуждения, ибо они почти полностью воспроизведены в «Богатстве народов». Тут же, между прочим, мы можем узнать источник знаменитого примера с булавочной мануфактурой. Это не плод самостоятельных наблюдений Смита—таких крупных мануфактур (с 18 рабочими) сам он не наблюдал,—он заимствовал его из французской энциклопедии [2]. Какое громадное значение придавал он разделению труда, как фактору, увеличивающему производительность труда, и, тем самым, стало быть, создающему богатство, или изобилие, показывают следующие его слова: «Может быть, что двадцать миллионов человек в большом обществе, которые работали бы, так сказать, передавая предмет из рук в руки, произвели бы, в силу разделения труда, в тысячу раз более благ, чем другое общество, состоящее только из двух или трех миллионов» [3].

Такое значение, придаваемое Смитом разделению труда, и исключительное внимание, которое он уделяет ему, является в высокой степени характерным для современной ему экономики. Другой, более мощный фактор роста производительности труда, а именно, машины, ведь, в то время еще не существовали! Да и то разделение труда, о котором преимущественно говорит

---

[1]) «Lectures etc.», стр. 160.
[2]) Статья «Epingle» в V томе «Encyclopédie», 1755 г.
[3]) «Lectures etc.», стр. 206.

Смит, было общественным разделением труда, а не разделение труда внутри мастерской [1]). Пример булавочной мануфактуры, как мы только что видели, был, ведь, заимствован из литературы. Ко всему этому, не нужно упускать при этом из виду, что полем его деятельности в то время была Шотландия (Эдинбург и Глазго), а в это время там тогда не было даже и земледелия, как говорит John Rae [2]), вернее, оно стояло на очень низкой ступени развития.

«Таким образом,—заканчивает Смит свое рассуждение о разделении труда,—разделение труда есть самая важная причина (the great cause) возрастания общественного благосостояния, которое всегда пропорционально промышленной деятельности народа... А промышленная деятельность народа всегда пропорциональна разделению труда» [3]).

Смит теперь должен был бы перейти к своей основной задаче—полемике с меркантилизмом. Основное положение меркантильной школы, как известно, заключается в том, что истинное благосостояние нации они видели в золоте, вообще в деньгах. Отсюда запретительные меры по отношению к вывозу из страны благородных металлов. Но это золото страна могла получить лишь в результате благоприятного торгового баланса, вывозя больше, чем сама ввозит. Размер этого вывоза и ввоза определялся также и высотой цен на ввозимые и вывозимые товары. Но, с другой стороны, стеснение ввоза и поощрение вывоза, эти главные требования меркантильной политики, достигались или путем установления запретительных или очень высоких пошлин на предметы ввоза, или, наоборот, путем премий на вывозимые товары, что, в свою очередь, опять-таки влияло на цены товаров. Смиту в его критике меркантилизма нельзя было, таким образом, избежать вопросов о цене и о деньгах: они требовали некоторого теоретического исследования. Только установив «истинную» природу цены и денег, можно было затем показать, насколько все основы меркантилизма противоречат этим истинам экономической теории. Следовательно, главам, где он в полемике с меркантилистами развивает собственную экономическую политику, он должен был предпослать некоторый теоретический экскурс. Так было построено «Богатство народов»; с этим экскурсом мы встречаемся и в «Лекциях».

И там, и здесь он переходит к нему путем постановки вопросов. Сопоставление этих вопросов в «Лекциях» и в «Богатстве народов» бросает очень яркий свет на все различие между этими двумя работами, т.-е. оно наглядно показывает, какой путь должен был проделать в своих теоретических воззрениях Смит, чтобы от Глазго притти к «Богатству народов». Для наглядности приведем их параллельно:

---

[1]) По этому можно судить, насколько понимает экономическую систему Смита хотя бы Штольцман, если он выставляет такое положение: «Адам Смит и те, кто ему следовали, имели в виду разделение труда только в пределах фабрики» K. Stolzmann, Die Krisis in der heutigen Nationalökonomie. Jena 1925, стр. 113.

[2]) «Scotch agriculture was not born in 1740, even in the Lothians». John Rae, Life of Adam Smith, London 1895, стр. 18.

[3]) «Lectures etc.», стр. 172.

Постановка вопросов в «Лекциях».	Постановка вопросов в «Богатстве народов».
«Показав, что создает общественное благосостояние, при дальнейшем рассмотрении этого предмета мы предполагаем исследовать: во-первых, какие обстоятельства определяют цену товаров; во-вторых, деньги с двух точек зрения: во-первых, как мерило ценности и, затем, как орудие торговли; в-третьих, историю торговли, в которой должны быть определены причины медленного прогресса благосостояния в древнее и новое время; эти причины должны быть показаны как по отношению к земледелию, так и к искусствам и мануфактурам; наконец, влияние торгового духа на правительство, характер и нравы народа, хорошо ли оно или дурно и подходящие средства для исправления» [1]).	«Для исследования принципов, которые устанавливают меновую ценность товаров, я постараюсь показать, во-первых, что представляет действительное мерило меновой ценности, или в чем состоит действительная цена всякого товара; во-вторых, каковы различные части, из которых составляется действительная цена; и, наконец, каковы различные обстоятельства, которые иногда возвышают некоторые или все эти составные части выше их естественной или обыкновенной цены, или иногда понижают их ниже нее; или каковы причины, которые препятствуют иногда рыночной цене, т.-е. реальной цене товаров, точно совпадать с той, которая может быть названа их естественной ценой» [2]).

Для более полного сравнения, сюда же нужно добавить еще план сочинения, данного Смитом во «Введении» к «Богатству народов» [3]). Перечень вопросов в «Лекциях» распался в «Богатство народов» на два; приведенные вопросы из «Богатства народов» собственно развивают только первый вопрос «Лекций». Но интереснее то, что в то время, как в «Лекциях» глухо говорится о цене товаров, в «Богатстве народов» мы встречаемся уже с расчлененной системой вопросов, включающих в себе также теорию ценности.

Итак, мы подошли к самой интересной части его «Лекций», можно сказать, к первому наброску его экономической теории.

«У каждого товара,—так начинает Смит,—есть две различные цены, которые, правда, кажутся независимыми, однако будет показано, что они имеют необходимую связь,—т.-е. естественная цена и рыночная цена» [4]). С естественной ценой мы встречаемся также и в «Богатстве народов». Как известно, Смит, развив свою теорию трудовой ценности, установив, что ценность определяется трудом или ценностью труда,—под последним выражением он, несомненно, понимает ценность, созданную затраченным трудом [5]), или, применяя современную нам терминологию, ценность, как овеществленный труд,—Смит затем вдруг об'являет ее «неприложимой» к «цивилизованному» обществу; под последним он понимает такое общество, в котором уже скопились капиталы и возникла частная собственность на землю. Ибо в таком цивилизованном обществе он встречается с новыми категориями доходов, такими, как прибыль на капитал и земельная рента, на которые теперь, видимо, также распадается цена всякого товара. Смит, однако, не ограничивается только

---

[1]) «Lectures etc.», стр. 172—173.

[2]) «Богатство народов». Русск. пер. П. Бибикова, 1866, т. I, стр. 13?.

[3]) См. там же, стр. 93 и сл.

[4]) «Lectures etc.», стр 173.

[5]) «Естественную награду, или плату за труд,—говорит Смит,—составляет произведение труда». «В первобытном состоянии общества.. все произведение труда безраздельно принадлежало работнику» («Богатство народов», I т. русск. пер., стр. 190) Работнику же принадлежала, следовательно, и вся ценность, созданная им. Но, с другой стороны, она составляла его вознаграждение, она была в то же время и ценностью его труда.

таким разложением цены товара на доходы, он идет дальше. Заработная плата, прибыль и рента в то же время и *составляют* эту цену; они становятся уже конституирующими моментами, определяющими величину цены товара. Итак, цена товара, определяющаяся обычной, как он говорит, естественной заработной платой, обычными или естественными прибылью или рентой, называется им *естественной ценой*. Давно отмечено, что теория естественной цены представляет у него порочный круг. Ибо ее составные части — естественная заработная плата, прибыль и рента—в свою очередь, по Смиту, сами определяются естественными же ценами товаров. Эта теория естественной цены очень плохо вяжется с только что развитой им теорией ценности. Между ними, несомненно, явное противоречие. Обычное об'яснение этого противоречия, или, вернее, происхождения этого противоречия в построениях Смита дано было в нашей, прежде упоминавшейся статье: «Основное, только что установленное Смитом положение о труде, как единственном факторе ценности, терпит крушение, оказывается неприложимым к явлениям капиталистической действительности». И «Смит пытается выбраться из этого противоречия путем теории естественной цены» [1]). Другими словами, согласно этой общепринятой гипотезе, намечается такая последовательность: сперва Смит развивает свою теорию ценности, а затем, увидев ее неприложимость к капиталистическому обществу, строит ad hoc теорию естественной цены.

То же самое, по существу, говорит и Маркс. Он различает в трудах Смита две стороны: аксотерическую там, где Смит исследует сущность явлений, где он, по словам Маркса, изучает физиологию буржуазного общества; и другую—экзотерическую, где он вращается на поверхности буржуазного общества, где он «только описывает, каталогизирует, рассказывает и подводит под схематизирующие определения понятий то, что внешним образом обнаруживается в жизненном процессе, и притом так, как оно обнаруживается и проявляется» [2]). С одной стороны, мы имеем у него соответственно теорию ценности, с другой—теорию естественной цены.

В другом же месте Маркс отмечает странный ход мыслей в книге Смита. Действительно, всякому, знакомому с «Богатством народов», эта странность бросается в глаза. Охарактеризуем ее словами самого Маркса: «Сначала он исследует стоимость товара и местами определяет ее правильно, до такой степени правильно, что А. Смит при этом открывает, в общем, происхождение прибавочной стоимости, особых ее форм и, таким образом, выводит из этой стоимости заработную плату и прибыль. Но затем он вступает на противоположный путь и пытается вывести, наоборот, стоимость товаров (из которой он уже вывел заработную плату и прибыль) из сложения естественных цен, заработной платы, прибыли и поземельной ренты» [3]). Этому странному ходу мыслей соответствует и весьма странная архитектоника «Богатства народов».

После глав, в которых он говорит о разделении труда (I—III главы 1-й книги), он переходит затем к деньгам. Но здесь Смит

---

1) См. мою статью, стр. 60—61.
2) К. Маркс, Теории прибавочной ценности, II, 1923, стр. 10.
3) К. Маркс, Теории прибавочной стоимости, 1906, т. I, стр. 133.

дает лишь внешнюю историю денег; вопроса о ценности денег здесь он даже и не ставит. Следующая (V) глава посвящается им исследованию цены товара; в ней мы и находим его классическую трудовую теорию ценности, правда, еще далеко не свободную от противоречий. Любопытно, что здесь он говорит также и о ценности денег (золота и серебра), сводя ее точно также к затраченному труду. Но далее (в VI и VII главах) у него как-то неожиданно выплывает «первобытное» общество, в котором только, будто бы, цены определяются трудом. и он переходит затем к разложению и составлению цены из доходов, т.-е. к своей естественной цене. Что особенно бросается при этом в глаза—Смит как бы совершенно забывает о своей собственной, только что изложенной, теории ценности.

Его «Лекции» вполне об'ясняют и непоследовательность и скачки в его ходе мыслей, и это странное построение «Богатства народов». Вместе с тем они бросают яркий свет и вообще на ход развития экономических взглядов Смита. Одно сравнение «Лекций» с «Богатством народов» показывает, что его теория естественной цены есть первоначальное наслоение, что, наоборот, трудовая теория ценности была разработана им позже. К естественной цене он прислонил затем трудовую теорию ценности, и притом мало их согласовал; впрочем, согласовать их он и не мог. Сказанное Марксом о двух сторонах его учения остается в полной силе. Отсюда же и соответствующее расположение материала в «Богатстве народов». Легко заметить, что вся V глава вставлена потом; первоначальную редакцию VI и VII глав мы имеем в § 7 его «Лекций». Наконец, глава IV—это § 8 «Лекций» (о деньгах), но перенесенный раньше. Обнаружение действительной последовательности во времени выработки им теории ценности и теории естественной цены ставит в то же время ряд чрезвычайно интересных проблем; но о них ниже.

Представление о труде, как мериле и источнике ценности. было чуждо Смиту еще в 1762 или 1763 году, т.-е. накануне его от'езда во Францию,—таков факт, который непререкаемо вытекает из простого сравнения содержания его Глазговского курса и «Богатства народов». Мы привели выше его слова из «Лекций», которыми он начинает свое исследование цены: он различает там естественную цену (natural price) и рыночную цену merket price); кроме этих видов цены, иного в «Лекциях» Смита мы не находим.

Но, с другой стороны,—и это представляет большой интерес для эволюции взглядов Смита,—его постановка вопроса о естественной цене в «Лекциях» существенно иная, чем в «Богатстве народов», хотя в то же время легко проследить, как последняя получилась из первой. Предвосхищая дальнейшее, отметим, что она в известном отношении лишена той вульгаризации, которая отмечает естественную цену «Богатства народов», и что, вообще говоря, его «Лекции» с этой точки зрения представляют логически более стройное целое. Итак, познакомимся с естественной ценой Смита в ее раннем издании.

Мы уже знаем, что Смит различает здесь только естественную и рыночную цену. Этими двумя ценами обладает всякий товар[1]); обе они определяются известными обстоятельствами. Хотя

[1]) «Lectures etc.», стр. 178.

и кажется, говорит он, что они независимы друг от друга, однако они необходимым образом связаны друг с другом [1]). В чем выражается эта связь, к этому мы вернемся позже, а теперь займемся естественной ценой. Чем же, по Смиту в «Лекциях», определяется естественная цена?

Прежде всего отметим, что сама постановка этого вопроса очень интересна; в ней мы встречаемся с зародышем учения о ценности, как регуляторе производства; именно эту сторону усиленно подчеркивает Смит.

«Когда люди привлекаются к одному какому-либо виду промышленности предпочтительнее, чем к другому, они должны добывать посредством этого занятия столько, сколько необходимо для их существования в то время, как они работают» [2]). Одним словом, «человек только тогда получает естественную цену его труда, когда он получает то, что достаточно для его существования, покрывает издержки его обучения, и вознаграждает его за риск прожить не достаточно долгое время или за риск не успеть в этом занятии» [3]). Смит здесь заговорил об обучении; но оно не одинаково у различных работников и требует различных издержек; он естественно обращается поэтому к вопросу о простом и обученном труде.

Пока мы здесь отметим еще одну черту: как видит читатель, все эти положения Смита имеют смысл лишь тогда, когда мы вставим их, так сказать, в рамки общества самостоятельных товаропроизводителей. Ибо несомненно, что Смит в своих построениях,—и здесь, и даже в «Богатстве народов»,—исходил из представлений о таком обществе, иначе они, повторяем, теряют всякий смысл. В «Богатстве народов», напр., отсутствует понятие основного капитала и, временами, даже и постоянного, как постоянных категорий; тут в «Лекциях» отсутствует также и капитал вообще. В параграфе, посвященном капиталу (и озаглавленном издателем «О капитале»), он говорит лишь о государственных займах. Правда, в некоторых местах он говорит и об ином виде капитала, но это всегда капитал купца или торговый капитал. Без сомнения, это общество самостоятельных товаропроизводителей, которое было для Смита исходным пунктом, носило только такую видимость; на самом деле современная Смиту экономическая действительность была домашней формой капиталистического производства, скорее—кустарным производством.

«Лекции» Смита еще в большей степени, чем «Богатство народов», отражают именно эту действительность, с тем, пожалуй, отличием, что эту видимость явлений Смит принимал за саму реальность.

Естественная цена товара должна вознаграждать работника и за издержки его обучения и за риск не использовать вполне результатов обучения из-за преждевременной смерти, или за риск оказаться неудачником. Он подробно останавливается на этом пункте, но, в общем, повторяет Кантильона, развивая теорию, самое новейшее издание которой мы неожиданно находим в «Курсе политической экономии» Любимова. По крайней мере, все существенные ингредиенты теории редукции Любимова даны уже здесь и в той же комбинации.

---

[1]) Там же.
[2]) Там же, стр. 173.
[3]) Там же, стр. 176.

В самом деле, такие, напр., работники, как портной или ткач,—указывает Смит,—не могут быть обучены посредством только случайных наблюдений и небольшого опыта, как это бывает достаточно для поденщика; это обучение требует большого количества времени и труда. Но «когда какое-либо лицо предпринимает их (т.-е. труды по обучению. *В. П.*), его работа в течение значительного времени оказывается бесполезной для его мастера, и, следовательно, его мастер должен быть вознагражден и за содержание его и за свои труды (т.-е. содержание обучающегося и труды по обучению. *В. П.*» [1]). На ряду с этим существуют и такие занятия, которые требуют предварительного приобретения некоторых общих познаний, как, напр., арифметики, геометрии или астрономии (для часовщиков), и «их заработок должен быть несколько более высоким, чтобы компенсировать эти добавочные издержки». «Следовательно, их заработки (всех обученных работников. *В. П.*) должны быть выше в отношении (in proportion) к тем издержкам, которые имели место, к риску жить недостаточно долго и к риску не приобрести достаточной ловкости, чтобы справляться со своим занятием» [2]). Он приводит в пример адвоката и говорит, что едва ли один из двадцати приобретает такие знания и такое умение, чтобы в состоянии возвратить издержки по своему обучению. Поэтому, хотя их вознаграждение и кажется столь высоким, однако, оно скорее ниже, чем оно должно бы быть соответственно всем затратам и риску; правда, отчасти компенсацией является то почтение, которое оказывают представителям этой профессии.

Необходимые средства существования работника, издержки по обучению и компенсация за риск—все это и определяет естественную цену труда. Но, с другой стороны, эта естественная цена труда определяет и естественную цену товара. «Когда человек получает это (т.-е. естественную цену труда. *В. П.*), имеется достаточное побуждение для работника, и товары будут производиться в соответствии со спросом» [3]). Здесь Смит опять подчеркивает роль естественной цены, как регулятора производства. Когда товары продаются по их естественным ценам, и в то же время работники выручают естественную цену труда,—это значит, что все потребности соответственно удовлетворены и, стало быть, труд соразмерно распределен по различным занятиям и профессиям.

Каким образом происходит это распределение, Смит показывает, рассматривая связь рыночной цены с естественной ценой. «Если рыночная цена какого-либо товара,—говорит он,—очень велика, и труд очень высоко вознаграждается, рынок чрезмерно наполняется этим товаром, производится большее количество его, и он может быть продан более низшим слоям народа. Если бы каждые десять алмазов превратились в десять тысяч, они могли бы были быть приобретены всяким, ибо они стали бы очень дешовы, и понизились бы до своей естественной цены. Опять, когда рынок переполнен (каким-нибудь товаром. *В. П.*), и труд промышленника выручает недостаточно, никто не захочет связываться с этим товаром, ибо он не сможет получить достаточ-

---

[1]) «Lectures etc.», стр. 174.
[2]) Там же, стр. 175.
[3]) Там же, стр. 176.

ных средств существования, так как рыночная цена упадет тогда ниже естественной цены. Говорят, что, когда цена хлеба падает, заработок рабочего тоже должен понизиться, так как в таком случае он лучше вознаграждался бы. Верно, что если средства существования были в течение долгого времени дешевы, то больше народу притекало бы к тому труду, где заработки высоки, и, в силу конкуренции труда, заработки понизились бы; однако, когда цена хлеба увеличивается вдвое, мы находим, что заработки продолжают оставаться теми же самыми, ибо работники не имеют другого пути (для приложения своего труда. *В. П.*), к которому они могли бы обратиться» [1]).

Теперь можно подвести некоторые итоги. Мы уже раньше сказали, что экономические взгляды Смита, развитые им в «Лекциях», отличаются и большей цельностью, и большей стройностью, чем его «Богатство народов». С внешней стороны имеющаяся тут естественная цена очень походит на естественную цену «Богатства народов»; однако более внимательный анализ показывает нам нечто иное. Хотя текст «Лекций» не дает точного и полного определения естественной цены, хотя здесь мы встречаемся с некоторыми противоречиями и некоторой путаницей,— он говорит, напр., то о естественной цене труда, то о естественной цене товаров (не знаем, быть может, их следует отнести на счет неточной записи),—тем не менее то, что мы находим, позволяет все же сформулировать определенную теорию естественной цены. Здесь же, мимоходом, укажем, что только теория Маркса дает нам возможность понять истинный смысл этой первоначальной Смитовской концепции. «Намеки на высшее у низших видов животных могут быть поняты только в том случае, если это высшее уже известно» [2]). В данном случае этим низшим является первоначальная редакция экономического учения Смита, да, впрочем, и все его учение.

Итак, данную теорию естественной цены Смита мы можем свести к следующему: колеблющиеся рыночные цены (о них речь будет итти дальше) в своих колебаниях стремятся к некоторой точке; этой точкой и является естественная цена. Она, в свою очередь, определяется возможностью для работника получить естественную цену труда. С первого взгляда кажется, что Смит сводит здесь естественную цену к ценности труда, т.-е. к заработной плате. Но эта «заработная плата» у Смита, даже в «Богатстве народов», по большей части есть не что иное, чем общепринятая теперь категория заработной платы; скорее это вознаграждение самостоятельного товаропроизводителя, но товаропроизводителя, становящегося уже, рядом незаметных переходов, наемным рабочим. Русский переводчик Бибиков словами «заработная плата» перевел the wages or maintenance,—мы думаем, что правильнее было бы сказать «заработок». Еще в большей степени это было бы правильнее по отношению к его «Лекциям». Заработок работника—это та ценность, которую такой работник—самостоятельный товаропроизводитель (хотя самостоятельный, быть может, только формально) создает своим собственным трудом. И вполне естественно, что при такой постановке вопроса

[1]) Там же, стр. 178.

[2]) К. Маркс. Введение к критике политической экономии. См. его «К критике пол. эк.» М. 1923, стр. 29.

Смит наталкивается только на одно затруднение: на вопрос об обученном труде. Но Смит здесь не формулирует ясно этого положения; он ограничивается только тем, что сводит естественную цену товара к заработку работника. Формально мы имеем, конечно, построение, сходное с естественной ценой в «Богатстве народов», если только на-ряду с заработной платой, как доходом рабочего, привлечем еще и другие доходы, т.-е. прибыль и ренту.

Но, по существу, Смит исходил из общества самостоятельных товаропроизводителей; поэтому у него отсутствуют и те противоречия, с которыми мы встречаемся позже, и, вместе с тем, сама естественная цена получает иной смысл. Ведь, в самом деле, в таком простом товарном обществе, на что совершенно справедливо указывает и сам Смит, ценность продукта труда работника составляет его естественное вознаграждение, т.-е. его заработок. Эта ценность вместе с тем является и его доходом. Смит и подходил в «Лекциях» именно с этой стороны; он берет ее именно в качестве дохода.

Вместе с тем, становится чрезвычайно ясным тот путь, которым Смит пришел к своему более позднему изданию естественной цены; стоит только рядом с заработком поставить также прибыль и ренту, и пред нами естественная цена «Богатства народов». Поэтому Кэннан [1]), а также и другие буржуазные экономисты и приходят к тому выводу, что, собственно говоря, экономическая теория Смита, данная в «Богатстве народов», была развита им полностью уже в Глазговском курсе «Лекций»; ибо для них вся экономическая теория Смита замыкается в его экзотерической, вульгарной естественной цене.

Но не приходится, с другой стороны, видеть в естественной цене «Лекций» и трудовой теории. Представление о труде, как источнике ценности, было тогда еще чуждо Смиту; вообще, при его подходе к вопросу,—он подходил к нему в этом случае не с точки зрения производства, как совершенно напрасно утверждает Ш. Жид,—труд, как источник ценности, неизбежно должен был остаться в стороне. Правда, дальше мы встречаемся с отдельными заявлениями Смита в этом духе, но это были лишь отдельные, мимоходом брошенные мысли, логически не увязанные притом с его естественной ценой. Обобщая все сказанное, можно сказать, что его естественной цене не хватает фундамента; свое исследование Смит обрывает на полпути. Но в то же время все его построение свидетельствует о том, что у него, по крайней мере, должна создаться определенная восприимчивость к трудовой теории ценности.

Эту раннюю естественную цену не приходится рассматривать, как некоторый вид трудовой теории; нельзя вкладывать в нее тот смысл, которого она не имела у самого Смита. Новым доказательством тому служат его рассуждения о рыночной цене.

«Рыночная цена благ,—говорит Смит,—регулируется совершенно другими обстоятельствами» [2]), чем их естественная цена. И он поясняет: «Когда покупатель приходит на рынок, он никогда не спрашивает у продавца, какие издержки имели у него место

---

[1]) См. Introduction к «Lectures etc.».
[2]) «Lectures etc.», стр. 178.

ри их производстве» [1]). Следовательно, перед Смитом встает ıдача ближе определить эти условия, определяющие рыночную ену. Он насчитывает три таких условия: во-первых, «спрос, или ужда в товаре; нет спроса для вещи очень небольшой пользы; на не является разумным предметом для желания» [2]). Итак, ыночная цена зависит от полезности данного блага: полезность пределяет спрос, а уже спрос определяет высоту цены. Во-вторых, таким обстоятельством является редкость. Редкостью (или зобилием) он об'ясняет высокую цену алмазов и низкую—железа; впрочем, как он сам оговаривается, это скорее нужно отнести на счет третьего условия.

«В-третьих,—продолжает Смит,—богатство или бедность тех, то пред'являет спрос. Когда произведено недостаточно, чтобы довлетворить всех, только достаток соперников определяет цену» [3]). Это, конечно, правильно по отношению к редким вещам, о вслед за этим Смит обобщает этот вывод и говорит: «По этому ринципу, каждая вещь дорога или дешева сообразно с тем, окупает ли ее более высокие или более низкие слои народа» [4]), он приводит конкретный пример с золотой и серебряной тварью. Точно также «цены хлеба или пива определяются тем, то может дать за них всякий, и поэтому—заработок поденщика меет большое влияние на цену хлеба» [5]). Тут мы встречаемся очень курьезным представлением: рыночная цена зависит от ого, какие слои народа покупают данный предмет. Т.-е. он, в ущности, выставляет такое положение: не потому бедные покупают данную вещь, что она дешева, но она дешева, так как ее окупают бедняки.

Но мы знаем в то же время, что рыночная цена связана, и вязана необходимо, с естественной ценой. Покупательная способность различных слоев населения, следовательно, необходимо олжна определять и естественную цену всякого товара. Это странное положение, однако, не так нелепо, как это кажется на первый взгляд. Покупательная способность различных слоев народа определяется естественной ценой их труда; мы имеем, потому, лишь новую формулировку уже известного нам положения, что естественная цена труда определяет естественную цену товара; можно разве добавить, что естественная цена труда в данном случае есть естественная цена труда покупателя товара, а не его производителя. Эта путаница составляет лишь любопытную параллель к его более поздней путанице, когда ценность товара (его действительную цену) он определял то трудом, затраченным на его изготовление, то ценностью этого труда.

Но эта курьезная теория в то же время лишает нас всякой возможности признать в Смите эпохи чтения лекций в Глазго сторонника трудовой теории ценности: физиология буржуазного общества осталась для него в то время еще совершенно незатронутой областью.

Установив естественные, так сказать, нормальные причины, влияющие на высоту рыночной цены, Смит усматривает далее и целый ряд искусственных условий, которые точно

[1]) Там же.
[2]) Там же.
[3]) Там же, стр. 177.
[4]) Там же, стр. 177.
[5]) Там же.

также могут влиять на величину рыночной цены. Прежде всего он выставляет тезис: «дороговизна и недостаток есть в действительности одно и то же». Так, что «все, что постоянно удерживает блага выше их естественной цены, уменьшает благосостояние нации» [1]). Но меркантильная политика сводилась именно к этому: «искусственные» меры, предпринимаемые правительствами, как раз и стремились к такому постоянному повышению рыночной цены, и, следовательно,—заключает Смит,—они неизбежно должны приводить к разрушению или, во всяком случае, уменьшению общественного благосостояния. «Мы можем заметить, что, если какая-либо политика стремится повысить рыночные цены выше естественных цен, она ведет к уменьшению общественного изобилия» [2]). К этим искусственным мерам Смит причисляет, «во-первых, все налоги на промышленность, т.-е., собственно говоря, косвенные налоги на продукты промышленности; во-вторых, к тому же результату приводят все монополии и исключительные привилегии в области торговли и промышленности».

Но и, обратно, понижение рыночной цены ниже естественной цены точно также губительно действует на благосостояние нации. «Подобно тому, как то, что возвышает рыночную цену выше естественной цены, уменьшает общественное изобилие, точно также и то, что уменьшает ее ниже естественной цены, имеет тот же самый результат» [3]). К такому результату должны привести, напр., поощрительные премии за вывоз. И Смит может теперь перейти к своей главной задаче,—к критике меркантилизма и изложению основ правильной экономической политики.

Изложенным и ограничивается интерес, который представляет для нас этот курс Глазговских лекций. Правда, мы имеем там у него еще исследование о деньгах. Этот отдел может все же дать нам кое-что с интересующей нас точки зрения; о нем нам придется сказать несколько слов. В дальнейшем же изложении Смит развивает положения той экономической политики, с которой мы уже знакомы по его «Богатству народов».

Но неужели у Смита Глазговского периода нет даже никаких намеков на трудовую теорию ценности, или, хотя бы, на роль труда в данном отношении? Как мы видели, трудовая теория ценности у него отсутствует; если и можно вывести абрисы этой теории, то это будут уже выводы из взглядов Смита, им самим притом не сделанные. Она в то время лежала еще вне поля сознания Смита; вне поля сознания, конечно, в том смысле, что он ее не осознавал, как таковую, как определенную теорию ценности.

Но некоторые намеки на развитую Смитом позже трудовую теорию мы там все же находим. Однако они остаются только намеками: никакого развития они у него не получают,—он бросает их вскользь, и к тому же они несомненно заимствованы без уяснения при том их истинного теоретического значения. Эти намеки встречаются как раз в связи с постановкой вопроса о деньгах.

Известна теория денег Смита, или, правильнее, теории, ибо и здесь мы находим у него свойственные ему противоречия. С

[1]) «Lectures etc.», стр. 179.
[2]) Там же, стр. 178.
[3]) Там же, стр. 180.

одной стороны, констатируя, что деньги тот же товар, он сводит их ценность, как и ценность любого товара, совершенно правильно к труду; но, с другой стороны, у него мы встречаем целое наслоение количественной теории. Здесь в «Лекциях» мы имеем дело только с этой второй, количественной теорией; в них он следует вполне за Юмом. Тем не менее в ход изложения у него вкраплены положения, несомненно заимствованные им у Петти. Для сравнения приведем то место из Петти, которое цитирует и Маркс в I томе «Теорий прибавочной ценности»: «Если кто-нибудь может добыть из перуанской почвы и доставить в Лондон одну унцию серебра в то же самое время, в течение которого он в состоянии произвести один бушель хлеба, то первая представляет собой естественную цену другого; если же, благодаря новым, более богатым копям, он окажется в состоянии так же легко добыть две унции серебра, как прежде—одну, то хлеб будет так же дешев, при цене в десять шиллингов за бушель, как прежде был при цене в пять шиллингов ceteris paribus» [1]).

Смит (в «Лекциях») рассматривает деньги, во-первых, как мерило ценности (the measure of value) и затем, как средство обращения или обмена (the medium of permutation or exchange). Дальше в ходе изложения мы и находим у него такую вскользь брошенную фразу: «Мы показали, что делает деньги мерилом ценности, но нужно заметить, что труд, а не деньги, есть истинное мерило ценности» [2]).

В том же параграфе находится и другой намек на будущую трудовую теорию. «Почти любая часть земной поверхности, — говорит Смит,—может быть сделана, путем соответствующей обработки, способной производить хлеб, но золото не может быть найдено всюду и даже там, где его находят, оно скрыто в недрах земли, и для того, чтобы добыть небольшое количество его, требуется много времени и большой труд» [3]). Однако, наряду с этим, мы у него находим и редкость, и изобилие, как моменты, определяющие ценность [4]); и что, главное, последнее определение было основным, преобладающим в этих «Лекциях».

Несомненно, что Смит читал Петти; несомненно также, что видимыми следами этого чтения явились только что приведенные места, стоящие притом совершенно особняком в ходе мыслей Смита того времени. Можно более того утверждать, что он и не мог оценить всей глубины и правильности этих положений Петти и их значения для экономической теории; за это ручается также и весь контекст. В данном месте «Лекций» и дальше он полемизирует с меркантилистами: но для них золото, или деньги вообще, были богатством par excellence, самой квинтэссенцией богатства. Накопление золота или серебра—это сама мистерия богатства. Отсюда буржуазный экономист, по словам Маркса, «пытается рассеять мистический характер золота и серебра, подсовывая вместо них менее блестящие товары и с постоянно подновляемым чувством удовольствия отчитывая каталог всей той

1) W. Petty. Les oevreus économiques money (франц. пер.), т. I, Paris, 1905, стр. 51.

2) «We have showú what rendered money the measure of value, but it is to be observed that labour, not money is the true measure of value». «Lectures etc.», стр. 190.

3) «Lectures etc.», стр. 198.

4) См., напр., там же, стр. 197—198.

товарной черни, всех тех предметов низшего рода, которые в свое время играли роль товарного эквивалента» [1]). Нет ничего удивительного, что Смит был склонен скорее к противоположной крайности; он скорее был склонен развенчать деньги и из качества вообще товара; фактически, это он и делает. В этом же, между прочим, лежит и об'яснение тяготения вообще классической школы к количественной теории денег; количественная теория денег in statu nascendi являлась боевой антитезой меркантилизма. Трудовая же теория ценности строится ими прежде всего для всей прочей товарной черни, и если они прилагают ее к золоту, то предварительно они развенчивают его, сводя его к качеству одного из простых членов этой товарной толпы.

На этом мы расстанемся с «Лекциями» Смита. Мы, само собой разумеется, не могли в короткой статье полностью исчерпать этот интересный вопрос о развитии экономической теории Смита, проследить, весь ход развития во всех его подробностях; мы оставляем, однако, за собой право снова вернуться к этой теме, а заодно и к тем проблемам, которые одновременно встают при попытке простого сравнения как содержания «Лекций», с одной стороны, и «Богатства народов», с другой, так, на-ряду с этим, из сопоставления дат появления этих работ. Поэтому мы ограничимся здесь лишь общими выводами, а вместе с тем, только наметим ряд проблем для дальнейшего исследования.

Ряд выводов мы уже попутно сделали; нам остается добавить лишь немногое; до сих пор мы сравнивали «Лекции» с «Богатством народов»; попробуем теперь, наоборот, сравнить «Богатство народов» с «Лекциями». Посмотрим, какие части этого более позднего экономического труда Смита отсутствуют в его Глазговском курсе? Мы отмечали уже выше, что в нем отсутствует вся та часть, в которой Смит развивает теорию действительной цены или трудовую теорию ценности.

Но в них отсутствует также и другая, также чрезвычайно существенная часть экономической системы Смита, именно весь отдел о накоплении капитала и смитовское учение о воспроизводстве, т.-е. вся II книга «Богатства народов». Это вполне понятно, ибо эта книга была явно написана Смитом в противовес учению физиократов, с которыми он ознакомился ближе во Франции. Невольно перед нами встает вопрос, не обязан ли Смит своему путешествию во Францию, другими словами, знакомству с физиократами, также и своей трудовой теорией ценности? Во всяком случае мы имеем право поставить этот вопрос; Смит читает курс лекций в Глазго в 1762 или 1763 году, и в нем совершенно отсутствует трудовая теория ценности, именно, как таковая. Мы не можем назвать такой **теорией ценности** тот уклон в ее сторону, который там несомненно имеется, а также и тех нескольких мимоходом брошенных выражений, явно притом заимствованных и, главное, помещенных им в явно неподходящем месте и не увязанных с остальным текстом. Затем следует знакомство во Франции с физиократами, и, по истечении нескольких лет научной работы в Киркальди, в 1776 году появляется его «Богатство народов», содержащее в себе уже вполне развитую, по крайней мере в своих основах, трудовую теорию.

---

[1]) К. Маркс, Капитал, т. I, русск. пер. 1907 г., стр. 18—19.

Но если это так, если тут имеет место влияние французских экономистов на развитие экономических взглядов Смита,—мы стоим перед новым вопросом: какой характер носит это влияние, или каковы истинные взаимоотношения между Смитом и физиократами? Заимствовал ли Смит трудовую теорию ценности во Франции, и, в таком случае, кому принадлежит приоритет в данном отношении? Или, быть может, физиократия и споры вокруг неё дали только толчек к самостоятельной разработке Смитом этой теории?

Все это—вопросы, на которые должна дать ответ история экономических учений. И нужно сожалеть, что этот, опубликованный 25 лет тому назад, курс «Лекций» привлек к себе так мало внимания, а, между тем, он дает очень много данных для правильного разрешения этих проблем.

Значение этого раннего курса лекций Смита для истории политической экономии очень хорошо,—правда, в полемической форме,—характеризует Делатур; во избежание недоразумений напомним, что он писал эти слова до того, как были найдены записи «Лекций».

«Что касается,—говорит он,—уничтожения тетрадей с его лекциями, то почти не приходится сожалеть о них в отношении их ценности; но, как документы, они были бы очень полезны биографу, позволяя ему более легко проследить ход развития ума знаменитого философа. Но нам было бы желательно, напр., установить состояние экономического учения Смита в таком виде, в каком он их изложил в Глазго до своего путешествия во Францию, и сравнить их с «Богатством народов», для того, чтобы выяснить все влияние, которое оказало на него пребывание в нашей стране и общение с физиократами. Действительно, несмотря на все усилия, затраченные Dugald Stewart'ом, с целью доказать, что великий шотландец мало был обязан Франции, и что вся его теория была выработана уже к 1752 году, мы сознаемся; что мы мало убеждены в точности этих утверждений; мы можем, напротив, отметить, что настойчивость, проявленная д-ром Смитом в деле уничтожения рукописей своих лекций, и стремление не допустить, чтобы их читали, более чем достаточно, кажется, свидетельствует об их относительно низшем качестве... Мы признаем огромное значение «Богатства народов» и значительный прогресс, которым политическая экономия обязана ему; мы желаем только отметить преувеличения некоторых английских биографов, которые не останавливаются перед утверждением, что к 1755 и даже к 1752 годам, задолго до появления работ Кенэ, учение их соотечественника целиком уже находилось в его уме, и что до своего путешествия на континент он выработал во всех частностях ту науку, принципы которой он должен был развить в «Богатстве народов» [1]).

Нельзя не признать, что Делатур оказывается правым в своих сомнениях относительно состояния экономического учения Смита до времени его путешествия, и что, кроме того, проблемы намечены здесь довольно правильно. Но одновременно мы видим также, что вопрос переносится в совершенно иную плоскость: чувствуются определенные националистические нотки, совершенно неуместные в подобных случаях. Тогда как одни стремились

[1]) A. Delatour, A. Smith, стр. 168—169.

утверждать полную экономическую самобытность Смита, другие, наоборот, стремились видеть в нем лишь английское эхо французских экономических теорий. Доказательством этого последнего, как мы только что видели, служил даже такой факт, как сожжение Смитом всех своих бумаг перед смертью. Нельзя сказать, чтобы эта националистическая контроверза сколько-нибудь способствовала выяснению самого вопроса,—скорее, наоборот. Но, конечно, дело не только в этом: современная буржуазная экономия страдает, и не может не страдать, своеобразным дальтонизмом: она просто не замечает наиболее правильной, наиболее глубокой стороны экономической системы Смита, его эксотерического учения.

Все Смитовское учение для нее ограничивается его чисто внешними описаниями явлений и их поверхностным об'яснением; они и составили, между прочим, в дальнейшем исходный пункт для позднейшей вульгарной экономии. А в этом отношении «Богатство народов», действительно, не отличается от его курса «Лекций», а если и отличается, то скорее в обратную сторону; в нем он, можно сказать, еще более вульгаризировал то, по существу, вульгарное учение,—если можно по отношению к Смиту употребить этот термин,—которое мы находим в его «Лекциях». И мы закончим тем же, чем и начали: в настоящее время об ективной, научной историей экономических учений может быть только марксистская история политической экономии.

К вопросу о происхождении религиозных верований [1]).

Н. Токин.

I. Первоначальные основы религии.

Первобытная ступень развития человечества характеризуется постоянной подавляющей зависимостью человека от внешних условий; от богатств природы, от ее явлений зависит самое существование человека. Низкий технический уровень развития обусловливает эту постоянную зависимость от природы. Борьба за свое существование, борьба за средства питания наполняет собою первоначальную стадию человеческого развития. Но эта борьба велась не изолированно, не единичными усилиями отдельного человека, а известной группой людей, и на самых первоначальных ступенях развития мы можем мыслить себе человека как общественное существо. Человек становился в определенные отношения не только к внешней природе, но и к себе подобным; он уже и в первобытное время становится в определенные, независимые от его воли, общественные отношения,—«производственные отношения». Полагать, что в условиях первобытного времени человечества ни о каких производственных отношениях не может быть и речи, ибо не было самого производства, это значит первобытное хищническое присваивающее хозяйство рассматривать вне общественных отношений, что, разумеется, недопустимо. Самый факт производства орудий производства есть уже серьезный, важный общественный факт, обусловливавший те или иные первобытные общественные отношения. Но, что особенно важно, независимость общественных отношений от воли людей на первобытной ступени развития выступает с особенной наглядностью; общественные отношения и по своей видимости господствуют над миром.

Непосредственные практические условия, в которых находился человек, определяли собой все поведение, все правила общественной жизни человека. Разумеется, это применимо и к позднейшему времени, но важно подчеркнуть это для отношений первобытного общества. Практический отпечаток лежит и на всех религиозных действиях человека, и, собственно, сама первобытная религия представляла из себя совокупность правил отношений человека к окружающему миру, к внешней природе и к другим людям. Особенное значение в этом случае имели те явления,

---

[1]) Статья дискуссионная. *Ред.*

которые имели ближайшее значение для самого человека, с которыми он наиболее часто сталкивался, которые определяли его существование. Этот практический характер первобытной религии подчеркивается большинством исследователей; от каждого религиозного действия собственно должна быть какая-то определенная практическая полезность. В том случае, если эта практическая полезность и не сознается самим человеком, то вместо сознания здесь выступает наиболее могущественный фактор — биологический—инстинкт самосохранения.

У нас нет достаточно научных данных о тех ступенях развития человечества, которые в общей лестнице развития стоят ниже современных диких народов. Доисторические находки больше дают сведений о материальной культуре древнейшего человечества, нежели о его идеологии; попытки построить на основе этих находок первобытные религиозные верования могут отличаться большой гадательностью. Во всяком случае, то или иное понимание погребальных обычаев, о которых дают сведения находки, могут быть истолкованы лишь на основе уже определенных сведений этнографического характера. Указанный практический характер первобытной религии по данным этнографии может быть довольно полно прослежен на низко стоящих народностях.

В условиях первобытной бродячей кочевой жизни, как они и теперь выясняются из жизни австралийских племен, считающихся наиболее отсталыми, в условиях древнейшей охотничьей жизни, явление, могшее обратить на себя внимание в числе первых, является болезнь и смерть. Если заболевает взрослый, способный к охоте, то это уже ощутительно просто потому, что выбывает из строя производительная работоспособная сила, потеря которой, вне всякого сомнения, не является желательной. Неспособных к тому, чтобы следовать за бродящей первобытной группой, могли просто покинуть, и их, действительно, покидали. Но современные австралийцы могут уже оставаться на несколько дней в определенном месте; возможно, что и больные, особенно сильные и ловкие, могли задерживать первобытную группу на месте стоянки. Уход за больными мог поручаться кому-либо из членов группы, и такими первоначальными опекателями скорее всего и могли быть те старшие, которые уже не заняты в непосредственной охоте; из этих же старших должны были вербоваться и наиболее опытные опекатели, знакомые со способами лечения болезней или ран. Случаи выздоровления естественно могли быть, и тогда данный опекатель становился предметом общей признательности. Старые, двигающиеся за охотником, были свидетелями всей врачебной деятельности этих опекателей, они могли быть непосредственно связаны с ними общей заботой по обеспечению себя пищей; а, ведь, пропитание является главнейшим стимулом ко всякой деятельности на этой ступени развития. Эта первобытная медицина в условиях охотничьего бродячего образа жизни становится сама по себе у старейших средством заботы о пропитании; в их среде медицина находит свое дальнейшее развитие. Наступление смерти, конечно, констатировано быть не могло вполне правильно, и определение смерти больного также лежало на старейших, в частности на этих врачах из стариков. Все эти обстоятельства могли поднять авторитет и значение старейших, в среде которых находились первобытные врачи.

За отсутствием данных, трудно говорить о тех способах лече-
которые могли быть в самое первобытное время, трудно
рить об отношениях к больному со стороны его опекателя;
се же мы не должны упускать из виду общее положение,
многое в процессе болезни дикаря могло быть непонятно
му врачу его; что часто бывают случаи продолжительного
рочного состояния, которые, прекращаясь, вызывают особые
обытные представления о причинах этого обморока; а эти
ния, по свидетельству путешественников, происходят не
ко у больных; часто наблюдаются явления, сопровождающие
радку и столбняк. Наиболее опытная старшая группа с их
ами, эта древнейшая «интеллигенция», могла уже и на той
ии по-своему об'яснять явления, при чем самые об'яснения,
чно, были согласованы с их насущными интересами—доставка
и. Больной мог умереть, но мог и снова вернуться,—не надо
вать, что понятие смерти не могло быть взято в его абсолют-
значении. Пища все равно должна была доставляться неко-
е время, ибо случаи возвращения к жизни могли быть до-
но часто. Явление страха смерти в этой среде стариков могло
ее возникнуть, и в их же среде могли сформироваться пер-
попытки об'яснений этой смерти. Исцеление заболевшего
ло повести к преувеличенному представлению о власти врача,
вобытного знахаря, над людьми: если он мог вылечить его,
он же мог навести и болезнь на него. Данные этнографии
тверждают подобное предположение. Джон Фрезер говорит о
емцах в австралийской колонии Новый Южный Уэльс: «Если
емец будет убит в сражении или настолько тяжело ранен,
умрет от ран, если он будет убит упавшей балкой или при
ом-либо ином доступном наблюдению происшествии,—это не
водит его товарищей в изумление, потому что причина смерти
сь очевидна. Но совершенно иное будет в том случае, если
-нибудь заболеет или умрет без такой видимой причины. Здесь
ачестве причины болезни всегда предполагается тайная злоба
ого-нибудь злого духа, скрытнаго заклинателя или колдуна,
орый, по собственному почину или по желанию других, поль-
сь своим колдовским искусством, ввел что-то такое в тело
ьного, от чего он будет хворать и умрет. По всеобщему рас-
страненному твердому убеждению наших туземцев человек
рает не потому, что износилась его жизненная машина, а
ому, что какой-то враг навел на него колдовство».

Тем более могли думать так те, кто лечил больного. Ведь
сами по собственному опыту видели, что они могут ухудшить
тояние больного, могли ускорить его смерть, могли его выле-
ть. Эти обстоятельства и окружили первобытного знахаря
олом сверхчеловеческой силы,—силы, могущей повлиять на
дей в различных направлениях. Да и сам знахарь убеждался
присутствии в себе наибольшей силы: он стоял выше осталь-
х людей не только в глазах других, но и в собственных.

Указанное нами воззрение, по которому смерть является ре-
льтатом деятельности враждебных человеку сил, сильно рас-
остранено в различных частях света. Но важно и то, что кол-
ны являются виновниками смерти; в это верят многочисленные
земцы Африки, Центральной Бразилии и многие другие. Это
тому в особенности важно, что обычно исследователи говорят
дикаре вообще: «дикарь думает», «дикарь убежден», «дикарь

верит» и т. д. Но в условиях первобытной общественной жизни дикарь вообще не существует; различные люди первобытного времени имели различное производственное значение как в силу физических различий, так и в силу самой структуры первобытного общества. Дикарь—опекатель больного, дикарь-старик, дикарка-женщина—это различные величины в процессе отправления древнейшей общественной жизни, и к их роли, а следовательно, и к их воззрениям, надо подходить с несколько различной меркой.

Дикарская «интеллигенция»—знахари и опытные старики—представляет свой особый первобытный слой людей, от которого зависело очень много. Если ознакомиться с тем, что представляют из себя шаманы в настоящее время у многих народностей, нам многое станет яснее из древнейшего общества. Само шаманство является очень древним, безусловно первобытным явлением, причем, по утверждению этнографов, оно в то же время общечеловеческое явление. Характерно, что чем ниже ступень религиозного развития, тем больше имеет значение шаманство. Шаманство наделяется теми свойствами, которые могут приписываться только божеству. Шаманство играло, вне сомнений, в древнейшие времена очень большую общественную роль. Шаманы могут влиять на погоду, на приискание мест для удачной охоты, на успех битвы и проч. Весь мир открыт колдуну-шаману, и он сеет знания обо всем мире. Народная словесность у всех народов дает знать о былом значении шаманов. В Австралии до последнего времени колдун-шаман пользуется большим почетом и уважением; он может перемещаться в глубину земли, он судит души умерших, он имеет способность разговаривать с духами, сообщаться с душами умерших. Зулусский шаман, имея общение с душами умерших, может определять успех различных предприятий, как военных, так и охотничьих, узнает причину болезней, выискивает нужных лиц, околдовавших больного и проч. Для признания вождя нужна санкция шамана. У краснокожих шаманы также имеют большое значение. В некоторых селах можно встретить до двадцати шаманов, соединяющих функции врача, жреца и колдуна; им принадлежит способность узнавать будущее, привлекать колдовством дождевые тучи во время засухи, могут они привлечь и зверя во время охоты, могут насылать болезни и т. д. У дакотов имеют они свой тайный язык. Шаманы стоят выше всех в тех обществах, где еще нет классовых противоположностей, где нет места господству богатства; там они окружены почетом и поклонением. У народностей нашего Союза значение шамана также можно проследить по данным этнографии. У якутов шаман—повелитель духов, причиняющих зло людям, он посредник между людьми и духами, он может даже повелевать духами; но теперь значение шаманов у якутов падает, и они выступают чаще всего в роли врачевателя. «Позванный к больному шаман,—сообщает Серошевский,—появившись в юрте, сейчас же занимает место на одной из почетных нар... Растянувшись на своей белой кобыльей коже, шаман лежит, ожидая ночи, часа, когда колдовство станет возможным. Все это время шамана кормят, поят, чествуют». Впоследствии он со своим бубном и барабаном совершает свои действия врача. Разумеется, современное шаманство уже значительно видоизменено, но важны отмеченные нами обстоятель-

ства—древность шаманства, общая распространенность его, и та роль, которая им приписывается: врачей, прорицателей, могущих нагнать зверя на охоте, предсказывать о будущности какихлибо предприятий и так или иначе влиять на них. Их медицинская и производственная роль на первобытной ступени не подлежит сомнению.

Деятельность современных шаманов часто превращается в фокусничество, о чем неоднократно указывают исследователи. Крашенинников сообщает, что коряцкие шаманы «колют себя ножем и пьют кровь свою, однако все оное было столь грубый обман, что всякому можно бы было приметить. Нож, которым он колоть себя притворялся, спускал он вниз... а кровь выпимал из пузыря, который был под пазухой». Якутские шаманы подвязывают кишку с кровью и колют ее ножем, отчего кровь льется струей, на живот одевают много бересты и ходят с вонзенным в нее ножем по черенок и т. п. Но в данном случае правильнее будет то мнение, что шаманы-обманщики лишь подражают настоящим шаманам. Характерно, что во многих местах многие фокусники-шаманы, глотающие палки, могущие есть горячие уголья и стекло, и т. п., пользуются меньшим почетом и славой, чем шаманы, вступающие в связь с духами. И отличительной чертой шаманства является безусловно эта способность иметь сношение с духами.

Источником силы шамана является помогающий ему дух, сверх'естественные существа. Духи могут быть привлекаемы различными способами, и кто их привлечет, тот может сделаться шаманом. Для шаманства характерен взгляд на сверх'естественные силы, на божество, как на материальные силы, доступные человеку, при чем человек может оказаться сильнее божества; шаманство, собственно, и есть способ сношения с материальными божествами; посредством колдовства они узнают различные тайны.

Основные черты деятельности шаманства, и, во-первых, их врачебная деятельность находит себе известное сходство с австралийскими знахарями. Как известно, в Австралии все случаи болезней и страданий приписываются чародейству врагов, при чем вера в это чародейство настолько значительна, что даже при легкой болезни больной умирает, если убежден в чародейском послании болезни. Наиболее обычным способом чародейства является введение камней в тело больного, для чародейства употребляется особый снаряд—«костебой». Вот что сообщает об этом костебое Рот: «Кость смерти или костяной снаряд служит для причинения болезни или смерти. За отсутствием в глазах туземцев других наглядных причин болезни или смерти, такою причиною считается этот снаряд. Это одно из самых ужасных суеверий внутреннего северо-западного Квинслэнда; суеверие тем более ужасное, что оно широко распространено. Костяной снаряд может быть изготовлен знахарем или чародеем или каким-нибудь другим мужчиной. Если кому-нибудь случается натолкнуться на этот предмет, принадлежащий другому человеку, то он немедленно зальет найденный снаряд водою и уничтожит его, чтобы ктонибудь не употребил его ему на пагубу. Если такой снаряд придется увидеть женщине, то она немедленно же свалится с ног и заболеет не только от того, что она до него дотронется, но даже от одного взгляда на него».

Кто же может спасать от разных бед в Австралии? Знахари и чародеи. У племени Арунта найдено до трех родов знахарей. Один способ получения звания знахаря или чародея заключается в том, что тот, кто почувствует в себе способность сделаться чародеем, уходит из стана, бродит в одиночестве и приходит в конце концов в пещеру в 40 милях от Алисских родников. Существует убеждение, что эта пещера и другие в цепи холмов населены душами предков, которые считаются двойниками предков времен Алчеринга (отдаленных времен, когда жили прародители их племени) и вместе с тем одного из живых соплеменников Арунта, ибо душа каждого из них есть воплощение одного из предков. Души предков имеют свойство делать знахарями и чародеями. По описанию Спенсера и Гиллена, вот что проделывается в этой пещере: «Придя ко входу, он (т.-е. тот, кто почувствовал в себе способность сделаться чародеем) в величайшем волнении ложится спать, не смея войти внутрь. Если бы он дерзнул войти, то вместо того, чтобы исполниться чародейственных сил, он навсегда лишился бы этой возможности. Перед рассветом один из ируптаринией (дух предка) подходит ко входу в пещеру, и, найдя заснувшего человека, мечет в него невидимое копье, которое, пронизывая сзади шею спящего, выходит изо рта. Благодаря этому, в средине языка спящего образуется отверстие, настолько большое, что можно просунуть мизинец. Когда это совершилось, то отверстие остается единственным свидетельством и внешним признаком общения с ируптаринием. Как в действительности делается это отверстие в языке, сказать невозможно, но оно всегда имеется у настоящего чародея. Конечно,— замечают исследователи,—посвящающийся должен сделать его сам; но, разумеется, ни один знахарь не признается в этом, а возможно, что, в конце концов, он и сам уверит себя, что отверстие сделано не им самим. Второе копье, брошенное ируптаринием, пронизывает голову посвящающегося, пролетает из уха в ухо, и жертва чар падает замертво на месте и влечется в глубь таинственной пещеры, которая простирается далеко под поверхностью равнины и, предполагается, кончается в десятимильном расстоянии, в местности, над которой возвышается горная цепь Эдифи... Однажды, не так давно, два туземца, говорит предание, не зная ничего о подземельи, вошли в него в поисках воды, и их уже больше не видали. В этой пещере духи предков совершают преобразование существа посвящающегося. В состоянии безумства чародей возвращается к жизни; ируптариния, видимый только для высоко одаренных чародеев да для собак, ведет вновь посвятившегося к его соплеменникам и обратно возвращается один в пещеру. Посвященный в течение нескольких дней ведет себя очень странно, наконец, появляется окрашенный смесью угля и жира с широкой лентой на переносье. Он стал чародеем по общему признанию. Год проходит на то, что этот новый чародей искушается, уверяет себя в действительности пережитого им; происходит знакомство с другими знахарями, перенятие их тайн чародейства, состоящее «в ловкости, уменьи держаться и не выдавать себя, а также в уменьи «производить» по своему желанию маленькие камешки (кварца) или кусочки палочек. Предполагается, что ируптариния, преобразовав все существо знахаря, вложил в его тело чародейственные камни,

которые он может ввергнуть в тело обратившегося к нему, за помощью больного и тем уничтожить причину порчи». (Тахтарев, «Очерки...», стр. 87). Есть и другие способы посвящения в чародейство. Один из них заключается в том, что посвящение производится другими чародеями, которые вгоняют чародейственные камни в тело вновь посвященного. В заключение всей операции посвящения, тело вновь созданного чародея натирается жиром и разрисовывается особыми чародейскими знаками, заключающими в себе в глазах туземца глубокий смысл. Главное дело всех этих знахарей—лечение больных самыми разнообразными способами.

Приведенные данные о деятельности этих первобытных врачевателей могут вполне навести на мысль, что в этой древнейшей «интеллигентской» среде могли скорее всего формироваться различные идеологические воззрения на весь мир, на все явления общественной жизни. Первобытные общественные отношения преломлялись в сознании, именно, этого слоя первоначальных охотничьих групп, а уж отсюда распространялись в остальную массу. Группа старейших в этом случае играла также не последнюю роль; она ближе соприкасалась с этой группой, она, вероятно, и поставляла этот слой врачевателей и чародеев, и ее интересы в первобытной группе могли быть вполне связаны с интересами той же медицинской группы, да и едва ли представлялась возможность резко обособить их в первобытных условиях кочевой жизни. В деятельности этих групп и заключались условия, могущие повести к возникновению представлений о душе, первоначально о душе совершенно материальной. Всегда надо иметь в виду, что эти представления из какой-нибудь среды и должны были исходить; нельзя же рисовать себе всех дикарей философами, размышляющими над наблюдениями внешней природы и собственной внутренней природы. Явления сновидений могли служить и служат великолепной почвой, на которой, раз возникнув, идеология получает дальнейшее развитие; во всяком случае, этими явлениями можно вполне об'яснить многое, действительно непонятное для остальных, что творилось руками и старейших, и знахарей, и чародеев. А сами эти последние скорее всего могли создать представление о душах; в их практической деятельности,—колдовстве и прочем,—они могли скорее всего развить раз возникнувшие представления. Все болезненные состояния, в которых человек теряет сознание, снова возвращающееся, бредовые явления и т. д. могли скорее всего побудить к представлению и о двойниках людей, совершенно материальных двойниках, и о душах,—тех же двойниках,—умерших, могущих влиять на оставшихся в живых. Очень характерно, что эти чародеи и знахари могут вступать в связь с различными духами, т.-е. теми же двойниками, а высшие чародеи у австралийцев могут и видеть души своих предков; эти души невидимы только для остальных. А когда посвящение в знахари происходит старыми опытными чародеями, то они накладывают на наставляемых ими сроки молчания, наставляют их в их поведении, ограничивают их в пище и т. д. Ясно, что здесь своя особая группа, имеющая связь друг с другом, имеющая свои традиции, правила поведения и т. д. Не дикарь вообще выступает перед нами, а определенные группы дикарей со своими

особыми интересами, и через эти интересы преломленным воззрением на окружающие явления.

Наряду с болезнью есть и еще явления, связанные с подобными представлениями об особых силах, влияющих на человеческую жизнь. И прежде всего имеет особое значение страх смерти и страх перед покойником. Собственно, дело, в, конце концов, не в самом страхе перед покойниками, а в тех действиях, которые всегда сопровождают смерть и погребение. В группах, лечивших больных, имевших больше всего дела с покойниками, и возникло то представление, что и по смерти человек живет, и живет той же жизнью, что и живые. Этнографией установлено положение, что у всех малокультурных народностей страх смерти и покойников проявляется достаточно сильно. Цели самосохранения в данном случае приходится отвести большую роль; несомненно, что здесь имеет значение животный страх перед смертью и перед воплощением этой смерти—перед покойником. Но понимание этого явления—понимание смерти—могло исходить из той же группы, которая ближе всего соприкасалась с этим явлением. Для нее это явление преломлялось сквозь ее собственные интересы; в данном случае мы имеем дело с идеологией, отражающей известные общественные интересы.

В наиболее первобытных племенах настоящего времени, у австралийцев, исследователями отмечается огромная власть старейшей группы наряду с чародеями. Чародеи и знахари, особенно посвященные якобы самими духами (душами прежних чародеев и знахарей), имеют большое влияние на окружающих. Огромная власть принадлежит физически старейшим членам первобытных групп. По сообщению Рота в исследованных им квинслэндских племенах старики и пожилые люди являются «настоящими правителями и судьями, держащими под своим влиянием общественное мнение соплеменников... и обеспечивающими повиновение племенным обычаям». Общественные дела решаются стариками. Старики совещаются по делам охоты, рыбной ловли, переходов, случаев смерти соплеменников, чародейственных обрядов. Главари групп руководят исполнением решений стариков, пользуясь их указаниями. Вся жизнь юноши проходит под контролем и в полном подчинении у стариков. В конечном счете, все обряды посвящения из одной возрастной группы в другую имеют целью показать и доказать знания и силу этих стариков. «Каждый из посвящаемых,—рассказывают Спенсер и Гиллен, присутствовавшие при посвящении в высшую степень,—нес с собой свой щит, копье и бумеранг, ибо на обязанности их лежало итти в заросли, охотиться в течение дня и приносить дичь для «стариков», которые оставались в стане для совершения обрядов. Все это было средством закалить молодых мужчин, упрочить их повиновение старшим. Находясь в зарослях, они не имели права есть хотя сколько-нибудь той дичи, за которою они охотились, но должны были все целиком приносить «старикам», и от последних зависело давать что-либо охотникам или ничего не давать по возращении их с охоты». «Связанная всевозможными стеснительными обычаями и ограничениями не только в области удовлетворения высших потребностей и запросов,—замечает Тахтарев,—но даже и в области удовлетворения самых низших и чисто животных потребностей

(употребление пищи, брачные отношения), личность человека ни в каком случае не может считаться свободною. В какой области, спрашивается, может проявляться свободно его личная воля, когда человек связан во всех областях своей жизни бесчисленными ограничениями? Это одинаково касается как личности мужчины, так и в особенности женщин, которые на данной ступени развития общественности начинают делаться личной собственностью определенного мужчины, не переставая еще считаться и какою-то общественною собственностью целой группы мужчин, их возможных мужей» (Тахтарев, «Очерки...», стр. 155). Обряды посвящения рисуют нам средства, которыми пользуются старейшие для воспитания молодых членов групп; они раскрывают молодняку частицу своих тайн, они внушают ему мысль о значении предков, они воспитывают его в том духе, который желателен для самих стариков. Экономические корни этого проглядывают достаточно сильно во всех манипуляциях с пищей. Молодые не могут выходить из-под власти стариков, молодые воспринимают от них воззрения на окружающие явления. Первобытное миросозерцание имело своим источником эту группу знахарей, чародеев и старейших.

Данные исследователей говорят за то, что власть стариков в древнейшие времена была распространена у многих народностей, и, можно думать, у всех. Внутренние распорядки группы у обитателей Огненной Земли зависят в исключительных случаях от старших членов группы; слова старика для молодого—закон. Каждая часть племени веддов признает вождем деятельного старика; карибы считаются с авторитетом стариков. Характерно, что у австралийского племени наррииьери в мирное время правящий совет пожилых мужчин управляет всеми делами: судебное разбирательство, снятие лагеря, брак, обряды обрезания молодежи, обряды для вызывания дождя и т. п.; но на время войны эта власть передается вождю, являющемуся обыкновенно и опытным колдуном; по окончании войны он под страхом смерти обязан подчиниться решениям совета.

Связь с мертвецами у оставшихся в живых довольно значительная; и наибольшую связь имеют старейшие, хранящие предания своих предков, жестоко карающие нарушителей установившихся обычаев. Умершие являются теми существами, которые могут карать за непослушание; умершие мстительны, раздражительны и корыстны, но когда они сыты и довольны, то эти умершие довольно добродушны; благодетельными умершие являются только тогда, когда они ублаготворены различными приношениями. Не надо упускать из вида, что старики и при своей жизни, во время различных церемоний посвящения, уже воспитывают молодежь в страхе и в безусловном подчинении себе. Очевидно, и страх покойников и культ их связан прочными узами со стариками. Сами последние могли скорее всего останавливаться перед загадками смерти, но разрешение этой загадки, разумеется, происходило согласованно с их интересами господства: таково свойство вообще идеологического процесса.

Данных к тому, что покойники живут, было достаточно; тут имеют место и сновидения, и различные приметы, и прочее. Но толкование этого и было преломлено через интересы стариков, знахарей и чародеев. Но, вне сомнений, и животный инстинктивный страх перед покойником играл немаловажную

роль; он даже мог быть почвой, на которой и началась канва идеологических построений о смерти, покойниках, их дальнейшем существовании и т. д. Только этот страх прошел через призму группового, чтобы не сказать классового, сознания знахарей, чародеев и старейших, став в то же время фактором, первоначально обусловливавшим их господство в первобытных группах.

Покойникам, прежде всего, закрывают глаза в целях обезопасения себя от них. Чтобы покойник, — его душа, — не могла видеть живых и вредить им, даяки Борнео кладут на глаза мертвецов деньги, это же делают и многие другие народности, например, монголы. Убеждение, что мертвец может видеть живых людей и вызывать за собой присутствующих, сохранилось в качестве пережитка в распространенном поверье, что за умершим с открытыми глазами последует скоро и другой человек. По свидетельству путешественников, в Австралии «более пожилые привязывают друг к другу крепко-накрепко пальцы ног покойного при помощи крепких шнурков. Затем, они связывали таким же способом и большие пальцы рук мертвеца у него за спиной... На мой вопрос туземцы сказали, что связали мертвеца для того, чтобы лишить его возможности «ходить»... Соплеменники Дайери никогда не остаются в становище, в котором случилась смерть. В течение целой луны (4 недели) два старика ежедневно приходили к могиле при наступлении ночи и тщательно подметали место вокруг нее. А каждое утро в течение того же месяца они приходили к могиле опять и смотрели, нет ли на подметенном месте следов мертвеца. Они сказали мне, что если бы нашли следы, то вырыли бы тело и погребли бы его снова в каком-нибудь другом месте, ибо найденные следы означали бы, что мертвец недоволен своей могилой и «бродит». Имя умершего воздерживаются упоминать; говорят о нем, прямо не называя его. Чтобы покойник не нашел обратной дороги эскимосы Гренландии выносят умершего через окно, а в шалашах для этого делают отверстия; эти же обычаи распространены у краснокожих, у готентотов, бушменов, в Меланезии, в Индии, у самоедов, енисейских остяков, тунгузов. У многих народностей запрещено говорить дурно об умерших, а у некоторых племен краснокожих «злоречие об умершем карается даже смертной казнью» (Харузин, т. IV). Для того, чтобы совсем обезвредить покойника, тело его выбрасывается зверям: это делают калмыки, в Бомбее у парсов на «башне молчания» хищные птицы терзают тело покойника. С этим обычаем связано и другое желание, помимо стремления отделаться от покойника, —душа умершего, тесно связанная с телом, не воплотившись в другое существо, будет злым духом. Теперь же парсы в Бомбее об'ясняют свой обычай гигиеническими соображениями. Обычай калечения трупов также распространен довольно сильно. Австралийцы отрубают убитому врагу палец правой руки, чтобы он не мог бросать копье; чуди в Южной Америке раздавливают лицо умершему. Особенно подобные средства применяются к колдунам; в России широко распространено поверье о том, что колдуны встают из могил и тревожат живых людей; недаром русские крестьяне избавлялись от них вбиванием осинового кола.

Покойники являются, как видим, злыми существами. Всеми мерами стремятся от них избавиться. Такой взгляд на умерших дает полное основание говорить, что идея души, как

материального существа, продукт позднейшего времени, во всяком случае не первобытного. То обстоятельство, что в Австралии старики являются главнейшими исполнителями погребальных обычаев, опять может показать развитие у стариков представлений о мертвых. Их древнейшая власть была связана с утверждением значения душ предков, которые, по мнению австралийцев, даже жизнь дают людям; души живущих людей—воплощения душ предков. У австралийцев имеются особые предметы—чуринги, тесно связанные с душами людей, при чем видеть эти чуринги не могут ни непосвященные мужчины, ни женщины под страхом смерти; чуринги—это камни или дерешки с рисунками: эти чуринги олицетворяют собой души предков и хранятся в особых хранилищах. Эти чуринги составляют высшую тайну групп и доступны взорам старейших вполне посвященных мужчин; хранилища их известны только старейшим и посвященным. Чуринги служат убежищем душ предков, каждый же рождающийся есть воплощение души предков. Чтобы эти чуринги не гнили, старики натирают их красной охрой; ясно, следовательно, от какой группы исходит такое высокое представление о чурингах, а значит и о предках, об умерших людях.

Не останавливаясь на способах погребения, которые подтверждают тот же материалистический взгляд на души умерших, упомянем о потребностях мертвых. Папуасы питают мертвого тотчас же после смерти, накладывая ему в рот пищу. Но и после погребения души нуждаются в пище; умершие напоминают о своем голоде сородичам тем, что мучают их во сне, и при неисполнении их желаний насылают на них беды. Австралийцы в течение двух недель оплакивают каждую ночь умершего и на могилу покойника каждый раз приносится еда. Покойники везде нуждаются в пище, и в этой пище им не отказывают.

Итак, общественные отношения первобытных групп имели в себе условия, поведшие к развитию представлений о продолжении жизни после смерти, о наделении покойников,—их душ,—не только человеческими материальными свойствами, но и свойствами сверхчеловеческими. Группа, в которой такие представления развивались, и откуда они распространялись целым рядом «педагогических» и иных приемов в остальной массе, была группа старейших, обладавших значительной властью в обществе. Хранение заветов прошлого, постоянное внушение о подчинении этим заветам, сохранение в своих руках тайн предков и т. д.—ведет к развитию идеологических религиозных представлений и к проникновению их в массы. Этой массе с молодых лет внушается все то, во что веруют солидарно действующие группы вполне посвященных людей. Молодые вступают в жизнь взрослых уже достаточно обработанными теми воззрениями, которые сформировались в преобладающей группе орды.

II. Анимизм, тотемизм и фетишизм.

У наиболее примитивных народностей, у австралийских племен, существует характерное поверие: «у племени диери и сродных ему племен,—сообщал Гейсон еще в 1874 году,—имеются места, покрытые деревьями, которые они считают святынями. Наиболее крупные из деревьев они считают за останки своих преобразив-

шихся предков. Туземцы никогда не рубят этих деревьев, и если кому-либо из поселенцев потребуется срубить их, туземцы горячо сопротивляются этому, утверждая, что с ними случится беда и что их постигнет кара за то, что они не защитили своих прародителей». И это верование не составляет принадлежности одних австралийцев, оно распространено у самых различных племен и народностей. У альгонкинских индейцев Америки хоронят своих умерших детей около дороги, цель этого—души детей могут перейти в матерей и вновь родиться. В Африке многочисленные племена верят, что каждый новорожденный есть воплощение души предка. Австралийские чуринги, эти хранители душ предков и новорожденных, достаточно вскрывают корни широко распространенного поверия о перевоплощении душ. Души предков,—эти материальные существа,—сохраняются в природе, особенно в животных.

У тех же австралийцев развиты обряды, могущие выяснить нам истинный смысл данного явления. Души предков могут воплощаться в животное и растение. И одним из важных общественных дел австралийских племен являются чародейственные обряды по умножению продовольствия, смысл которых заключается в том, чтобы изгнать души животных из их убежищ и заставить воплотиться, чем и умножится количество животных и растений, а этим достигнется умножение пищи. Эти обряды происходят перед временем под'ема растительной и животной пищи, и ясно, что успех этих обрядов обеспечен; но для туземцев успех этих обрядов зависит от чародейства. Кому же принадлежит инициатива в этих чародействах? Они совершаются по решению стариков и под руководством главаря племени. Во всей церемонии обрядов есть характерные моменты, выясняющие связь господствующей группы у австралийцев стариков с этим умножением пищи. Когда идут мужчины для совершения этих обрядов, всякая пойманная дичь немедленно передается старикам, во время обрядов старики поют песни, приглашая животных сойтись со всех сторон и класть яйца, главарь племени в одном месте берет один из камней и ударяет им в животы мужчин, со словами: «Да будешь ты есть много пищи». И если теперь это тотемическое животное, от которого они ведут свое происхождение, и не принимается в пищу, все же есть полное основание говорить, что когда-то данным животным питались эти группы. Недаром по окончании этих обрядов мужчины тотема кенгуру идут на охоту за кенгуру и убитые животные передаются старикам, после чего поедаются. У племени Арунта тотемическое животное может быть убито и с'едено членами тотема—группы. В то же время данная группа ведет свое происхождение от животного тотема, и это явление не исключительно австралийское, но и общечеловеческое. Но не надо забывать, что души предков воплощаются в различных животных. Сопоставив эти факты, легко прийти к заключению, что первобытные старейшие группы, имевшие ближайшую связь со своими предками, и через этих предков обеспечивавшие свое руководство группами, и являются той общественной средой, так же, как и в их среде развились представления о продолжении жизни после смерти. Чародейственные обряды умножения продовольствия составляют, ведь, по уверению путешественников важнейшее общественное дело австралийцев.

Сама природа, по мнению австралийца, построена по типу австралийского общества. Файзон и Гоуитт, исследовавшие австралийские племена камиларои и курнаи, указывают: «Тотемическое устройство делит, по мнению австралийца, не только человечество, но и весь мир разбит на подразделения, которые можно было бы назвать родами. Все предметы в природе разделены на классы: ветер принадлежит к одному (тотемическому) классу, дождь—к другому... Южный австралиец смотрит на вселенную, как на большое племя, к одному из подразделений которого принадлежит он сам, и все одушевленные и неодушевленные предметы, относящиеся к его классу, составляют для него лишь отдельные части того целого, к которому он принадлежит сам: они почти части его самого». Бо́льшая же роль в этом мире принадлежит тем существам, с которыми связана данная группа, а связана она через посредство предков, загробная сила которых есть сила старейших.

Первобытные анимисты—душеверы—убеждены в возможности воплощения душ в тело животного, и человека, и растения, и поклонение различным предметам, животным в особенности, есть в сущности поклонение душам предков. Миссионеры, живущие в Старом и Новом Свете, часто выслушивают просьбы туземцев не рубить тех или иных деревьев, ибо в них обитают предки. В существе явления дело сводится, следовательно, не к простому почитанию тех или иных животных и растений и вообще предметов, а к почитанию ранее существовавших людей-предков. На этом фоне и могут быть рассматриваемы явления анимизма, фетишизма и тотемизма. Харузин в своей «Этнографии» указывает на трудность установления разницы между тотемизмом и фетишизмом, и в то же время считает анимизм почвой, на которой вырос тотемизм. А Тахтарев утверждает, что «серьезное изучение миропонятия этих племен (Африки, Америки, Азии) показывает, что и в данном случае дело идет не о простом поклонении этим предметам, а поклонении душам предков, которые нашли в этих предметах своевременное убежище». Только, и это очень важно, в возникновении и развитии этих представлений надо видеть не просто различные представления дикарей вообще, а известной группы среди них, в голове которой преломляется существующая социально-экономическая обстановка и дает дальнейший толчек развитию уже возникшей идеологии; а данная идеология соответствовала интересам этой группы и в то же время легко могла быть воспринята остальными, благодаря явлениям сновидений.

Практический, экономический характер явлений душеверия, по которому вся природа населена духами, проглядывает слишком ярко, чтобы в этом можно было сомневаться. Анимистические представления являются характерными в том отношении, что человеческие свойства приписываются животным и другим одухотворяемым предметам. Австралийская собака Динго обладает даром слова, краснокожие туземцы Северной Америки считают рыб и оленей разумными существами, австралийцы, лопари, самоеды, краснокожие Америки обращаются с извинениями к убитым медведям; по верованиям приволжских татар бобр говорит по-человечески и просит охотника не убивать его. Различные фетиши, т.-е. те предметы, которым поклоняется данное лицо, палка, камень, кольцо, чувствуют то же, что и человек,

могут страдать и радоваться, имеют все человеческие материальные потребности. Фетиши являются такими предметами, от которых зависит благополучие лица. Остяки бьют и увечат своих купленных фетишей, если охота или рыбная ловля оказались неудачными, а после этого приносят им жертвы и одевают в дорогие одежды в надежде их исправления. Туземцы Африки, меланезийцы, полинезийцы, индейцы Америки, вогулы, остяки и прочие требуют за почитание фетиша услуг за него. Кто же делает этих фетишей? Обычно, лица, обладающие сверх'естественными свойствами, колдуны-шаманы; они могут вселить дух в данный предмет, они могут заставить духа жить в известной внешней форме. Колдун-шаман приводит себя в возбужденное состояние, и в это время и может заставлять духа делать то, что хочет. Это оказывается настолько выгодным предприятием, что, например, «у краснокожих Америки почти в каждом селении найдется 20 и более колдунов, занимающихся их выделкой. В Африке это же занятие вполне обеспечивает существование шамана-колдуна» (Харузин). Харузин же сообщает, что «постоянное общение с фетишем возможно только шаману-колдуну». Таким образом, когда фетиш получает известность на большую округу, желающие вопрошать его всегда обращаются к шаману. Шаман и играет поэтому в первобытном обществе видную роль, которая усиливается еще тем, что фетиш самого шамана обыкновенно, если этот последний искусен в своем ремесле, пользуется и особой славой среди населения. К содействию шамана некультурному человеку приходится обращаться часто; не только выдающаяся охота или война, но «всякое важное дело требует содействия могущественного фетиша» («Этнография», т. IV, стр. 104). Фетиш является и лекарем, но тоже через шамана; можно узнать вора посредством фетиша—его вопрошает шаман. Амулеты, предохраняющие от различных несчастий, также изготовляются шаманами; у племен с развитым фетишизмом развито и ношение и изготовление амулетов.

Это показывает нам опять на ту социальную среду, в которой первоначально развиваются религиозные представления. Мы видели колдуна-шамана врачевателем, теперь он делает фетишей и торгует ими во имя медицинских и хозяйственных целей.

Как видим, есть одна прочная связующая нить от болезни и смерти в первобытном обществе к поклонению покойникам, к воплощению умерших в природе, к воздействию на предметы природы в своих целях.

«Медицина первобытных народов,—говорит Бартельс,—представляет собою странную смесь невежества и опыта, неверных посылок и логических выводов, суеверия и демономании, с одной стороны, и практических способностей отдельных лиц, с другой; повидимому, их медицинские познания вращаются в заколдованном кругу демонологии, но, вместе с тем, мы встречаем у них многие полезные приемы и сведения. Близкое знакомство с растительным миром, правильное понимание целебного действия различных трав неоднократно засвидетельствовано путешественниками». Эта социальная среда, лечившая людей, была тесно связана со старейшей группой в первобытной орде, которая также пользовалась своим опытом, своим знанием природы, своей близкой связью с предками для определенных групповых целей. В этой среде создалось представление о душах пред-

ков, о перевоплощении их в животных и людей. И это и было почвой, на которой развился анимизм и тотемизм. Души предметов природы не какие-то отвлеченные существа, а те же люди со всеми материальными потребностями, как материальны души предков, воплощающиеся в этих предметах. Люди ведут свое происхождение от того или иного тотемического животного, но само это животное является душой воплотившегося предка. Животным тотемам оказываются те же знаки внимания, что и умершим людям. Кто найдет мертвым свое тотемическое животное, тот должен показать свою печаль и устроить этому животному почетное погребение. Смерть гиены у племени Ваника на восточном побережьи Африки, считающего своим родоначальником гиену, ведет к общей печали всего населения. В Южной Аравии одно из племен погребает умершую газель и все племя целую неделю носит траур в знак печали. Древнее население Серифоса, одного из островов Егейского моря, выпускало обратно в море попавшегося в рыболовные сети рака, мертвого же рака погребали и оплакивали, «как одного из своих».

Теперь убивать животное-тотем запрещено, за исключением особых случаев. Здесь, возможно, следует иметь в виду то экономическое значение, которое имел тотем в начавшемся обмене между группами. Об этом обмене есть определенные сведения. Но для первобытного времени важно то, что тотем служил пищей данной группы. Выяснить все это можно, лишь бросив ничем не оправдываемое стремление оперировать понятием дикарь вообще, ибо, как показывают племена австралийцев, такого дикаря нет, а есть определенные общественные группы дикарей. Их роль уже отмечена, в особенности важна роль старейших в хранении чурингов и в обрядах умножения продовольствия. С общей предпосылкой внутригруппового расслоения и надо подойти ко всем этим явлениям, чего не делают путешественники среди отсталых племен; тогда бы раскрылись многие важные явления первобытной идеологии, пока еще скрытые за туманом общего понятия «дикарь». Во всех об'яснениях первобытной религии сновидения занимают фундаментальное место, над сновидениями дикарь философствует, в результате чего возникает религия. Между тем само об'яснение сновидений должно исходить из некоей среды, в которой они преломлялись именно таким, а не иным образом. Только при таком подходе и может быть научно разработана во всех деталях первобытная религия.

ТРИБУНА.

О некоторых спорных проблемах диалектики.

Вл. Сарабьянов.

Несколько вступительных слов.

Тов. Столяров в последнем номере «Под Знаменем Марксизма» выступил против меня, вернее, против тех истолкований диалектики, которые я даю, и пришел к выводу, что они неудачны, что в них много от богдановщины, еще больше от «механистичности», а в целом—эклектизм и непродуманность.

В настоящей статье я не собираюсь «полемизировать» с тов. Столяровым, так как и меня, и нашего широкого читателя проблемы диалектики волнуют настолько сильно, что практикуемые теперь формы полемики ни в коей мере, надеюсь, нас не удовлетворят в отношении выяснения вопросов диалектической логики. Я этим не хочу сказать, что тов. Столяров ничего не понимает в диалектике, что он того или этого не продумал, что он «мандарин» от Гегеля.

Мое глубокое убеждение, что третирование противника—плохой способ искания истины как относительной, так и абсолютной.

Статья т. Столярова ценна тем, что она типична, что она—худо ли, хорошо ли—действительно показывает, на чем многие из нас расходятся друг с другом. Правда, мой критик об'ясняет наличие расхождений «свойствами» лиц не его лагеря заблуждаться, но не слишком ли много таких лиц и не достаточно ли расхождений внутри каждого лагеря, чтобы поискать причин несогласия и разнобоя также и в том, что область диалектики во многом еще представляет собою неисследованную область.

Мне лично кажется, что стройной, детально разработанной, хотя и неверной, формальной логике мы противопоставили хотя и верную, но далеко еще не стройную, мало разработанную диалектическую логику.

«На вас одна надежда, т. Сарабьянов!»—иронизирует т. Столяров. Нет, надежда не одна, их много, если мы перестанем расценивать всякую попытку сказать новое слово, как признак самомнения и неумности «новатора». Новые слова должны быть сказаны, и автором их будут не гении, не единицы, а нарастающая масса. Единственная надежда и на меня, как на единицу в этой массе, и на вас, т. Столяров, хотя вы пока и склонны ограничиться «аквизитом» Гегеля, Маркса, Энгельса и других наших учителей. Диалектика, это—наша, марксистская логика, соответствующая общим законам движения об'ективного мира.

На вопросы, выдвигаемые жизнью, мы отвечаем или пожатием плеч (да—нет, нет—да) или категорическим «да—да», «нет—нет».

Наша логика должна теоретически обосновать право пользования этими противоположными формулами. Все течет, все изменяется беспрерывно. Это—бесспорное положение. Точки покоя нет. Кривая развития мира не есть что-то вроде кинематографической ленты, где «сплошной» процесс в действительности представляет собой смену одних точек (моментальных снимков) другими.

Отсюда—столь «противоречивая», столь нелепая для формальной логики формула «да—нет, нет—да».

Общество в своей практике пользуется, однако, и аристотелевской логикой с ее «да—да, нет—нет».

Активный класс, активное общество не может ею не пользоваться в большой мере, хотя бы и с не менее большой осторожностью.

Не ясно ли, что формула «да—да, нет—нет» не может быть применима, если мир не знает покоя, если движущийся предмет в своем развитии и находится, и не находится в данный момент в данной точке.

Лучшие наши теоретики понимали, что «точка покоя» все же имеется, хотя даже единожды нельзя переплыть одну и ту же реку, и они ее искали.

В частности, Плеханов в своем предисловии к «Фейербаху» Энгельса говорит о более или менее прочных, существующих более или менее продолжительное время **сочетаниях** молекул движущейся материи.

Фактически дело сведено к тому, чтобы считать состоянием «покоя» состояние определенного качества, пока оно не перешло определенной меры, т.-е. не превратилось в свою противоположность, в иное качество.

Стоит лишь взять любой пример из Энгельса или Плеханова, на котором они демонстрируют правильность формул обеих логик, чтобы убедиться, что дело обстоит именно так.

Диалектическая логика должна была своим исходным пунктом сделать «качество», «противоположность» и она это сделала, но лишь начерно.

Еще так недавно нас удовлетворяло полностью разрешение проблем диалектики Марксом, Энгельсом, Плехановым, но теперь, когда наши требования выросли, когда с помощью диалектики приходится разрешать все новые и новые вопросы, да еще в мало знакомых нам областях, мы видим, что орудие диалектики необходимо уточнять.

Кто осмелится утверждать, что у Гегеля, Маркса, Энгельса, Плеханова, Ленина и других дано более или менее схожее определение такой важной категории, как «качество»?

Я полагаю, что столь смелого человека, хорошо знакомого с упомянутыми диалектиками, не найдется.

А наши теперешние теоретики?

Тов. Аксельрод считает «качество» суб'ективной категорией. Тов. Деборин не делает различия между свойством и качеством, гелий и радий безотносительно определяя, как разные качества [1]). Тов. Бухарина можно понимать так, что качеством

[1]) «Введ. в философию», изд. 1916 г., стр. 245.

является вещь в устойчивом состоянии. Большинство же пишущих о диалектике просто молчат о качестве.

Но читатель наш не молчит!

В любой вузовской аудитории по диалектическому материализму вам возразят, когда вы будете давать примеры о переходе в противоположность: «какая же это противоположность!». Естественник же преподаватель подкрепит сей «скептицизм» рядом ученейших доказательств, что стебель не есть противоположность зерну, что природа скачков не делает и т. д.

Есть над чем работать! Поставлены проблемы, требующие решения!

Дальше, диалектика говорит об абсолютной и относительной истине. Достаточно раскрыть десяток книг наших лучших современных авторов, чтобы убедиться, какая тьма трудных задач еще не решена.

Что стоит одно смешение двух понятий «абсолютной» и «об'ективной» истин!

А разве совсем уж бесспорно то положение Энгельса, что вечные истины исчерпываются такими истинами, как «Париж находится во Франции», «человек должен есть», «Наполеон умер тогда-то»? А мало ли дискуссий вызвала в нашей среде триада Гегеля? И разве случайность, что т.т. Бухарин, Скворцов и многие другие снова поднимают вопрос о механическом миропонимании, о неправильности противопоставления «механического» «органическому»?

Нам думается, что без самого серьезного изучения всех этих проблем нам не обойтись, так как от Гегеля—Маркса—Плеханова мы, если можно так выразиться, исходим, но ставим точку с запятой там, где ими самими поставлена точка.

Опубликованный во II томе «Архива» материал нас убедил, что для самого Энгельса многое чрезвычайно существенное далеко не представлялось ясным, что Энгельс искал в современном ему естествознании ответа на очень «проклятые» вопросы. Мы не можем согласиться с т. Степановым, что опубликованный материал показывает двух Энгельсов; по нашему мнению, тов. Деборин прав в своих толкованиях нашего учителя, а не тов. Степанов.

Но что этот материал убедительно говорит об Энгельсовых исканиях, о колебаниях, о сомнениях,—для нас это бесспорно. Энгельс сомневался, Энгельс искал лучших форм выражения общих законов движения и мышления, а мы самодовольно повторяем этого великого мыслителя и считаем за оскорбление его памяти, за профанацию его учения все вновь произносимое, а тем более в той или иной мере расходящееся с ним!

Мы отлично понимаем, что критика таких учителей марксизма, как Маркс, Энгельс, Плеханов, Ленин, легко приводит в лагерь врагов марксизма, но здесь нужно лишь зорко следить за критиками, чтобы во-время предостеречь как их самих, так и читателя, в случае, если критик вступил на скользкий путь.

Но убивать попытку продвижения вперед во имя учителей,—этого допускать нельзя.

Пусть не думает читатель, что я полемизирую с воображаемым противником.

Все мы знаем, что продвигаться вперед нужно, но в течение нескольких лет мы не встретили в наших толстых журналах

ни одной статьи, где ставились бы новые проблемы, или по-новому старые, поскольку речь идет о диалектическом методе. Нужно создавать такую обстановку, которая бы благоприятствовала научному «изобретательству», а не тормозила его. Остановлюсь теперь на некоторых своих «изобретениях», в чаянии вызвать деловую дискуссию по узловым вопросам диалектической логики.

Качество.

Молекулы находятся в беспрерывном движении, но в этом движении образуются более или менее длительные сочетания. Так пишет Плеханов. Эти сочетания и есть качества,—продолжает Плеханова т. Деборин. Гелий и радий, по мнению т. Деборина, это—два разных качества. Ему вторит т. Степанов, перечисляя различные качества: теплота, свет, электричество и проч. и проч.

Так ли это? Не есть ли любой данный предмет, любое данное сочетание в одной обстановке, в одном отношении одно качество, в другом отношении—иное?

Вспомним Ленина. Он указывает, что тот же самый работник, награжденный в эпоху военного коммунизма орденом красного знамени, при нэпе достоин порицания, если не изменил себя, если не стал существом с иными, такими-то свойствами.

Почему Ленин одну и ту же совокупность свойств расценил по разному? Потому, что он ее брал в одном случае в одном отношении, в другом случае—в ином: некто в качестве военного работника, тот же некто в качестве хозяйственника. Свойство является категорией иного порядка, нежели качество. Данный пример блестяще подтверждает правильность этого положения.

Нужно ли доказывать азбучную истину, что радий и гелий в одинаковых условиях в отношении к одним и тем же предметам суть разные качества. Бесспорно также и обратное: в разных условиях их свойства могут дать одинаковый результат. Хина—разные качества в отношении к здоровому человеку и к больному малярией.

Определить качество процесса можно только в отношении к другому или к совокупности (к единству) других процессов. Качество не лежит в основе отношения, как думает т. Столяров, так как вне отношения вещь бескачественна, хотя и обладает бесчисленным количеством свойств.

Тов. Столяров ссылается на Гегеля, цитируя его: «Качество есть свойство прежде всего и преимущественно в том смысле, поскольку оно обнаруживает себя во внешнем отношении, как имманентное определение».

Цитата приведена т. Столяровым с целью убедить нас, что «качество, как отношение» не следует смешивать с тем, «что качество проявляется через отношение». Как будто бы это действительно так. Однако стоит лишь присмотреться в положение дела внимательнее, как мы увидим, что одно другому нисколько не противоречит.

Строго говоря, качество не относится к вещи или к свойствам ее, так как оно есть отношение.

Нет худа без добра. Что «добро» и «худо» есть качества, это, надеюсь, бесспорно.

Но имманентно ли «худо» данной вещи? Имманентно ли ей «добро»?

Было бы смешно дать на эти вопросы утвердительный ответ, так как ясно, что «худо» или «добро» имманентно данному отношению. Например, работник со свойствами «военнокоммунистическими» и военная работа есть добро, а тот же работник и хозяйственная работа при нэпе есть худо. «Худо» или «добро» не причина, не свойство вещи, не одно лишь абстрактное действие последней, а самое отношение, т.-е. взаимодействие с определенным результатом одной (одних) совокупности свойств и другой (других).

Тов. Деборин не склонен различать свойство и качество, а т. Столяров вслед за ним вопрошает: «какой смысл противопоставления «качества» и «свойства», а также элементов?

Тот смысл, что мы не хотим смешивать понятия. Вода есть совокупность элементов (водорода и кислорода) и как совокупность обладает свойствами (не свойствами водорода и кислорода, а свойствами воды), участвующими в разных отношениях (вода и засуха—одно качество, «добро», вода и перенасыщенная влагой почва—другое качество—худо»).

Многие смешивают эти категории и получается путаница, а главное—центральная категория «диалектики»—качество—остается таинственной незнакомкой.

Так, значит, цитированное положение Гегеля не верно? Если придираться к словам, оно, на мой взгляд, не верно; однако я предпочитаю судить о Гегеле не по словам его, а по смыслу, скрывающемуся в них и выступающему на «свет божий», если брать слова в общем контексте.

Речь наша далеко не совершенное орудие мысли, и мы сами далеко не безукоризненно действующий механизм.

Вот почему и у Гегеля, и у Маркса качество есть и самое отношение, и вещь, участвующая в отношении.

Маркс определяет качество, как отношение [1]):

«...Капитал—это не вещь, а определенное, общественное, принадлежащее определенной исторической формации общества производственное отношение, которое проявляется в вещи и придает этой вещи специфический общественный характер. Капитал не есть сумма материальных и произведенных средств производства».

Капитал—отношение. Капитал—отношение буржуазии, пролетариата, орудий и средств производства.

И все же Маркс называет капиталом также и элементы этого отношения, вернее, не элементы в целом, а в том специфическом, что стало им имманентно только в этом отношении.

Приведенный нами абзац из Маркса имеет следующее продолжение:

«Капитал, это—превратившиеся в капитал средства производства, которые сами по себе так же не суть капитал, как золото или серебро сами по себе так же не суть деньги».

Как часто мы убеждаем наших вузовцев, что машина не капитал, что даже в процессе буржуазного производства она не капитал, что таковым является отношение в форме создавания прибавочной стоимости рабочего, в форме увеличения с помощью

---

[1]) «Капитал», III, ч. 2, стр. 351—352. ГИЗ, 1923 г.

машины нормы относительной прибавочной стоимости, в форме присвоения ее буржуазией.

Однако это не мешает нам говорить об основном и оборотном капитале советской государственной промышленности.

Поменьше придирок к словам, иначе и Гегеля с Марксом придется занести в разряд метафизиков. Побольше вникания к смыслу их слов.

Мы еще не нашли соответствующего термина для определения вещи, участвующей в отношении, в отличие от самого отношения, почему и называем качеством как вещь, так и отношение.

Вот почему нет ни малейшего противоречия, что «качество—отношение» и что «качество обнаруживает себя в отношении». Но будем все же помнить, что в точном смысле слова качество, это—само отношение. Госкапитализм не качество, а совокупность свойств, и Ленин хорошо показал, когда госкапитализм приобретает качественные черты: госкапитализм и социализм (отношение), это—плохо, а госкапитализм и частно-хозяйственный капитализм, это—хорошо.

Прибавочный продукт, создаваемый работником, нисколько не качество; но, если он взят в определенном отношении, он приобретает качественные черты, черты того отношения, в котором он создается: черты социализма (прибавочный продукт присваивается обществом трудящихся), или черты капитализма (приб. пр.—приб. стоимость).

Мы говорим о качестве прибавочного продукта, тогда как качеством является отношение: кто присваивает продукт кого. Член отношения, конечно, окрашивается в тона последнего.

Для меня лично все это настолько бесспорно с точки зрения марксизма, что, «квалифицируя» качество, как отношение, мне и в голову не приходила возможность более или менее серьезной дискуссии по этому вопросу.

Я, конечно, видел, что Плеханов, Деборин и другие под качеством понимают «сочетание» молекул, но, признаться, не думал, что они будут настаивать на точности такого толкования качества.

Плеханов вообще над этим вопросом не работал, судя по тому, что о «сочетании» он говорит как бы мимоходом. Да и можно ли противопоставлять движение молекул движению «сочетаний»? Подобное противопоставление имеет смысл в устах атомиста старой школы, который считает все вещи «сочетанием» атомов (или молекул), как простейших форм материи, как «протоматерий».

Мы-то знаем, что и атом есть «сочетание», и электрон тоже «сочетание».

Я вообще эту теорию «сочетаний» считаю чрезвычайно опасной в том отношении, что она легко ведет к гегемонии такой категории, как «число», к односторонней количественной оценке процессов.

Тов. Степанов тоже склонен под качеством понимать «сочетание», но он одновременно проповедует как раз сведение качества к количеству.

Он пишет: «Однако, развитие химии не остановилось и на Менделееве. Сейчас химические свойства элементов рассматриваются не как функция атомного веса, а как функция атомного

числа,—именно числа электронов, вращающихся около центрального ядра». Едва ли кто-нибудь из нас усумнится в том, что и электроны, и центральные ядра будут уложены в нечто подобное менделеевской системе, что на «числе» наука пока остановилась только по своей «электронной» молодости.

Если мы в этом отношении правы, то к плехановскому положению (молекулы-то двнжутся беспрестанно, но их сочетания более или менее длительны и прочны) надо относиться не иначе, как к намеку на какую-то мысль, им, к сожалению, недосказанную (не потому ли, что для него многое в вопросе о качестве было «темной водой в облаках»?). То, что мною сказано о «сочетании», относится и к определению качества, как равновесия.

Равновесие, имя которому «военный коммунизм», есть одно качество в отношении к одному врагу (Колчак, интервенция...) и иное качество в отношении к другому врагу (падение производительных сил...).

Качество есть отношение, вполне об'ективное, которому соответствует качество, как категория мышления, диалектической логики.

Если совокупность свойств того или иного, или всех его членов меняется, то отношение становится иным качеством. Поскольку мы определяем качество одного лишь члена отношения (а пока мы это делаем), то ясно, что оно иное, если в совокупности свойств этого члена не стало одного, двух групп свойств или появились новые,—оно иное при всех прочих «равных» условиях, т.-е. если остальные члены остались старыми совокупностями свойств.

И обратно, данный член становится иным качеством даже, как старая совокупность свойств, если выпали и возникли те или иные свойства других членов отношения.

Тов. Столяров иронизирует: «сложение», «вычитание», арифметика. Не всегда арифметика плоха, т. Столяров; это во-первых; а во-вторых, смерть и рождение (см. Гегеля) означает появление и гибель качества, о котором у меня и идет речь. Сложением т. Столяров подменил рождение, а вычитанием—смерть.

Мой критик уверен, что «моя» теория качества есть тень, которую я поймал в результате последних лет своей работы.

Я жду более обстоятельной критики «своей» теории, ибо от этой «тени» не отделаешься голым декретированием и вынесением приговоров, почти не мотивированных.

Синтез об'ективизма с суб'ективизмом.

Ленин говорил, что необходимо изучать вещь во всех ее связях и опосредствованиях. Человечество в своей истории этим и занимается. Но мы, члены определенного класса, определенной партии в конкретных времени и пространствах, рассматриваем вещи всегда в определенных связях и опосредствованиях.

Ленин называл эклектизмом, когда ставили вопрос «вообще», а не конкретно.

Он в своей чудесной речи о профсоюзах писал:

«...отвечаю популярным об'яснением того, что такое эклектизм в отличие от диалектики. Стакан есть, бесспорно, и стеклянный цилиндр, и инструмент для питья. Но стакан имеет не

олько эти два свойства, или качества, или стороны [1], а бесконечное количество других свойств, сторон, взаимоотношений и «опосредствований» со всем остальным миром. Стакан есть тяжелый предмет, который может быть инструментом для бросания. Стакан может служить, как пресс-папье, как помещение для пойманной бабочки, стакан может иметь ценность, как предмет с художественной резьбой или рисунком, совершенно независимо от того, годен ли он для питья, сделан ли он из стекла, является ли форма его цилиндрической или не совсем, и так далее, и тому подобное».

Иначе говоря, стакан—и то, и другое, и десятое... качество. Практически такое определение качества бесполезно, ибо в данном случае оно не конкретно, оно «вообще».

Ленин не может, конечно, удовлетвориться констатированием наличия бесчисленных свойств стакана и бесчисленных отношений (связей), в которых участвует стакан, а потому он продолжает:

«Если мне нужен (разрядка везде моя. *В. С.*) стакан сейчас, как инструмент для питья, то мне совершенно не важно знать, вполне ли цилиндрическая его форма и действительно ли он сделан из стекла, но зато важно, чтобы в дне не было трещины, чтобы нельзя было поранить губы, употребляя этот стакан, и т. д.».

Ленин всегда подчеркивал необходимость изучать «со своей точки зрения», «в данное время», «при данных конкретных обстоятельствах».

Определить качество, это значит—рассмотреть вещь не во всех связях, а в определенных.

Хорош ли данный работник? В этом отношении хорош, в другом плох, в третьем так себе.

Активный класс, активный суб'ект, опираясь на «аквизит» человечества, которое изучало вещь в различных отношениях, всегда рассматривает ее в определенных связях, в определенных отношениях и поэтому получает возможность определить качество.

Естественники очень любят говорить об изучении вещей безотносительно к «грязно-еврейской» форме проявления человеческой практики.

Революционный класс не любит иллюзий, он срывает с действительности накидываемое на нее эксплоатирующими классами «внеклассовое», «внесуб'ективное», «надсуб'ективное» покрывало.

Он устами Ленина говорит о «мне нужно», он изучает процессы в определенных отношениях, необходимость изучения каковых диктуется ему его классовыми интересами, интересами его, как конкретного, данного суб'екта.

В каком отношении надо рассматривать вещь, это—вопрос не теории вообще, не принципа вообще, а теории конкретной практики, практики конкретного суб'екта. Первый тезис Маркса о Фейербахе говорит именно об этом.

Тов. Столяров кинул фразу, что мною неверно истолкован этот тезис, но в чем именно неверность, об этом он не счел нужным сказать.

---

[1] Как мы видим, Ленин тоже смешивает свойство с качеством, но вся речь убеждает нас, что он определяет качество стакана, как отношение.

Приведем этот тезис целиком:

«Главный недостаток всего предшествовавшего материализма —до фейербаховского включительно—заключается в том, что предмет, действительность, чувственность рассматривается только в форме об'екта или в форме созерцания, а не как чувственно-человеческая деятельность, не в форме практики, не суб'ективно. Поэтому действительная сторона, в противоположность материализму, развивалась идеализмом, но только абстрактно, так как последний, естественно, не знает действительной, чувственной деятельности, как таковой. Фейербах выдвигает чувственные об'екты, действительно отличные от об'ектов, существующих лишь в наших мыслях, но он не постигает самую человеческую деятельность, как предметную деятельность.

Поэтому в «Сущности христианства» он рассматривает, как истинно человеческую, только теоретическую деятельность, тогда как практика постигается и фиксируется только в ее грязно-еврейской форме проявления. Он не понимает поэтому и значения «революционной», практически-критической деятельности.

Этот тезис истолковывается в том смысле, что Маркс зовет к изучению мира с целью его изменения, а потому считают его обвинение Бэкона и Фейербаха в безактивности направленным не по адресу.

Мы считаем, что Маркс был стопроцентно прав, когда обвинял всех материалистов вместе с Фейербахом в исключительном об'ективизме. В первом тезисе речь идет вовсе не об активном или пассивном отношении к явлениям бытия.

Об этом отношении Маркс говорит в другом тезисе о Фейербахе, в одиннадцатом:

«Философы лишь различным образом об'ясняли мир, но дело заключается в том, чтобы изменить его».

В поэзии принято одними и теми же строфами начинать и заканчивать стихотворение.

Маркс тоже был поэтом, хотя и плохим, но он умел в своих ученых работах не выдавать в себе «поэта».

Одиннадцатый (последний) и первый тезис не перефразировка одной и той же мысли, а формулировка различных положений.

В одиннадцатом тезисе Маркс говорит об изучении мира ради его изменения, а в первом—о том, как изучать мир, чтобы воспользоваться результатами изучения в интересах суб'екта.

Первый тезис имеет в виду метод познавания, который в работах даже Бэкона и Фейербаха страдает чрезмерным об'ективизмом.

Смешно думать, что зрячий Маркс не заметил активного элемента в работах обоих этих философов, не обратил внимания на то, что весь «Новый органон» Бэкона буквально пронизан одной идеей: «изучай мир, чтобы его изменять».

Но ни у Бэкона, ни у Фейербаха не подчеркнуто, что изучать об'ективную вещь необходимо под углом зрения конкретного суб'екта.

Они, как и современные естественники, полагали, что возможно только об'ективное изучение. Маркс им и отвечает: пред-

мет надо брать и суб'ективно, в форме практики, с точки зрения интересов конкретного суб'екта («грязно-еврейская форма проявления» практики).

Можно ли квалифицировать мир об'ективных явлений по разному? Иначе говоря, можно ли изобразить кривую животного мира во времени или в пространстве в виде различных качественно-ступенных лестниц? Имеем ли мы право и должны ли мы классифицировать, например, коров и так, и этак?

Конечно, имеем право и должны. Классификация художника будет одной, а классификация скотовода—другой. Тов. Столяров по поводу этого моего примера замечает: «относится ли т. Сарабьянов к первым или ко вторым—остается под секретом».

Если это не полемическая привеска, то т. Столярова можно понять следующим образом: не обязан ли т. Сарабьянов занять определенную позицию, позицию не художника, и не скотовода, а пролетариата.

Но в том-то и дело, что пролетариат, по крайней мере в СССР, озабочен постановкой дела и в области искусства, и в области животноводства.

Нужно ли доказывать, что классификация коров с точки зрения животноводства может оказаться мало удовлетворительной для художника.

Каждый суб'ект классифицирует один и тот же мир об'ективных явлений по разному в зависимости от того, чему должна служить эта классификация, каких целей она должна помочь достигнуть. Но не есть ли классификация Linnея надсуб'ективная, в определенную эпоху обязательная для всех классов? Да, она может быть обязательной и для пролетариата, и для буржуазии, но это не значит, что она надсуб'ективна.

Суб'ект тоже категория относительная. Пролетариат—суб'ект, выступая против буржуазии, а последняя для него об'ект. Но ведь и наоборот. Суб'ект—семья (в определенном отношении), суб'ект—я и вы, т. Столяров, суб'ект—общество, напр., советское, суб'ект—все человечество.

Классификация Линнея может быть обязательна для суб'екта—человечества.

Но не встаем ли мы на путь эклектизма, провозглашая правомерность постановки вопросов с точки зрения и этого класса, и другого, и пролетариата, и буржуазии?

Нет, нисколько. Представим себе, что буржуазия, научно изучая законы общественного развития, познавая об'ективную необходимость, выступает в согласии с этой необходимостью против рабочего класса. Пролетариат выступает против буржуазии. И тот, и другой действуют верным, научным методом. И буржуазия права, и пролетариат прав. Эклектизм? Соглашательство?

Да, если только созерцать мир, если брать его только в форме об'екта.

Но мы не только созерцаем, а еще и боремся. Буржуазия может выступать против нас вполне научными способами, она может в борьбе с нами ставить научно обоснованные цели (напр., не закрепить на веки капитализм, а лишь задержать процесс его разложения), так же как и пролетариат в борьбе с буржуазией будет ставить цели в согласии с об'ективной необ-

ходимостью (не сразу к коммунизму, а через переходную эпоху). И буржуазия права, и пролетариат прав. Созерцатель, об'ективист пожмет плечами: чего борются? Ведь оба правы!

Но мы—активисты. Мы скажем: именно потому, что буржуазия действует научными методами, что ее цели не утопичны, а научно обоснованы, мы должны еще решительнее бороться с буржуазией. Мир знает не одну правду, а множество их. Монархия разумна, но и борьба с ней тоже разумна,— говорил Герцен.

Не угодно ли выбирать! [1]).

Когда Маркса судили, он не говорил, что буржуазия не права. Он отлично понимал, что две правды, две истины должны часто ставить друг друга к стенке, так как они суть истины двух борющихся суб'ектов (классов). Естественники пытаются создать единственно правильную классификацию видов, они хотят «абсолютизировать» вид, а между тем вид есть отношение, вид есть то же качество.

Тов. Столяров спрашивает, убивая меня, как он думает, «на смерть»: «Вы думаете, что можно без «суб'ективизма» утверждать, что лошадь не корова, что корова не лошадь?»

Не в корове и не в лошади дело, т. Столяров, а в том, что одна и та же лошадь может быть нами оценена, как годная, и как не годная. Не в лошади дело, а в качестве. Учраспред расценил т. Столярова, как хорошего, может быть, журналиста, а для работы в деревне как не годного. Неужели это не понятно?

Неужели мы будем оспаривать наш Учраспред, когда увидим по его спискам, что т. Столяров зачислен им в разные «виды»?

Неужели так уж трудно согласиться с тем, что, когда вас посылают изучить и оценить какое-нибудь помещение, вы не сделаете никакой глупости, запросивши: «для чего, с какой целью, в каком отношении надо изучить это помещение?».

Попробуйте-ка охватить его во всех связях! Вы—хочешь, не хочешь—окажетесь в положении созерцателя, в положении, может быть, даже очень ученого человека, но не знающего, чего он хочет.

Против этого-то Маркс и выступал самым решительным образом. Если нам нужна (вспоминать Ленина, так вспоминать) комната для фотографирования, мы ее будем изучать в отношении освещения и еще чего-нибудь, но если мы хотим использовать ее для хранения сухих вещей, мы изучим, имеется сырость в ней или нет. Вещь нужно рассматривать в определенном отношении, а не вообще, а в каком именно, это будет продиктовано интересом конкретного суб'екта (класса, партии, общества и т. д.). Определяя качество, мы определяем конкретное отношение, данную совокупность свойств в отношении к этой (этим) именно совокупности свойств. Мы имеем дело с об'ективным отношением и потому качество об'ективная категория.

Но так как мы от каких-то других отношений абстрагируемся и так как выбор производится нами в собственных интересах, качество мы определяем и как суб'ективную категорию.

Должен подчеркнуть, что мое определение качества, как об'ективно-суб'ективной категории, несравнимо ближе к «суб'ек-

---

[1]) Даже Фейербах был несколько близок к этому, когда писал, что «где нет страданий и усилий, там нет и качества» («Предварит. тезисы к реформе философии», § 43.

тивизму» т. Аксельрод, нежели к «сочетательному об'ективизму» т. Деборина, и не так уже этот суб'ективизм в категорий качества беспочвенен, чтобы его можно было опровергать «коровами» и «лошадьми».

Относительность—абсолютна, абсолютность—относительна.

Тов. Столяров очень напуган моей абсолютностью относительности и думает, что этак я должен согласиться с Богдановым, который писал: «Диалектика... должна подчинить себе понятие материи, отнять у него абсолютное значение».

Что на это прикажете ответить!

Кажется, азбучная истина, что категории диалектики не распространяются на «космос», на мир в целом, на «все», на материю. Еще Плеханов писал, что все исчезает, заменяясь другим: «вечно одно движение материи, да сама она, неразрушимая субстанция».

Если вы, т. Столяров, думаете, что это не так, то попробуйте определить «качество» универсума, качество материи, как «всего», попробуйте приложить категорию количества и меры к этому самому универсуму.

Любопытно будет посмотреть.

Диалектике честь и место в отношении «форм» материи, т.-е. вещей начальных и конечных, которые рождаются, живут и умирают, развиваются эволюционно и «скачут», находясь в противоречиях внутренних и внешних. Космос во внешних противоречиях?! Космос родился (сотворение мира?) и умер (конец света?)?! Действительно, «диалектика». Относительность—абсолютна, абсолютность же относительна. Так ли уж это не похоже на то, что писал Энгельс в «Людвиге Фейербахе»:

«Для диалектической философии нет ничего раз навсегда установленного, безусловного, святого. На всем и во всем видит она печать неизбежного падения, и ничто не может устоять перед нею, кроме непрерывного процесса возникновения и уничтожения, бесконечного восхождения от низшего к высшему... У нее, без сомнения, есть и своя консервативная сторона: каждая данная ступень развития науки или общественных отношений оправдывается ею в виду обстоятельств данного времени, но не больше. Ее консерватизм относителен; ее революционный характер безусловен,—к чему сводится все то безусловное, для которого в ней остается место». Наша относительность абсолютна, ибо все течет и изменяется, нет точки покоя иной, как обусловленной нами. и нас, конечно, релятивизмом не запугаешь: есть релятивизм и «релятивизм», как есть теория взаимодействия наша и теория взаимодействия проф. Кареева. Релятивизм созерцательный мы отринем, но релятивизм активный, релятивизм борьбы мы признаем, так как «на всем и во всем диалектика видит печать неизбежного падения». Тов. Столяров вместе со многими признает абсолютность абсолютной истины, я же—лишь ее относительность.

Поясню. Прежде всего оговорю, что никакой об'ективной истины вообще не существует. Всякая истина суб'ективна, так как она есть не что иное, как «отражение» в голове суб'екта определенного об'ективного процесса.

Противопоставление об'ективной и суб'ективной истин законно лишь в устах суб'ективных идеалистов непоследовательного

толка, отрицающих об'ект, но признающих принципиально схожих наблюдателей (Петцольд, Богданов и др.). Для них моя истина есть об'ективная, если она общезначима, т.-е. если она является истиной и для других, и суб'ективная, если она однозначима. Такую позицию марксизм занять, конечно, не может. Когда Энгельс или Ленин употребляют термин «об'ективная истина», то под ним они понимают не «отражение», не ощущение», не мысль, не то, что принято понимать под истиной, а самое бытие. Яблоко, об'ективно сущее, есть об'ективная истина, а наше представление о нем лишь приблизительная и относительная истина.

Абсолютная или относительная истина одинаково истины суб'ективные, т.-е. «отражение» об'екта в наших головах, т.-е. непространственное яблоко, соответствующее (не похожее) яблоку пространственному.

Проблема абсолютного и относительного есть проблема «да—да» и «да—нет». Ответ на вопрос, выраженный согласно формуле «да—да», «нет—нет», «или да или нет», есть ответ категоричный, абсолютный.

Но когда мы пользуемся формулой формальной логики и когда мы имеем право ею пользоваться?

На всякий вопрос «вообще» возможен ответ только «и да, и нет»: худо всегда и добро, а добро всегда и худо.

На вопрос, поставленный конкретно, мы можем ответить или да, или нет.

Но что значит поставить вопрос конкретно?

Это вовсе не значит указать все связи и все опосредствования, в коих находится данная вещь.

Учет всех, в пределах возможного, связей лишь база для дачи конкретного ответа.

Данный суб'ект (напр., партия) обязан учесть весь научный опыт человечества, все знания, накопленные последним.

Но дать абсолютный ответ на вопрос о качестве данного процесса возможно лишь в том случае, если мы этот процесс возьмем в определенном, в конкретном отношении.

Хороша ли эта лошадь? Вообще, и да, и нет, т.-е. во всех связях она и хороша, и плоха, а в данном отношении она или хороша, или плоха: для скачек годится, а для бегов не подходит.

Ставя вопрос конкретно, мы абстрагируемся от множества нас не интересующих, для нас сейчас не существенных отношений, рассматривая вещь лишь в том или ином, в тех или иных отношениях. Хорошо ли, что дождь идет? Когда, где, для кого. В засуху 1921 г. для нас хорошо, что идет дождь, но плохо для белогвардейцев, союзником которых является всякое бедствие в Советской стране.

Абстрагироваться от ряда отношений, рассмотреть вещь лишь в определенных связях и в определенных ее свойствах дает нам возможность установить ту самую точку «покоя», без которой ответ по формуле «да—да» или «нет—нет» немыслим.

А=А, т.-е. А и есть А, А, как А, не изменилось, А остается в состоянии покоя.

Надо ли говорить, что этот «покой» относителен и требует заковычения. Абсолютность относительна. Наполеон умер такого-

то числа,—говорит Энгельс. Но действительно ли он умер в этот именно день?—спрашивает Богданов. Так ли уж наивен этот вопрос? Сама смерть есть условное понятие. Тов. Столяров боится условности, он склонен увидеть здесь идеализм. Но, ведь, смерть есть действительно условное понятие. Мы условно делим материю на живую и мертвую. Мы знаем, что и камень живет. Жизнь есть движение, движение есть жизнь. Но формы движения различны, разнообразны до бесконечности.

В своей практике человечество останавливает внимание на определенных формах движения, а не на всех, в определенные эпохи одни формы считаются важными, существенными, а другие «побочными». Практика «в грязно-еврейской форме проявления» заставляет человечество классифицировать мир явлений именно по «важным» признакам. В результате: «живая» и «мертвая» материя. Человечество условилось понимать под этим живое, а под тем мертвое, классифицируя по об'ективным (это, надеюсь, не идеализм) признакам.

Наполеон умер. Что это значит?

Ведь у него продолжают расти борода и ногти. Ведь его тело несомненно живет.

Да, это так. Но в практике своей человечество условилось понимать под живым человеком существо с такими-то процессами, а под трупом—с этакими. Человечество абстрагировалось от процессов роста волос или ногтей, в его практике важными оказались такие свойства, как определенный процесс кровообращения и, хотя бы, дыхания. Человечество условилось считать трупом человека с остановившимся сердцем и неработающими определенным образом легкими.

Тов. Столяров может быть думает, что я представляю себе процесс «уславления» в виде идиллической картинки: собрались на опушке леса особи человечества и начали речь держать о том, что есть добро и зло, жизнь и смерть, труп и живой человек. Нет, я не так наивен. Процесс уславления протекает за спиной людей, он есть стихийный, слепой процесс.

Только поэтому Плеханов, как и мы с вами, и не может найти грань между пушком и бородой, что человечество не условилось, что понимать под тем и другим, и не знаёт, от каких свойств волос на подбородке можно абстрагироваться и какие необходимо учесть.

Такое «обусловление» имело и имеет место, но оно нас мало удовлетворяет, как не удовлетворяет и числовое опеределение атома молодой электронной теории, как определение питательных веществ без учета витаминов, недавно открытых.

Мы не можем определить качества процесса, если не условимся что-то учитывать, а от чего-то отвлечься. Годен ли т. Сарабьянов для работы в деревне? Практика говорит нам, что необходимо учесть такие, напр., его свойства, как умение не командовать, понимание ленинизма, в какой-то мере знание деревни, но совсем не важно, знаком ли он с теорией физиократов и брюнет он или блондин. И если т. Сарабьянов обладает этими именно свойствами, он годен для работы, он такое-то качество. Послать его в деревню. Да—да.

И пока в нем имеются эти свойства, он в отношении к работе в деревне именно это качество, А=А.

Но годен ли он в качестве преподавателя по истории экономических учений? Здесь уже мы т. Сарабьянова рассматриваем в иных его свойствах, абстрагируясь от тех, которые в первом отношении были важны. Он не обладает свойством знания теории физиократов и Рикардо. Он, следовательно, не годен в качестве преподавателя истории политэкономии.

Но почему мы т. Сарабьянова сегодня рассматриваем в одном отношении, а завтра—в другом?

Почему мы выбираем, какие его свойства учитывать, от каких—абстрагироваться?

Потому, что мы активные суб'екты, что мы преследуем цели, стремимся удовлетворить свои потребности.

Мы отрицаем абсолютную свободу воли, но относительную—признаем.

Волен ли я с'есть бутерброд с вареньем или с маслом? Нет, ни в какой мере не волен. Я потянулся к бутерброду с маслом потому, что в моем организме не достает жиров.

Но я в данный момент совершенно свободен в выборе бутерброда от вас или от ЦК партии. Думаю, что и «мой» суб'ективизм не так уж легко опровергнуть дюжиной полемических выпадов.

О противоречиях и механическом миропонимании.

Я говорю о противоречиях, как о борьбе сил.

Тов. Столяров называет это богдановщиной.

Надо сказать, что не все у Богданова чепуха, как и у т. Столярова не все безукоризненно.

Странная это манера: взял т. Сарабьянов у Берга «скачки», а ему возражают, что, мол, Берг телеолог. Знаем. Зрячие.

Сошлется т. Сарабьянов на ту часть работ Вернадского, где он сравнивает химический состав почвы и живых организмов, для которых эта почва является средой, ему отвечают констатированием известного нам факта, что Вернадский идеалист.

Богданов тоже считает противоречие борьбой сил. По вашему, это неверно? Так доказывайте, а не выносите немотивированного приговора. История термина «противоречие» очень несложна. Формальная логика до XIX века была авторитетом. Когда молодая диалектика утверждала, что А есть А и в то же время не-А, формальная логика негодовала: «Вопиющее противоречие. Чепуха!». Гегель ответил: а все же это противоречие—закон движения, оно движет вперед.

Можно ли здесь поставить точку?

Нет, и ее ни Гегель, ни Энгельс не ставили, ибо они понимают, что надо показать процесс противоречия и тем самым доказать правильность, научность диалектики. И они показывают.

Богданов утверждает, что Энгельс под противоречием понимал не «борьбу реальных сил», а т. Столяров и многие другие товарищи поверили Богданову на слово.

А между тем любой пример Энгельса о противоречиях говорит именно о борьбе сил.

Нарастание противоречия есть изменение отношения сил. Что такое классовые противоречия? Это отношение между классами, как реальными силами.

Я болен. Я—противоречие разных сил. Наступил кризис. Я поправляюсь. Это означает иное количественное распределение сил и иную расстановку их. Это означает появление и уничтожение, расцвет и отмирание сил.

Что же иначе понимать под противоречием? Нам могут указать, что подобное понимание ведет к определению противоречия, как формы движения.

Должен признаться, что для меня об'ективное противоречие (т.-е. противоречие в бытии) есть движение и только движение.

Тов. Деборин в статье [1] «Энгельс и диалектическое понимание природы» пишет, что Энгельс не синтезирует силу с формой движения, а противоставляет одно другому. Но та сила, о которой говорит Энгельс, есть категория старой механики и предполагает перенос движения извне. Мы же живем в XX веке, когда механика говорит не только о внешних противоречиях, но и о внутренних. Или нам ничего не известно о «механике внутренней системы»?

В споре с т. Степановым т. Деборин, на мой взгляд, выразился очень неудачно, когда написал, что «диалектика и механика совершенно различные «категории?» [2]).

Назвать диалектическое мировоззрение механистическим, как это делает т. Степанов, это значит ограничиться только подчеркиванием материализма в нашем мировоззрении: животное—механизм, человек—механизм, всякое «живое» существо—механизм. Приравнять диалектику механике равносильно выхолащиванию из диалектики того, чем она отличается от других материалистических теорий развития.

Но сказать, что диалектика и механика **совершенно** различные категории, это значит отрицать, что диалектическое мировоззрение должно включать в себя и механическое. Вот совершенно механическое положение: единство, как множественность. Но оно одновременно и положение диалектики.

Старая механика утверждала наличие неделимого, невесомого атома, как непротиворечивого нечто. Старая механика не могла определить атом, как единство-множественность. Нынешняя механика и атом рассматривает в виде сложного единства. Атом, действуя на другой атом, передает «силу». Здесь—передача извне. Но энергия, передаваемая на сторону, заключена в самом атоме и формы ее зависят в известной степени от внутриатомных процессов. Однако что же такое эти внутриатомные процессы, как не движение различных единств в виде электронов и ядра, каждый из которых, в свою очередь, множественность. Наука нам дала только одну картину мира, картину его «зернистого» (по Геккелю) строения.

Иной картины, более или менее научно обоснованной, не дано.

Всякая попытка построить свое мировоззрение не на «зернистости» мира должна пока привести нас к беспочвенной фантастике.

Как могуче и практически пока целесообразно это «зернистое» миропонимание, об этом прекрасно говорит тот факт, что ради ограничения принципа зернистости в свое время была со-

[1]) Стр. 16.
[2]) Стр. 8.

здана категория «эфир», а когда за этот эфир взялись всерьез, то и эфир представили себе состоящим из пузырьков. Мы понимаем, сколько трудностей ставит атомистическая картина мира. Мы отдаем себе полный отчет в том, что атомизм, зернистость оставляют место старой нашей незнакомке—пустоте. Но иной картины мира не дано, и мы говорим, что движение молекул, это—движение с другими молекулами и движение атомов самой молекулы, что атом нажимает, ударяет, сцепляется, сращивается с другими атомами, сам представляя собою процесс нажима, удара, сцепления и пр. электронов и ядра, а электрон или ядро тоже сложные нечто.

Обычно говорят, что механикой и движением не об'яснишь духовных явлений, что органическое необходимо отличать от механического.

Я считаю, что такая точка зрения ведет либо к плюрализму, либо к идеализму.

Животное—машина, человек—машина, свойство ощущать есть свойство особо организованного механизма.

Но извольте, в таком случае, движением об'яснить свое собственное ощущение, свою мысль. Не придется ли нам «свести» суб'ективное явление к об'ективному? Да, марксизм давным давно «свел» одно к другому.

Ведь, Плеханову и, по словам последнего, Энгельсу (за Спинозой) принадлежит известное выражение, что пространство и мышление есть две стороны одного и того же.

Ведь, Плеханов в своей замечательной статье «Трусливый идеализм» писал в примечании, что физическое не действует на психическое, и обратно, что признание между ними взаимодействия есть отказ от закона сохранения энергии, что выражение: «физическое действует на психическое» обозначает лишь одно, а именно: физическое (об'ективное) действует на физическое же, вызывая в нем определенные физические процессы, другая сторона которых—ощущение, мысль...

Мы против такого сведения, когда «звук» отождествляется со звуковой волной, когда талер, как ощущение, вид талера отождествляется с об'ективным талером.

Но если мы хотим изучать ощущения, мы должны изучать формы движения особо организованного (мыслящего, ощущающего) об'екта, т.-е. суб'екта. Если мы хотим вызывать в нем определенные ощущения, мы должны движениями вызывать движения его тела.

Положение Гоббса, что все—движение, до сих пор остается научным.

Иные наши рефлексологи, исходя из этого же положения, думают, что придет время, когда мы сможем постигнуть все духовные процессы, протекающие в человеке, путем лабораторного изучения его физических процессов. Это, конечно, верно, но дело в том, что лаборатория не улица, что наиболее характерные для общества движения, а следовательно, и физические на них реакции человека, в лабораторной обстановке отсутствуют, и мы, таким образом, не в состоянии представить себе духовный процесс типичного общественного человека.

Но представим себе, что исследовательская техника позволяет «фотографировать» физические процессы, протекающие в человеке, не изолируя последнего от общества.

Представим себе, что «сфотографирован» и перенесен на киноленту процесс об'ективной среды, в которой находится человек, а также и об'ективные процессы в его мозговой, нервной и т. д. ткани.

Сможем-ли мы тогда «читать» его мысли, бывшие в момент фотографирования?

Я убежден, что сможем.

Ученики Павлова уже добиваются первых результатов в этом направлении.

Вы думаете, что не сможем?

Будем спорить, а не пугать словом «сведение».

Мы и наши читатели далеко не замоскворецкие купчихи, чтобы падать в обморок при словах «жупел», «металл», «сведение», «механический» и т. п.

В настоящей короткой статье я не ставил себе цели отвечать на статью т. Столярова, так что читатель пусть не удивляется, что большое количество его возражений мне оставлено без опровержения.

Я не хочу полемизировать ради полемики.

Моя задача—вызвать серьезную, деловую дискуссию по важным проблемам диалектики.

Сам я не претендую на безукоризненность своих построений, не нахожу ее и у тех, кто в настоящее время, что называется, задает тон (многочисленные авторы книг по диал. мат., статей в журналах и т. д.).

Выход—в коллективе. Выход—в некоторой плановости работ этого коллектива. В настоящей статье я набросал схему плана. Если она не удовлетворительна, в дискуссии сама собой она будет выправлена.

БИБЛИОГРАФИЯ.

Проф. В. И. Бошко. Очерки развития правовой мысли. (От Хаммураби до Ленина). Юридич. изд. НКЮ УССР. Харьков 1925. Стр. 570.

Громадный том «Очерков развития правовой мысли» невольно привлекает внимание и не только прекрасным качеством самого издания, но и об'емом в 570 страниц и многообещающим подробным оглавлением внутреннего содержания. По существу, читатель имеет дело с университетским учебником по истории философии права. Можно, конечно, поставить вопрос о необходимости в наше время подобных учебников; при такой постановке дела, пожалуй, не так уж мало времени пришлось бы затратить на обоснование появления книги в свет. Но мы считаемся с фактом существования книги.

Старый тип учебника по истории философии права, очевидно, безвозвратно отжил свой век. В советской обстановке он может возродиться внешне лишь в форме именно книги по истории правовой мысли. В этом случае прежде всего любопытно, каково может быть построение такой книги и самое расположение материала. Как не трудно догадаться, выступает связь развития правовой мысли с «базисом», с экономикой общества; далее неизбежны такие разделы книги, как «эпоха промышленного капитализма», «эпоха финансового капитализма», и т. п.; наконец, необходимо введение на страницы «учебника по истории философии права» таких лиц, которые до октябрьской революции на эти страницы не допускались, т. е. Маркса, Энгельса, Ленина. Ну, а после всего этого необходимого антуража старый учебник может оставаться в полной неприкосновенности? Казалось бы,—нет! Между тем, к сожалению, именно такую картину мы видим в «Очерках» проф. В. И. Бошко.

Все указанные условия соблюдены: и «базис» есть, и марксистские ярлычки наклеены, и Маркс, Энгельс, Ленин введены,—и все же «Очерки развития правовой мысли» остаются в некотором смысле улучшенным, а в некотором смысле ухудшенным изданием старого учебника по истории философии права.

Нет внутренней связи между базисом и правовыми теориями отдельных мыслителей, допущены анахронизмы, дабы заполнить принятую схему (Лассаль—теоретик права переходного периода от капитализма к социализму), отсутствует логический анализ теорий с точки зрения диалектического материализма, не выявлена историко-логическая связь между учениями отдельных классиков, есть значительные пробелы в развитии правовой мысли «от Хаммураби до Ленина».

Слов нет, переоценка всей истории правовой мысли с точки зрения диалектического материализма—задача весьма трудная и ответственная. При разрешении этой задачи неизбежны отдельные ошибки. Но у проф. В. И. Бошко, воодушевившегося благим намерением разрешить эту задачу, как показывают его «Очерки», отсутствуют даже необходимые для дела предпосылки. Внимательный просмотр книги убеждает читателя в том, что решение проблемы заранее обречено на неудачу.

В самом деле, у автора отсутствует прежде всего самостоятельность, столь необходимая для каждого исследователя и для каждого автора учебника. Все «Введение» сплошь состоит из цитат из Маркса, Энгельса, Плеханова и Ленина; так же обстоит дело и там, где должны быть изложение, а также и анализ воззрений Маркса и Ленина. О стиле главы о Ленине можно судить по первым ее словам: «Ленин... Сколько в этом имени для сердца всякого (! *И. Л.*) слилось! Сколько в нем отозвалось!»

Еще печальнее положение в тех главах, которые посвящены истории правовой мысли от Хаммураби если не до Ленина, то, скажем, до Дюги и Ориу. Подавляющего большинства классиков правовой мысли проф. В. И. Бошко не читал ни в подлинниках, ни в переводах. Об'емистая книга представляет собою на одну четверть цитаты, а на три четверти компиляции с цитатами из вторых рук; поэтому книга не имеет никакого научного значения.

В предисловии автор пишет: «Настоящий труд вначале был задуман очень широко, как опыт старого научного первоисследования всей истории философии права и правовых институтов в свете диалектического материализма. Однако большие трудности, лежащие на пути к достижению намеченной задачи и требующие очень много времени (еще бы! *И. Л.*), с одной стороны, и практические нужды обучения в наших высших учебных заведениях... с другой стороны, принудили автора поступиться (временно) первоначальным предположением в пользу более неотложной потребности наших дней». Вот такую точку зрения необходимо признать в корне неправильной, чтобы не сказать больше. Написать хороший учебник на основании самостоятельного изучения материала, видите ли, нельзя, потому что на это нужны время и труд, а потому в целях обучения в вузах студентов нужно скомпилировать марксистский учебник на основании немарксистских учебников! Как называется такое отношение к студентам и к читателям? И разве не обязательно при чтении университетских курсов (из которых и родились «Очерки») заглядывать в произведения тех классиков, о которых читаются лекции? А что этого обычая нет у проф. В. И. Бошко, свидетельствуют следующие пикантные примеры из его библиографических указаний: стр. 221—«Из сочинений самого Макиавелли на русский язык переведены Курочкиным только «Государь» и «Рассуждения на первые три книги Т. Ливия», 1869 г. Автор не знает, что «Il Principe» был переведен Роговиным в 1910 г. Далее, стр. 222, «Собрание сочинений Гоббса имеется лишь на английском языке в 9 томах, изд. Молесуортом. На русский язык переведена еще в 1876 г. книга «De Cive» («О гражданине») и «Левиафан» (1868) лишь в извлечениях». Во-первых, сочинения Гоббса имеются не только на английском языке: во-вторых, Молесуорт издал пять томов латинских сочинений Гоббса и одиннадцать томов (11-й указатель) английских сочинений; в-третьих, куда делся русский перевод «О гражданине» 1914 года? Далее: стр. 222, «Из сочинений Спинозы на русский язык переведена лишь его «Этика» (1886 и 1887 г.г.)». Как назвать такие профессорские указания проф. Бошко в университетском учебнике? Куда делся перевод «Этики» Иванцова? Где указания на два перевода «Трактата об очищении интеллигента»? Два перевода «Политического трактата»? Перевод «Богословско-политического трактата»? Перевод «Переписки»?

Откуда такое «исключительное» пристрастие проф. Бошко, выпустившего свою книгу в 1925 г., к переводам классиков правовой мысли не позднее восьмидесятых годов прошлого столетия? Мы сильно

опасаемся, что это об'ясняется тем, что автор взял себе в «водители» какой-либо учебник по философии права той почтенной эпохи.

«Введение» пестрит ссылками на марксистские книги. В органической части «Очерков», там, где речь идет о классиках мысли XVII и XVIII веков, таких ссылок нет ни на первоисточники, ни на литературные источники. Редкие исключения приводят к конфузу. Так, ссылка на Гоббса: «О гражданине», гл. V, §§ 6, 8 и 9 при проверке не дает эффекта; очевидно, цитата взята из вторых рук. Есть и такие курьезы: на стр. 291 в списке литературы о Ж.-Ж. Руссо указывается один раз: «В. Засулич. Ж.-Ж. Руссо», а другой раз, несколькими строчками ниже: «Корелин. Ж. Руссо». Профессору Бошко, видимо, невдомек, что Корелин—лишь псевдоним В. Засулич. Так обстоит дело с научным аппаратом книги в назидание студенчеству.

Не приходится говорить, что, поскольку книга составлялась по старым учебникам истории философии права, в ней есть пробелы и ошибки. Не повезло французским материалистам (ибо им никогда не везло в буржуазных учебниках): нет изложения их социально-политической доктрины; «Человек-машина» из 1747 года перенесен в 1740 г.; дано дикое название сочинению Кондильяка: «Трактат о происхождении человеческих знаний» превращен в «Трактат о человеческих чувствованиях». Далее не представлены юристы-гегельянцы, нет исторической школы права, нет такого мыслителя, как Делион, и т. д. и т. п., зато на обложке значится «от Хаммураби до Ленина»!

Коротко говоря, книга проф. В. И. Бошко ни в коей мере не является научно-разработанным пособием. Это давно знакомый нам учебник истории философии права и государства, составленный лишь в советской обстановке.

И. Луппол.

Проф. Б. М. Козо-Полянский. Дарвинизм или теория естественного отбора. Схема. «Северный печатник». 1925 г.

В сжатой, схематичной, местами лаконичной форме Козо-Полянский освещает ряд вопросов, выясняющих содержание, научную ценность, историю и современное состояние дарвинизма. Постановка и трактовка вопросов отличаются значительной оригинальностью. Точка зрения диалектического материализма выражена определенно.

По содержанию своему книжка не дает чего-либо существенно нового. Не все положения и обоснование их автором являются бесспорными. Некоторые из них вызывают сомнения и возражения. Кратко отмечу их.

Основными вопросами биологии являются: 1) что такое жизнь? 2) как возник органический мир? Эволюционная теория, по мнению автора, «первого вопроса не касается», а только решает второй вопрос (стр. 10). Но поскольку вопрос о происхождении жизни составляет только главу эволюционной теории, то последняя не может при обосновании теории самозарождения не касаться физико-химической природы живого вещества, т.-е. вопроса, что такое жизнь.

Во многих местах книжки автор отождествляет эволюцию с органическим прогрессом (13, 15, 31, 73 и др. стр.). Но если стоять на материалистической точке зрения и признавать, что эволюция обусловливается и определяется изменяющимися условиями окружающей среды, то неизбежным становится признание и прогрессивной и регрессивной эволюции. Явления регресса среди животных и растений подтверждает правильность высказанного взгляда. Дарвин хотя и считал эволюцию

органического мира прогрессивной, отводил известное место и явлениям регрессивной эволюции.

Едва ли методологически правильно отрывать проблему причинности от проблемы закономерности эволюции, как делает автор (13—14 стр.). Проблема причинности включает и проблему закономерности. «Об'яснить эволюцию», т.-е. выяснить ее ход и движущие причины не значит ли понять ее, как закономерный процесс, обусловленный определенными причинами?

Правда, автор отождествляет закономерность эволюции с повторяемостью явлений. Но основной закономерностью эволюции является ведь неповторяемый, однократный грандиозный процесс закономерного развития всего многообразия органического мира.

Автор считает главной основой признания факта эволюции среди трех несомненных истин следующую: «каждый организм всегда является потомком другого организма». Но эта истина ничего не говорит об эволюции организмов. Ее разделяют и самые от'явленные противники принципа эволюции. Существует целый ряд других доказательств эволюции, хотя бы и менее бесспорных.

Логически непонятно, почему гипотезы, признающие в эволюции «верховенство духа над материей», считающие, что эволюция зависит от сознания и воли организмов, автор относит к категории эктогенетических гипотез (стр. 19). Они должны быть отнесены в группу автогенетических воззрений. Учение Ламарка представляется эклектическим. Отводя большую роль трансформирующему (прямо или косвенно) влиянию внешних условий, Ламарк придавал большое значение и различным трансцендентным «порывам», «желаниям», «стремлениям». Отнести его учение безоговорочно к тому или иному направлению едва ли будет правильно, как поступает автор (стр. 18).

«Другие гипотезы эктогенетической группы,—говорит автор,—отрицают значение сознания и воли организмов в эволюции» (стр. 19). Получается впечатление, что сознанием и волей наделены все животные. Встает вопрос, как же об'ясняют сторонники различных направлений эволюцию растений и животных, не обладающих органом сознания?

Недостаточно обоснованным остается утверждение автора, что теория Лотси, признающая постоянство генов, тем самым—постоянство видов и считающая скрещивание достаточным фактором эволюции, является «мелкой разновидностью дарвинизма» (стр. 21). Кроме признания роли естественного отбора, необходимы для оценки той или иной теории, как разновидности дарвинизма, и некоторые другие предпосылки. Дарвинизм, ведь, целостная система.

Для оценки «теории симбиогенеза», как разновидности дарвинизма, необходима также более солидная аргументация. Любопытно, что симбиогенез автора фигурирует под именем теории, дарвинизм же называется многократно гипотезой (стр. 22).

Нельзя не согласиться с автором, что «эволюционная теория по своему существу есть диалектическая теория» (стр. 31), но для признания данной теории диалектической недостаточно еще «признания ею прогрессивного движения и связи», как думает он. Диалектическое развитие характеризуется не одними только указанными особенностями. Почему диалектика признает только «прогрессивное движение»? Характер движения, развития определяется всей суммой конкретных условий.

По словам автора, «эволюционная теория занимается ни чем иным, как доказательством применимости диалектической точки зрения к органическому миру» (31). Она, конечно, должна была бы заниматься этим, но, к сожалению, далеко не всегда она это делает. Эволюция не синоним

диалектики. Автору, думаю, хорошо известно, что не все эволюционисты являются диалектиками.

Для иллюстрации сложности взаимоотношений организмов автор приводит классический, приводимый многими, пример о сложности взаимозависимости между числом кошек и обилием клевера. Пример относится несомненно к тем гипотетическим примерам, которые встречаются, по словам автора, у Дарвина. На основании длительного личного изучения жизни шмелей, могу с определенностью сказать, что шмели хорошо защищены, и мыши не могут выступать в той роли грозных врагов, о которой говорится в примере. Поэтому следует всегда подчеркивать гипотетический характер данного примера. Непонятно еще, как шмели могут «собирать» в свои гнезда «яйца и личинки» (стр. 57).

Следствием естественного отбора не обязательно должно быть возрастание сложности, как говорит автор (стр. 66), но может быть в результате отбора и упрощение организации (многие паразиты-животные и растения).

Непонятно, под влиянием каких причин «каждое изменение, подхваченные отбором, если условия не изменяются... будет усиливаться». Раз условия не изменяются, то и приспособления у организмов должны охраняться естественным отбором в неизменном состоянии.

Всегда ли «настоящий искусственный отбор зависит от разума и воли человека и ведет к произведению того, что ему необходимо или полезно»? (71). Какую же роль играет тот бессознательный искусственный отбор, о котором говорит Дарвин? И как примирить с высказанным положением автора тот общеизвестный факт, что нередко животных приручали из-за прихоти или религиозных побуждений, и в результате бессознательного отбора получали полезных домашних животных?

По вопросу о передаче по наследству приобретенных признаков нет достаточных оснований для тех категорических заключений, которые делает автор (81). Вопрос продолжает оставаться спорным и продолжает находиться в стадии экспериментальной разработки.

Категорическое утверждение, что «классический дарвинизм был мутационной теорией» (стр. 99), звучит некоторым преувеличением и нуждается в более детальном обосновании.

Неодарвинист Вейсман, как известно, распространил принцип отбора и на телесные, и на зародышевые клетки. Но он сам насчитывал единицами сторонников учения о герминальном отборе. Поэтому, говорить, что «новейший дарвинизм присоединяет борьбу внутри клеток» (стр. 100), не означает ли не дать об'ективного освещения вопроса? Некоторые раз'яснения были бы не лишни.

Автор считает неправильным причислять Гете к числу первых эволюционистов (104). Можно не соглашаться с Геккелем, который ставит рядом с Дарвином и Ламарком Гете, но исключать его из числа провозвестников эволюционной теории значит противоречить общеизвестным истинам.

Без достаточных оснований автор развенчивает заслуги сооснователя теории естественного отбора А. Уоллеса, автора «Естественного отбора» и «Дарвинизма». Возвеличивая Т. Гексли, автор забывает о роли «немецкого Дарвина»—Э. Геккеля, которого Дарвин считал лучшим своим соратником.

Приложенная к книжке «Графическая схема дарвинизма» усложнена более, чем следовало бы. Свойства организмов (потребность в веществе и энергии, непроницаемость, размножение в геометрической прогрессии) фигурируют без достаточных оснований два раза, точно органическая среда не представляет совокупность данных организмов. О «непроницае-

мости» можно говорить только условно. Для бактерий организмы достаточно проницаемы. Схема охватывает только «результат прогресса», как будто эволюция идет, как думают сторонники автогенеза, только по восходящей линии.

Значительную часть отмеченных неточностей и неясностей можно, вероятно, отнести за счет краткости, схематичности изложения. Не будь изложение таким сжатым, книжка значительно выиграла бы. Она была бы более понятна и доступна для широких кругов, на которые она, видимо, рассчитана. В настоящем же виде для мало подготовленного в вопросах эволюции читателя она будет трудна.

Ф. Дучинский.

Р. Гэтс. Наследственность и евгеника. Под редакцией Ю. А. Филипченко. «Сеятель». 1926 г. Ц. 2 р. 25 к.

Книга Гэтса является одним из первых «солидных» трудов по евгенике на русском языке. Посвящена она не столько общим проблемам евгеники, сколько специально вопросам человеческой наследственности. Это обстоятельство автор оправдывает тем, что «знание законов наследственности должно служить основой всякой разумной расы, т.-е. основой евгеники» (стр. 11). Евгеника занимается в первую очередь изучением фактов и законов наследственности у человека, концентрируя свое внимание на наследственной массе человечества, его «зародышевой плазме» и фактах, способных изменить и улучшить эти наследственные массы. «Зародышевая плазма расы,—резонно заявляет Гэтс,—представляет из себя исключительно драгоценный материал, и ее сохранение и улучшение в каждом поколении должно было бы являться первой целью государства» (стр. 6). Практическая задача евгеники, в конечном счете, сводится именно к этому—к улучшению наследственной природы человека.

Гэтс приводит в своей книге чрезвычайно богатый фактический материал по наследованию морфологических, физиологических и патологических признаков человека. Нужно отметить, что этот фактический материал представляет собою самую суть книги. Теоретических построений и обобщений у автора очень мало—да и то, что в этом отношении имеется,—разбросано по отдельным главам в виде отдельных абзацев и замечаний. Так, приводя иногда многочисленные факты—автор совершенно не останавливается на вопросах о роли социальной среды в формировании человеческой личности, без чего сами факты наследования, особенно психические, сильно теряют в своей ценности, едва касается вопроса о причинах ухудшения наследственной природы человека, исключительно скуп даже на гипотетические обобщения в вопросе о закономерностях человеческой наследственности, обходит вопрос о наличии и роли отбора в человеческой эволюции и пр.

Книга, благодаря такому «осторожному» обращению с теоретическими обобщениями, приобретает характер сухой фактической сводки. И, конечно, очень теряет в смысле теоретического значения и интереса. Ибо даже для примитивных индуктивистов ясно, что факты имеют смысл и значение только в сопоставлении с другими фактами, в выяснении их взаимоотношения и связывающей их об'ективной закономерности,—а все это требует от исследователя умения теоретически мыслить и отдавать этому теоретическому мышлению должную дань.

Разбирая вопросы наследственности—автор кое-где мельком бросает замечания о роли внешней среды в биологической эволюции. В этом кардинальнейшем вопросе эволюции автор разделяет господствующую теперь, с легкой руки генетиков, точку зрения, которая

отводит внешней среде роль совершенно второстепенного фактора. Наследственные изменения, по Гэтсу, появляются помимо влияния внешней среды, автогенетически, самопроизвольно. Данное различие,—пишет он,—«может обусловливаться либо внешними стимулами, и в этом случае оно не будет наследственно, либо изменениями зародышевой плазмы и при этом будет наследственно» (стр. 54). Таким образом влияния внешней среды—наследственных изменений не вызывают, а появляются они, как результат самопроизвольного изменения зародышевой плазмы (см. также стр. 15). Правда, факты заставляют Гэтса в другом месте выдвигать положение, явно не согласованное с этим утверждением, о «немощности» внешней среды и косности зародышевой плазмы. «В настоящее время,—пишет он,—теория Вейсмана относительно изолированности зародышевой плазмы и ее иммунности в отношении телесных влияний и влияний окружающей среды признается слишком крайней». Но эта вынужденная оговорка не мешает Гэтсу держаться, в общем, автогенетических взглядов. А поэтому, игнорируя вопрос о влиянии социальной среды как на человеческий генотип, так и на реализацию этого генотипа—фенотип,—он занимается последовательным изложением фактов наследования. Нужно сознаться, что эти богатые факты представляют собою исключительный интерес. Гэтс сумел показать, что наследственность играет действительно очень большую роль в формировании человеческой личности. Остановившись на вопросах наследования роста, цвета кожи, цвета и формы волос — автор излагает факты передачи по наследству различных болезней и аномалий (брахидактилия, полидактилия, цветная слепота, ночная слепота, гемофилия, «рачья клешня», кожные аномалии и мн. другие), кончая интересными фактами о наследовании мельчайших особенностей формы и физиологии (черты лица, леворукость, почерк, способность краснеть, особенности поведения и пр.). В наиболее «критическом» пункте генетики—в вопросе о наследовании психических способностей—автор особенно осторожен и особенно скуп на обобщения. «Мы здесь (в психической наследственности. *В. С.*),—пишет он,—находимся в той области, где структурная основа наследственности так тонка, а соприкосновение с окружающей средой так интимно близко—характер и окружающая среда так взаимно переплетаются и так проникают друг друга, что становится вполне понятным, что законы, приложимые к физическим свойствам, не могут быть применимы с той же строгостью к элементам или способам реакций, совокупность которых дает то, что мы называем человеческим характером» (стр. 157). Признавая факт постоянной умственной эволюции человечества (стр. 164), автор не берется судить о причинах ее. Излагая факты наследования слабоумия, умопомешательства, музыкальных способностей и пр., автор предпочитает остановиться на стадии изложения, констатируя факт наследования или выражая по этому поводу свое сомнение. Нам кажется, что в этом пункте ярче всего видна судьба всякого серьезного исследования по наследованию психических свойств человека—если исходные методологические позиции являются узко-генетическими, автогенетическими. Нельзя понять и об'яснить роль наследственности в психических свойствах, если нет всестороннего анализа влияний окружающей социальной среды. А у Гэтса, как и у многих других евгенистов, никакого такого анализа нет ни в малой степени, благодаря чему Гэтс, как серьезный и осторожный исследователь, предпочитает остановиться на стадии изложения и благодаря чему другие не серьезные и не осторожные евгенисты договариваются до умопомрачительной ерунды (напр., универсализация наслед-

ственности, об'яснение ею «всего на свете» [1]). Такую же теоретическую осторожность проявляет автор при изложении интереснейшей и важнейшей главы современной генетики—взаимоотношения наследственности и внутренней секреции. Когда автор переходит к вопросам евгеники—он прежде всего выдвигает положения, характеризующие практическую евгеническую деятельность. «Евгеническая деятельность,—пишет он,—должна основываться на четырех отдельных факторах: 1) положительном подборе желательных свойств, которые часто являются доминирующими, 2) отрицательном подборе, направленном против нежелательных рецессивных свойств, которые имеются в боковых и восходящих линиях и потому могут быть в зародышевой плазме данной семьи; 3) изоляции (недопущении браков) индивидуумов, у которых имеются нежелательные доминирующие свойства, и 4) попытке, в связи с этим, к поощрению браков между индивидуумами, у которых имеются одни и те же положительные рецессивные свойства» (стр. 186). Сами по себе эти мероприятия не могут вызвать возражений, но у читателя возникает вопрос—как и в каких условиях возможно практическое осуществление этих мероприятий? На этот вопрос ученый, трактующий вопросы евгеники, должен ответить. На вопрос как Гэтс отвечает следующим образом. Первая его надежда—это «разумное» законодательство. Правительства принимают соответствующие евгенические законы, обязательные для всех. Но эта мысль почему-то смущает Гэтса. «Найти такие законы, которые поощряли бы увеличение размножения наиболее деятельных и желательных членов каждого слоя общества,—меланхолически заявляет он,—задача, почти непосильная для человеческого разума и, насколько нам известно, ни в одном государстве до сих пор не разрешенная» (стр. 246). Если не «для человеческого разума», то для буржуазных государств—практическая евгеника оказалась действительно задачей «не по зубам». Если мы присмотримся к тому, как обстоит дело с реальными, практическими евгеническими мерами,—то мы увидим, что, несмотря на увлечение евгеникой, которое в последнее время на Западе наблюдается—практически не сделано ничего, при чем никто, как и Гэтс, не знает—что делать. Единственное, что у евгенистов остается—это пропаганда евгенических идей. Признав ненадежность законодательной деятельности, Гэтс заявляет: «По всей вероятности, разумное и просвещенное общественное мнение более действительно, чем любой закон, который можно было бы придумать» (стр. 246). Уже из вышеизложенного видно, что Гэтс мыслит себе практическое осуществление евгеники—в условиях капитализма. Как настоящий буржуазный ученый, он представляет себе капиталистический строй—«нормальным» строем. «Если бы,—пишет он,—даже было возможно населить весь мир Шекспирами, Ньютонами или Голиафами, это ни в коем случае не было бы экономическим достижением. Дифференциация типов является мерилом цивилизации, и никакой высокий тип культуры не мог бы долго просуществовать без нее. Рудокоп и профессор, крестьянин и управляющий банком—каждый в своей сфере вносит свой вклад в цивилизацию и таким образом способствует расширению ее границ и увеличению ее богатства (как умственного и морального, так и экономического)» (стр. 217). Мысля себе «дифференциацию типов» на «рудокопов и профессоров, крестьян и управляющих банками» нормальной и необходимой, Гэтс выявляет себя ти-

---

[1]) См. нашу критическую статью «Наследственность и отбор у человека» в № 4 «Под Знаменем Марксизма» за 1925 г.

личным апологетом капитализма с его общественными отношениями, лишенными всякой общественной перспективы. Таким образом Гэтс мыслит себе осуществление евгенических мероприятий в условиях капитализма и «пока» путем пропаганды евгенических идей. Не в пример другим евгенистам (вроде Сименса, Ленца, Гальтона)—Гэтс думает, что ценные евгенические типы есть и у низших классов населения—у пролетариев и крестьянства. «Защита интересов только более высоких по рождению классов,—пишет он,—вне зависимости от их индивидуальных качеств, и искусственные подачки бедным классам общества могут дать только самый отрицательный с точки зрения евгеники результат» (стр. 217). Таким образом он совершенно резонно мыслит себе евгенику массовой, всенародной евгеникой («обнаружение в каждом слое общества юношей с исключительными качествами»). Но автор, как и другие буржуазные евгенисты, совсем забывает о том, что в условиях капитализма надеяться на массовые евгенические мероприятия—утопично, бессмысленно. Капиталистическая система антиевгенична по своему существу. Необеспеченное положение рабочего, разорение крестьянства, тяжелые условия труда, кризисы, рост безработицы, нищеты и преступности, постоянная неустойчивость экономического положения—отрицают возможность евгеники в условиях капитализма. Если даже и представить себе, вслед за Гэтсом, что какое-либо парламентское законодательство дойдет до принятия евгенических законов, то сделанное капиталистической системой правой рукой—неминуемо должно быть разрушено левой. Капиталистический строй антиевгеничен по своему существу—это можно считать элементарным положением евгеники. При чем биологам евгенистам не мешало бы усвоить себе мысль о том, что все отрицательные стороны капитализма—не случайность, не преходящее явление, а имманентно свойственное капитализму, вскрываемое точным, научным анализом. Если евгенисты хотят действительной, массовой, а не аристократической евгеники, если они держат курс на миллионы и миллионы человечества, а не на привилегированную кучку «аристократов»,—они должны написать на своем знамени: «долой капитализм» и «да здравствует социальная революция». Ибо, если капитализм против евгеники по своему существу, последователи евгенических идей, сторонники улучшения биологической природы человека, всего человечества—должны понять, что социальная революция, освобождение основных масс человечества от гнета капитализма—есть первая и главная евгеническая мера.

Вас. Слепков.

Проф. А. Г. Гойхбарг. Сравнительное семейное право. Юрид. изд. Наркомюста РСФСР. Москва 1925 г. Стр. 231.

Вопросы брака и семьи для широких трудящихся масс Советского Союза представляют ныне исключительный интерес. Для многих из них они камень преткновения, для других предмет систематической устной и печатной дискуссии. И нет ничего удивительного в том, что последняя сессия ВЦИК уделила большое внимание законопроекту о браке и семье, нет ничего удивительного в том, что вокруг нового законопроекта развернулись горячие прения. В прениях на сессии нашли свое выражение многочисленные разговоры и споры (например, вокруг статьи тов. Смидовича), которые до-днесь имеют место среди членов партии, комсомольцев и всех вообще передовых слоев рабоче-крестьянского населения. Понятно поэтому, что всякая работа, могущая в той

или иной мере помочь отдельным товарищам, или группам разобраться в этом вопросе, зачитывается до дыр, понятно, что появление всякой работы по вопросам брака и семьи должно привлекать наше внимание.

Рецензируемая работа проф. Гойхбарга принадлежит несомненно к числу одной из лучших работ по вопросам семейного права, какие только выходили за время революции. Ценность работы проф. Гойхбарга состоит в том, в первую очередь, что в ней дана уничтожающая, основанная на богатейшем фактическом и статистическом материале критика буржуазного семейного права.

Этим, однако, не исчерпывается ценность указанной работы проф. Гойхбарга. Вообще говоря, критика семьи, брака и, стало быть, семейного буржуазного права давалась и раньше. Читатель, знакомый с марксистской литературой, помнит, вероятно, немногочисленные, правда, страницы «Коммунистического Манифеста», посвященные буржуазной семье, беспримерные памфлеты Лафарга, работы Августа Бебеля, наконец, разбросанные по многочисленным сочинениям замечания Владимира Ильича по этому вопросу. Все перечисленные работы, разумеется, не нуждаются в нашей рекомендации... Что касается буржуазных критиков капиталистического семейного права, укажем на работу Антона Менгера (теоретика юридического социализма) «Гражданское право и неимущие классы населения».

Работу проф. Гойхбарга делает особенно ценной то обстоятельство, что систематическую критику буржуазной семьи, брака, семейного законодательства он сопровождает изложением и раз'яснением советского законодательства, и тем дает возможность рядовому читателю сопоставить, уяснить неизмеримо гигантские успехи нашего дела в области борьбы за раскрепощение женщины, за новую семью, за нового человека. Эти наши достижения признают, впрочем, некоторые люди из лагеря буржуазии. На этот счет весьма любопытно заявление Елены Штекер (известной деятельницы буржуазного женского движения), приводимое Гойхбаргом во введении к своей работе.

Не будем пересказывать книги Гойхбарга. Укажем только, что распадается она на шесть основных частей, в пределах которых автор рассматривает следующий круг вопросов: брак (значение, характер, вступление в брак, обручение, условия вступления), развод (поводы к разводу, последствия развода, раздельное жительство, аннулирование брака. Этой части предпосланы некоторые общие замечания); родство; родители, дети, опеки, и, наконец, советское брачное, семейное и опекунское право.

С особенным интересом, в частности, читаются главы, посвященные буржуазному законодательству о внебрачных детях. Эти главы, как, впрочем, и многие другие, богаты статистическими и фактическими материалами.

Отсылая читателя к этой книге в целом, нам хотелось бы указать только на пару обстоятельств. Первое из них: в то время, как наиболее радикальная часть буржуазной интеллигенции подымает свой голос против крепостничества, которым насквозь проникнуто буржуазное семейное право, в это время международная социал-демократия берет на себя защиту ее основ. Весьма характерны на этот счет факты, приводимые в работе проф. Гойхбарга. Отмечаем только два из них: в 1900 г. введено в действие гражданское уложение в германской империи, статьи которого (относительно положения жены) гласят и поныне. В давно прошедшие времена германская социал-демократия, та, вождями которой были Бебель и Либкнехт, а не Шейдеман и Носке, расценивала это уложение, как кодифицированное бесправие. Спустя 25 лет, 31 декабря 1924 г., «Форвертс», центральный орган германской социал-демократии, в следующих

словах характеризует это уложение: «Первого января минет 25 лет со времени вступления в силу гражданского уложения, великого об'единяющего произведения гражданского права Германской империи».

От немецких соглашателей не отстают французские. В «социалистическом» органе от 11 марта 1925 г. французские соратники Шейдемана так аргументируют против свободы разводов:

«Сторонники нерасторжимости брака правы, когда они возлагают ответственность за целый ряд разводов на самый институт развода. Возможность развода внушает сначала эту мысль, а затем желание супругам, которые, зная, что они связаны на всю жизнь, кое-как приспособились бы один к другому».

Нечего говорить о том, что, будучи у власти, социал-демократы не сделали ничего реального для того, чтобы уравнять женщину на деле, обеспечить права ребенка, словом вырвать остатки средневековья.

Второе обстоятельство. Капиталисты всех стран и их наемные журналисты особенно беспокоятся насчет нашей, советской, нравственности. Они вопят против свободы разводов, «Руль» пишет передовые против половой распущенности в Советском Союзе, ему вторят крупнейшие буржуазные газеты мира. Цифры, приводимые Гойхбаргом, несомненно поучительны. Они бьют капиталистов не в бровь, а в глаз: «В РСФСР в 1921—1923 г.г. число разводов достигло 85.000 в год, а в Северо-Американских Соединенных Штатах при той же приблизительно численности населения число разводов росло следующим образом: в 1900 г. разводов 55.502, в 1905 г.—67.791, в 1906—1915 г.г.—в среднем 112.036 разводов в год, начиная же с войны, число разводов еще более возросло. Во Франции при населении, втрое меньшем, чем в РСФСР, число разводов увеличивалось в чрезвычайной пропорции: в 1884 г. (год введения института развода)—1.657, в 1898—более 8.000, в 1913 г.—более 16.000 и 32.557 в 1921 г.».

Об абортах. По данным Бериса «в одном Нью-Иорке производится ежегодно 80.000 абортов, из которых не более сотни доходит до суда, карающего за аборт. Бывший парижский префект Лепин заявил на национальном конгрессе рождаемости в 1923 г., что во Франции производится ежегодно более 300.000 абортов». В начале этого столетия Фонсегрив отметил, что «в одном Париже обесплодило себя за 1896—1900 г.г. от 30.000 до 40.000 женщин и что во Франции насчитывается полмиллиона обесплодивших себя женщин. И число их бесконечно возросло за последние 20 лет».

Таковы только некоторые данные по части нашей безнравственности и европейской благовоспитанности.

В. Набатов.

А. Матьез. Французская революция. Т. I. «Книга». 1925 г. Стр. 224.

На русском языке начала выходить новая общая работа по истории французской революции, принадлежащая перу крупного французского историка А. Матьеза. Работа рассчитана на три тома. Пока появился первый том, охватывающий эпоху французской революции с первых ее шагов до падения монархии.

Автор новой книги—Матьез—член Лиги Прав Человека—стоит на самом левом фланге французской науки. Будучи крупнейшим знатоком эпохи французской революции, уступающий в знании предмета, может быть одному, Олару, Матьез именно по причине левизны своих убеждений держится «демократическим» французским правительством в захолустном Дижоне...

Совершенно естественно, что работа такого историка должна вызыть значительный к себе интерес и пробуждать в берущем ее в руки итателе известного сорта надежды.

Однако при чтении книги Матьеза на первых порах читатель испытывает известного рода разочарование. В самом деле, первая глава (ризис старого порядка», хотя и написана блестяще и содержит прекрасную характеристику режима и строя предреволюционной Франции, о, несомненно, недостаточна. Так, описанию положения крестьянства Матьез уделяет ровным счетом полстраницы, а положению рабочего ласса—и того меньше.

Положение крестьянства обрисовано Матьезом традиционными, всем накомыми, чертами—десятина, барщина, повинности, право охоты... А де вопрос о принадлежности земельной собственности, о расслоении французской деревни, о зачатках сельско-хозяйственного капитализма, оторые для крестьянина являлись не менее тягостными, чем остатки феодального прошлого?.. Словом, можно подумать, что исследования русских историков: Лучицкого, Ковалевского, Кареева остались совершенно неизвестны нашему историку. То же самое можно сказать о работе профессора Тарле, если касаться положения рабочего класса.

Характеризуя экономический рост буржуазии накануне революции, Матьез говорит: «Не в истощенной стране, а, напротив, в цветущей, полной жизненных сил предстояло разразиться революции. Нищета, вызывающая мятежи, не может породить великих социальных переворотов» (стр. 23).

В таком утверждении Матьеза сказывается несомненное непонимание процесса революции. Разве не тяжелое материальное положение крестьянской и городской рабочей массы, тяжелое положение, обостренное неурожайным годом, сделало возможным обращение этих масс в те революционные кадры, которые именно и решали своим вмешательством столкновение между реакционным правительством и третьим сословием?

В самом деле, учредительное собрание, не имея реальных сил, которое оно могло бы противопоставить вполне реальным силам контр-революции, несомненно было бы ликвидировано, если бы парижская беднота, подхлестываемая материальными затруднениями, не вмешалась в дело и не решила бы спор взятием Бастилии и захватом короля.

Наконец, бедность французского крестьянина настойчиво выдвигала вопрос о внутреннем рынке, вопрос, сыгравший в революционизировании известных слоев третьего сословия весьма крупную роль, вероятно, не меньшую, чем изгнание из ложи матери Барнава или угощение в буфете госпожи Ролан (стр. 24)—факты, о которых наш историк считает долгом упомянуть.

Если наш автор сумел отметить известное расслоение дворянства, не об'ясняя его, правда, экономически, то буржуазию он обрисовал, как выступающую в виде какого-то неделимого целого. А между тем в среде третьего сословия имелись чрезвычайно различные группировки, в том числе имелась группировка, заинтересованная чрезвычайно мало в изменении существовавшего до революции режима. Не указав на это обстоятельство, Матьез оказывается беспомощным в своей характеристике различных фракций учредительного собрания. Согласно Матьеза группу Муни и Лалли, с одной стороны, и группу Дюпора и братьев Ламеттов, с другой, разделяли политические разногласия по вопросу о конституции (стр. 89), а между тем уже у Жореса есть попытка связать взгляды фракций учредительного собрания с определенными экономическими интересами.

Весьма удивительно в устах столь солидного ученого, как Матьез, звучат такие утверждения, которые обнаруживают буквально детскую концепцию событий. Так, говоря о парламентах, наш историк утверждает, что Людовик XVI тем, что «восстановил парламенты..., подготовил гибель своей короны» (стр. 18). Главу вторую Матьез начинает таким заявлением: «Для преодоления наступающего кризиса во главе монархии нужен был король(!)» (стр. 28). Заканчивая характеристику административных реформ первого периода революции, Матьез делает следующее заключение: «Во Франции значительная часть населения ничего не понимала в новых учреждениях. Она воспользовалась своими вольностями только для того, чтобы погубить их... Народный суверенитет облегчал возвращение (феодального режима), ослабляя повсюду авторитет закона» (стр. 132).

Вышеприведенная сентенция помимо своей туманности звучит весьма странно в устах Матьеза — крайнего демократа и члена «Лиги Прав Человека».

Описывая событие 4-го августа, Матьез отдает известную дань традиции и считает поведение депутатов в эту ночь известного рода смелостью. Повидимому, он верит в тот энтузиазм, который якобы охватил собрание....

С другой стороны, мы уже указывали, что даже первая глава книги, содержащая более всего недочетов, написана блестяще. Таковою же является и вся книга. Этим блестящим изложением, конечно, не исчерпываются все достоинства нашей книги. Надо помнить, что она вышла из-под пера историка, обладающего огромной эрудицией, прорабатывавшего в течение многих лет источники и все это, конечно, нашло свое отражение в книге.

Ряд моментов освещен нашим автором великолепно. Взять хотя бы движения буржуазии, которая, выступая против правительства и привилегированных сословий, все время боязливо оглядывалась назад, на низы населения, которых она боялась едва ли не больше, чем врагов справа. Такое поведение ее остается одинаковым и в Париже, и в провинции.

Между прочим, провинциальные движения, обычно оставляемые в тени, великолепно обрисованы Матьезом. Мы видим, как здесь с первых моментов революции создается блок дворян и буржуазии, блок, направленный против выступлений рабочих и крестьян (стр. 71—75).

Весьма правильно охарактеризована Матьезом декларация прав человека. Она для него не является установлением какого-то извечного порядка; Матьез видит в этой декларации лишь утверждение порядка буржуазного—«творение буржуазии, она носит ее черты» (стр. 86).

Зато менее правильную характеристику дает Матьез выработанной учредительным собранием конституции. Хотя он и говорит о ней, как о конституции, отражавшей интересы имущих, но он же утверждает, что конституция эта носила республиканский характер (стр. 123).

С таким утверждением нашего историка едва ли можно согласиться: не говоря уже о монархической форме, конституция учредительного собрания и по существу своему содержала много от монархии; ведь сильная исполнительная власть была элементам, преобладавшим в собрании, необходима, как оплот против низов.

Весьма много внимания уделяет Матьез организации местного управления и суда. Не меньше внимания уделяет наш историк финансовым мероприятиям конституанты. К сожалению, он не дает характеристики ее налоговой политики, которая, обычно, является наиболее показательной в смысле выявления классовых интересов.

Деятельность клуба кордильеров, обычно затмеваемая деятельностью якобинского общества, достаточно освещена нашим автором.

Великолепно изображены им первые вспышки борьбы за максимум, грозные предвестники будущих столкновений. Оказывается, что в борьбе за максимум выступала не только городская беднота, но и беднейшее сельское население (стр. 190).

Достаточно содержательны страницы, посвященные религиозной политике первых двух собраний. Однако, говоря об отказе департаментских властей применять декрет о свободе культа (декрет 7-го мая 1791 года), Матьез ни словом не упоминает о том, что отказ этот очень часто являлся результатом давления со стороны революционных масс, понимавших, что свобода культа дает лишний козырь в руки контр-революции, помогая организации ее сил.

Два слова о личных характеристиках. Горячий почитатель Робеспьера, Матьез, считающий себя продолжателем робеспьеровских традиций, дает весьма низкую личную оценку и Дантона и жирондистов. Для возвеличивания же Робеспьера эпоха, охватываемая первым томом рассматриваемой нами книги, дает еще слишком мало. Поэтому приходится с нетерпением ждать выхода второго тома, который будет затрагивать эпоху с 10 августа по 9-е термидора, т.-е. тот промежуток времени, в течение значительной части которого Робеспьер и его сторонники были центральными фигурами событий...

С. Моносов.

Роза Люксембург. Введение в политическую экономию. Перевод с немецкого. Изд-ство «Прибой». Ленинград 1925 г. Стр. 228.

«Введение» Розы Люксембург, изданное—н чрезвычайно неряшливо— Паулем Леви в 1925 г., -представляет черновик лекций, читанных ею до войны в партийной школе в Берлине.

Работа Люксембург написана с исключительным литературным мастерством и живостью, и, хотя принадлежит к числу популярных работ, дает оригинальную установку ряда проблем, на-ряду с изложением основных проблем теоретической экономии на фоне богатого фактического материала из области экономической истории и предвоенной экономики мирового хозяйства. Книга поэтому несомненно представляет выдающийся интерес для марксиста-экономиста.

Наиболее интересной является методическая и методологическая сторона, и это тем более, что эти последние проблемы в нашей марксистской экономической литературе недавно весьма горячо дискуссировались.

«Введение» разбивается на следующие главы: 1. Что такое политическая экономия. 2—3. Из истории хозяйственных форм. 4. Товарное производство. 5. Закон заработной платы. 6. Тенденции капиталистического общества. Это расположение материала уже указывает нам на некоторую особенность книги Люксембург. Обычное изложение разных «Курсов» и «Введений» политической экономии начинается с какой-нибудь частной проблемы, «простейшей категории», от которой логически развертывается изложение к более общим проблемам. Порядок у Розы Люксембург, как видим, обратный. В своем построении она исходит из общих проблем политической экономии и, переходя к более частным проблемам, уточняет и ограничивает их в дальнейшем. Достоинством такого рода группировки материала в популярной работе является одно: все частные проблемы синтетически увязываются одна с другой в общей системе. При знакомстве с «Введением» не может случиться такого ка-

зуса, что часто бывает с нашими разными «Курсами», когда у читателей получается то или иное представление об отдельных проблемах, но отсутствует увязка этих проблем в единое логическое целое.

Для того, чтобы более наглядно представить метод изложения Розы Люксембург, проследим вкратце ход ее рассуждений.

Свой анализ Р. Люксембург начинает с установки политической экономии в истории развития последней и тех определений, которые даются буржуазной политической экономией. Установив, что политическая экономия занимается явлениями «народного хозяйства»,—она переходит к анализу этого «народного хозяйства». Анализ обнаруживает, что собственно «народного хозяйства» не существует, что это тощая абстракция, а что конкретно оно разными нитями связано с другими такими же «народными хозяйствами», составляет часть целого, является элементом мирового хозяйства. Это мировое хозяйство возникает и развивается на определенной исторической ступени, в определенных социально-экономических условиях. Социально-экономические отношения мирового хозяйства и составляют об'ект изучения политической экономии.

Но каким образом вскрыть социально-экономическую природу явлений, существующих в эпоху мирового хозяйства? Для этого лучше всего сравнить их с аналогичными явлениями предшествующих исторических формаций. И вот Р. Люксембург занимается изучением этих общественных формаций. При этом «задача, которую мы перед собой поставили (при изучении хозяйственных форм. *Н. С.*),—говорит Люксембург,—это доказать, что общество не может существовать без общественного труда, т.-е. труда планомерного и организованного. И во все эпохи мы находим самые разнообразные формы подобного общественного труда. В современном же обществе мы его совершенно не находим...» (стр. 157). Здесь автор «Введения» противопоставил товарному хозяйству другие общественные формации и благодаря этому его особенности перед нами выступают совершенно отчетливо. После этой общей постановки вопроса о товарном хозяйстве Люксембург переходит к анализу отдельных составных элементов этого хозяйства.

Здесь следует подчеркнуть, что, занимаясь изучением хозяйственных форм, Люксембург не считает их составной частью политической экономии, а только трактует их в интересах основной проблемы, в целях выявления характерных особенностей товарного хозяйства.

Второй особенностью метода изложения «Введения» является характеристика основных положений политической экономии на основе конкретных фактов как из истории мирового хозяйства, так и составных его частей—отдельных народных хозяйств. Благодаря этому обстоятельству, книга является чрезвычайно содержательной и живой. Конкретность изложения, конечно, логически сопутствует общей группировке материала, но не обуславливается им, и нам поэтому думается, что в наших популярных пособиях следовало бы обратить больше внимания на это обстоятельство. Между тем весьма часто наши популярные пособия строятся на абстрактно-логическом выведении.

В вопросе о методологии политической экономии, о ее предмете, Роза Люксембург является сторонницей марксистски-ортодоксального взгляда, ограничивающего об'ект этой науки производственными отношениями и законами товарно-капиталистического хозяйства. Отдельные метафорические выражения могут ввести в заблуждение, как бы указывающее на историческую неограниченность политической экономии, но это об'ясняется лишь способом изложения, на который мы указывали выше. Автор «Введения» дает критику такого взгляда, «Нередко,—говорит она,—мы встречаем следующее определение политической экономии: это

«наука о хозяйственных отношениях между людьми». Дающие такую формулировку полагают, что они благополучно обошли подводные камни «народного хозяйства» в море мирового хозяйства, обобщив проблему до полной неопределенности, говоря лишь о хозяйстве «людей» вообще. Но этот прыжок в голубые дали отнюдь не усложняет вопроса, а, наоборот, если это возможно, еще больше запутывает его, ибо теперь возникает вопрос: нужна ли и ради чего какая-то особая наука об условиях экономической жизни «людей», иначе говоря, всех людей, во все времена и во всевозможных условиях?» (стр. 43). И, рассматривая натуральное хозяйство крестьянина, Люксембург говорит: «Самый глупый крестьянин в средние века совершенно точно знал, отчего зависело его «богатство» или, вернее, его бедность, если не считать стихийных явлений, время от времени обрушивавшихся как на господские, так и на крестьянские земли» (стр. 49), так как «все условия такого крестьянского хозяйства так очевидно просты и ясны, что их расчленение с помощью политико-экономического скальпеля кажется праздной игрой» (стр. 45). В этом хозяйстве мы, «по правде говоря, затрудняемся сказать, что в сущности делать политической экономии в поисках и отгадывании таинственных «законов», в этом хозяйстве, где все взаимоотношения, причины и следствия, работа и ее результаты, ясны, как на ладони» (стр. 47).

Другое дело, если мы перейдем к изучению товарного хозяйства. В этой связи Люксембург говорит: «Средневековый помещик мог разбогатеть или обеднеть благодаря хорошему или плохому урожаю; или же он богател, когда, став рыцарем большой дороги и подстерегая проезжих купцов, делал хороший улов; или же—и это было самым надежным и излюбленным средством—он увеличивал свое богатство путем повышения барщины и оброков, выжимая из своих крепостных крестьян больше, нежели до сего времени. Теперь же человек может внезапно разбогатеть или обеднеть без малейшего его участия, не шевельнув даже пальцем, без вмешательства каких-либо стихийных сил природы, и нет нужды, чтобы для этого кто-нибудь его одарил, или он кого-либо ограбил. Колебания цен подобны какому-то таинственному движению, которое, направляемое какой-то невидимой силой за спиной людей, вызывает беспрерывное изменение и колебание в распределении общественного богатства. Эти движения только отмечают, как отмечают температуру на термометре, или атмосферное давление на барометре. И, однако, товарные цены и их движение, очевидно, представляют собой явление чисто общественного порядка и никакого волшебства здесь нет. Люди сами собственными руками приготовили товары и определяли цены на них, но и здесь в результате их деятельности появляется нечто такое, на что никто не рассчитывает и к чему никто не стремился, и здесь опять-таки потребности, цели и результаты хозяйственной деятельности людей находятся в резком несоответствии.

Чем об'яснить это и каковы те таинственные законы,—говорит она дальше,—что за спиной людей приводят их собственную хозяйственную жизнь к столь странным результатам? Об'яснить это возможно лишь через научное исследование. Становится необходимым с помощью напряженного изучения, тщательного продумывания, анализа и сравнения раскрыть все эти загадки, т.-е. обнаружить **скрытые связи**, благодаря которым результаты экономической деятельности людей не согласуются более с их намерениями, с их волей, короче говоря, с их сознанием. Таким образом задачей научного исследования становится **выяснение причин иррациональ-**

мости экономической жизни общества, и здесь мы непосредственно касаемся корней политической экономии» (стр. 53—54. Курсив наш. *Н. С.*).

И поэтому «наука, задачей которой является вскрытие законов анархического капиталистического способа производства, очевидно, может возникнуть не ранее самого этого способа производства, не ранее, чем политические и экономические сдвиги постепенно завершили многовековую работу создания исторических условий для классового господства современной буржуазии» (стр. 57). И действительно, если мы проследим развитие политической экономии, как науки, то мы с достаточной ясностью убедимся в этом. Впервые политическая экономия возникла на заре буржуазного господства, как оружие борьбы против феодализма; меркантилисты, физиократы и классики политической экономии выражают лишь отдельные этапы в развитии политической экономии, которые совершенно точно отражают развитие самой буржуазии и ее борьбу с феодальными остатками. Но если нам ясны те корни, «почему политическая экономия появилась всего лишь полтораста, приблизительно, лет тому назад, то с этой точки зрения нам будут ясны и ее дальнейшие судьбы: раз политическая экономия представляет науку об особых законах капиталистического способа производства, то, очевидно, ее существование и функционирование тесно связаны с бытием последнего, и она теряет свой базис, как только оно прекращается. Иначе говоря: роль политической экономии будет сыграна в тот момент, когда анархическое хозяйство капитализма уступит свое место планомерному экономическому строю, сознательно организованному и управляемому всем трудящимся обществом. Победа современного рабочего класса и осуществление социализма означают тем самым конец политической экономии, как науки. Здесь и завязывается особая связь между политической экономией и классовой борьбой современного пролетариата».

И далее: «Если задачей и предметом политической экономии является об'яснение законов возникновения, развития и распространения капиталистического способа производства, то неизбежен вывод, что в дальнейшей последовательности она должна вскрыть также и законы падения капитализма, который, так же, как и предшествующие формы хозяйства, не вечен, но представляет лишь переходящую историческую фазу, ступень на бесконечной лестнице общественного развития. Учение о развитии капитализма, таким образом, логически переходит в учение о падении капитализма, наука о капиталистическом способе производства превращается в научное обоснование социализма, теоретические орудия господства буржуазии—в оружие революционной классовой борьбы за освобождение пролетариата» (стр. 63). Эти слова Розы Люксембург являются достаточно убедительным доводом правоты того взгляда, одним из наиболее видных защитников которого является тов. Бухарин.

В заключение отметим, что в последних двух главах содержатся неправильные взгляды Розы Люксембург, уже ранее ею развитые в работах «Накопление капитала» и «Анти-критика» и которые в нашей экономической литературе получили обстоятельную критику. Но эти последние главы составляют незначительную часть книги и никоим образом не могут умалить ее ценности.

Н. Саргин.

Редактор: **Редакционная коллегия.**

СООБЩЕНИЯ И ЗАМЕТКИ.

Содержание журнала „Под Знаменем Марксизма“ за 1925 год.

Трибуна.

Библиография.

Н. Ленцнер.—Н. Лукин-Антонов. Очерки по новейшей истории Германии (№ 7, стр. 237).
И. Луппол.—Г. В. Плеханов. Сочинения, том XVII (№ 1—2, стр. 248).
Его же.—Декарт. Рассуждение о методе (№ 4, стр. 230).
Его же.—Н. Ленин. О диалектическом методе (№ 7, стр. 222).
Его же.—Проф. В. И. Бошко. Очерки развития правовой мысли (от Хаммураби до Ленина) (№ 12, стр. 197).

А. Максимов.—А. К. Тимирязев. Естествознание и диалектический материализм (№ 8—9, стр. 302).
Н. Медников.—Политическая экономия. I. «Предмет и метод», сост. проф. Солнцев. 2. «Теория ценности», сост. проф. Н. Плотников (№ 4, стр. 243).
С. Моносов.—А. Пригожин. Бабеф (№ 10—11, стр. 266).
Его же.—А. Матьез. Французская революция, т. I (№ 12, стр. 207).

В. Набатов.—Проф. А. Г. Гойхбарг. Сравнительное семейное право (№ 12, стр. 205).

И. Орлов.—Ф. В. Астон—И. Штарк—В. Коссель. Природа химических сил сродства (№ 5—6, стр. 269).
Его же.—В. К. Фредерикс и А. В. Фридман. Основы теории относительности (№ 7, стр. 232).

В. Позняков.—Karl Menger. Grundsätze der Volkwirtschaftslehre. 2. Aufläge. Wien—Leipzig 1923 (№ 10—11, стр. 270).

Я. Розанов.—Обзор литературы о Сен-Симоне (№ 5—6, стр. 265).
Его же.—Кантианство и марксизм (№ 7, стр. 209).
Его же.—Библиография о Гегеле (№ 8—9, стр. 288; № 10—11, стр. 244).
К. Розенталь.—Мак Леп и коллегия «Плебса». Краткая политическая экономия (№ 3, стр. 262).
Н. Рубинштейн.—Н. Рожков. Русская история в сравнительно-историческом освещении (№ 5—6, стр. 289).

Н. Саргин.—Роза Люксембург. Введение в политическую экономию (№ 12, стр. 210).
Н. Сибирский.—Керженцев. Ленинизм (№ 4, стр. 229).
Его же.—Ленинская хрестоматия, сост. В. Астров (№ 8—9, стр. 317).
Вас. Слепков.—Проф. Н. А. Гредескул. Происхождение и развитие общественной жизни, т. I (№ 3, стр. 252).
Его же.—Морган и Филипченко. Наследуются ли приобретенные признаки (№ 7, стр. 234).
Его же.—Комаров. Ламарк (№ 10—11, стр. 263).
Его же.—Р. Гэтс. Наследственность и евгеника (№ 12, стр. 202).

З. Цейтлин.—Проф. В. В. Савич. Основы поведения человека (№ 1—2, стр. 255).
Его же.—А. Тимирязев. Физика (№ 3, стр. 256).

Ц. Фридлянд.—Конрад Гениш. Фердинанд Лассаль человек и политик (№ 4, стр. 232).

Л. Эвентов.—А. М. Саймонс. Социальные силы в американской истории (№ 1, стр. 245).

Список рецензированных книг.

В. Ф. Асмус.—Диалектический материализм и логика. Очерк развития диалектического метода в новейшей философии от Канта до Ленина. Изд-во «Сорабкоп», Киев 1924 г. (№ 5—Ник. Карев).

Ф. В. Астон.—Н. Штарк—В. Коссель. Природа химических сил сродства Изд. «Земля и Фабрика». Москва—Ленинград. 1926 г. (№ 5—6—И. Орлов) «Betriebsrätezeitung», 1923 г., № 3 (№ 4—Н. Капелюш).
Библиография о Гегеле (№ 8—9 и 10—11—Я. Розанов).

И. Боричевский.—Древняя и современная философия науки в ее предельных понятиях. Часть первая. Первоисточники древней философии науки (Научные письма Эпикура. Госиздат. Москва 1925 г., стр. 123 (№ 7—Гр. Баммель).
Проф. В. И. Бошко.—Очерки развития правовой мысли (от Хаммураби до Ленина). Юрид. изд. Н. К. Ю. УССР. Харьков. 1925 г., стр. 570 (№ 12—И. Луппол).
L. Brentano, v.-Mars, L. Heyde и Ch. Leubuscher, статьи в «Soziale Praxs» 1923, №№ 12—25 (№ 4—Ф. Капелюш).

В. П. Волгин.—Очерки по истории социализма. Гиз. 2-е изд. (№ 1—2—Г. Зайдель).
Его же.—Сен-Симон и сен-симонизм. «Красная Новь», ГПП. Москва 1924 г (№ 1—2—Г. Зайдель).
Его же.—Революционный коммунист XVIII века (Жан Мелье и его «Завещание»). «Красная Новь», ГПП. Москва 1924 г. (№ 1—2—Г. Зайдель).
А. Вышинский.—Очерки по истории коммунизма. Курс лекций. «Красная Новь». 1924 г. (№ 1—2—Г. Зайдель).
Его же.—Очерки по истории коммунизма, ч. II. Гиз. 1925 г. (№ 8—9—Г. Зайдель).

Проф. А. Г. Гойхбарг. Сравнительное семейное право. Юрид. изд. Наркомюста РСФСР. Москва 1925 г. Стр. 231 (№ 12—В. Набатов).
Б. И. Горев.—История социализма, т. 1—Социализм на Западе. Изд. 2-е. исправленное и дополненное. «Новая Москва», 1924 г. (№ 1—2—Г. Зайдель).
Его же.—Очерки исторического материализма. Лекции, читанные на курсах секретарей уездных комитетов РКП весной 1924 г. Изд. «Пролетарий» 1925 г., стр. 235 (№ 1—2—Ник. Карев).
Проф. Н. А. Гредескул.—Происхождение и развитие общественной жизни, т. I. Биологические основы социологии. Коммунизм в биологии. Его роль как фактора эволюции. Изд. «Сеятель». 1925 г. (№ 3—Вас. Слепков).
Конрад Гениш.—Фердинанд Лассаль—человек и политик. Пер. с немецкого. Изд. «Книга». 1925 г. (№ 4—Ц. Фридлянд).
Eduard Neimann. — Mehrwert-und Gemeinwirtschaft. Kritische und positive Beiträge zur Theorie des Sozialismus, Berlin 1922. (№ 4—Ф. Капелюш).
– Sozialisierung (Arch. f. Sozialw u. Sozialp, Band 45). (№ 4 Ф. Капелюш).
H. Herkner.—Статьи в «Arbeitgeber», 1923, №№ 3 и 8 (№ 4—Ф. Капелюш).
П. Гольбах.—Карманный богословский словарь. Пер. под ред. и с предисловием И. Луппола. Изд. «Материалист». Москва 1925 г. (№ 10—11—Ник. Карев).
В. А. Горохов.—Русская секция Первого Интернационала. «Московский Рабочий» 1925 г. (№ 8—9—Г. Зайдель).
Р. Гэтс.—Наследственность и евгеника, под редакцией Ю. А. Филипченко. «Сеятель». 1926 г. (№ 12—В. Слепков).

Ренэ Декарт.—Рассуждение о методе для руководства разума и отыскания истины в науках. Перевод и предисловие Г. Тымянского. «Новая Москва», 1925 г., стр. 113 (№ 4—И. Луппол).
Лестер Джемсон и коллегия «Плебса».—Очерк марксистской психологии. Перев. с 4 английского издания, под ред. и с предисловием проф.

М. Рейснера. Кн-во «Современные Проблемы». М. 1925 г., стр. 226 (№ 7—Ник. Карев).

Густав Кассель.—Lehrbuch der Allgemeinen Volkswirtschaftlehre. Bearbeitet von L. Pohle, Professor der Nationalökonomie in Leipzig. und G. Cassel, Professor der Nationalökonomie in Stockholm. Erste Abteilung: Theoretische Sozialökonomie von G. Gassel. G. F. Wintersche Verlagsbuchhandlung. Zweite Auflage 1921. (№ 5—6—Ф. Капелюш).

Керженцев.—Ленинизм. Введение в изучение ленинизма (№ 4—Н. Сибирский).

Б. М. Козо-Полянский.—Диалектика в биологии. Пробный очерк контакта эволюционной теории и материалистической диалектики. Изд. «Буревестник». Ростов-Дон—Краснодар 1925 г., стр. 93 (№ 3—Б. Завадовский).

Его же.—Дарвинизм или теория естественного отбора. Схема. «Северный Печатник», 1925 г. (№ 12—Ф. Дучинский).

Комаров.—Ламарк. «Биографическая библиотека». Гиз. 1925 г., стр. 143 (№ 10—11—Вас. Слепков).

«Korrespondenzblatt des Allg. Deutschen Geverkschaftsbundes», 1923, №№ 7, 8 и 11 (№ 4—Ф. Капелюш).

Otto Leichter.—Die Wirtschaftsrechnung in der sozialistischen Gesellschaft (Marxstudien, 5 Band, Wien) (№ 4—Ф. Капелюш).

Н. Ленин.—О диалектическом методе, с предисловием и обзором литературы К. Грасиса. Гос. Изд. Украины. Харьков 1925 г. (№ 7—И. Луппол).

Ленинский сборник III. Институт Ленина при ЦК РКП(б), под редакцией Л. Б. Каменева, стр. 586 (№ 4—Ник. Карев).

Ленинская хрестоматия, сост. В. Астров, под редакцией Л. Б. Каменева (№ 8—9—Н. Сибирский).

В. Мак Лен и коллегия «Плебса».—Краткая политическая экономия. Перев. с английского. Изд. под редакцией и с предисловием В. Гурко-Кряжина. Кн-во «Современные Проблемы», Москва 1925 г. (№ 3—К. Розенталь).

Литература о Сен-Симоне на русском языке (к столетию со дня смерти 1825—19 V—1925 г.) (№ 5—6—Я. Розанов).

Н. Лукин-Антонов.—Очерки по новейшей истории Германии (1890—1914 г.). Гиз. 1925 г. (№ 7—Н. Ленцнер).

Роза Люксембург. Введение в политическую экономию. Изд. «Прибой» (№ 12—Н. Саргин).

А. Матьез.—Французская революция, т. I, «Книга», 1925 г. (№ 12—С. Моносов).

Марксизм и кантианство (опыт библиографического указателя) (№ 7—Я. Розанов).

Jak. Marschak.—Wirtschaftrechnung und Gemeinwirtschaft, Wien—Leipzig 1923. (Arch f. Sozialw. u. Sozialp., Band 51 (№ 4—Ф Капелюш).

Karl Menger.—Grundsätze der Volkwirtschaftslehre. 2 Auflage (№ 10—11—В. Позняков).

Ludwig Mises.—Die Gemeinwirtschaft Untersuchungen über den Sozialismus, Jena 1922, 503 Seiten (№ 4—Ф. Капелюш).

Его же.—Die Wirtschaftsreahnung im Sozialistischen Gemeinwesen (Archiv für Sozialwissenschaft und Soziualpolitik, Band 47). (№ 4—Ф. Капелюш).

Его же.—Neue Beiträge zum Problem der Sozialistischen Wirtschaftsrechnung (Arch. f. Sozialw. u. Sozialp. Band 51) (№ 4—Ф. Капелюш).

Морган и Филипченко.—Наследуются ли приобретенные признаки? Изд. «Сеятель», 1925 г. (№ 7 Вас. Слепков).

Проф. Немилов.—Биологическая трагедия женщины. Очерк физиологии женского организма. Изд. «Сеятель». Ленинград 1925 г., стр. 138 (№ 5—6—Б. Завадовский).

Его же.—Как появилась на земле жизнь. Изд. «Образование». Ленинград. 1924 г. (№ 5—6—Б. Завадовский).

Жак Нэжон.—Солдат-безбожник. Пер. с французского О. Румера со вступительной статьей И. Луппола. Изд. «Материалист». Москва 1925 г. (№ 10—11—Ник. Карев).

Г. В. Плеханов.—Сочинения, том XVII. Институт К. Маркса и Фр. Энгельса. Библиотека Научного Социализма, под редакцией Д. Рязанова. Госиздат. М. 1924 г. (№ 1—2—И. Луппол).

Я. А. Пилецкий.—Две теории империализма (марксистская легенда и возврат к Марксу). Кооп. изд. «Пролетарий». Харьков 1924 г., стр. 200. (№ 1—2—И. Капитонов).

Karl Polànyi.—Sozialistische Rechnungslegung (Arch. f. Sozialw. u. Sozialp., Band 49). (№ 4—Ф. Капелюш).

Политическая экономия. Основные проблемы в избранных отрывках.
1. «Предмет и Метод», сост. проф. С. Солнцев.
2. «Теория ценности», сост. проф. И. Плотников.
К-во «Путь к знанию». Ленинград. 1924 г. (№ 4—Н. Медников).

А. Пригожин.—Гракх Бабеф. Изд. Свердловского У-та. Москва 1925 г. (№ 10—11—С. Моносов).

Н. Рожков.—Русская история в сравнительно-историческом освещении (Основы социальной динамики). Изд. «Книга». Том X—1924 г., том XI—1925 г. (№ 5—6—Н. Рубинштейн).

Проф. В. В. Савич.—Основы поведения человека. Изд-во «Прибой», Ленинград 1924 г. (№ 1—2—З. Цейтлин).

А. М. Саймонс.—Социальные силы в американской истории, с приложением статьи И. Амтер «Революционное движение в Северо-Американских Соединенных Штатах». Госиздат (№ 4—Л. Эвентов).

Н. Суханов.—Земельная рента и принципы земельного обложения. Гиз. 1922 г., второе издание (№ 1—2—Я. Берзтыс).

А. Тимирязев.—Физика. Лекции, читанные в Коммунистическом Ун-те имени Я. М. Свердлова, ч. I, 1925 г. (№ 3—З. Цейтлин).

Его же.—Естествознание и диалектический материализм. Сборник статей. Книгоиздательство «Материалист», 1925 г. (№ 8—9—А. Максимов).

Карл Форлендер.—История социалистических идей. Перевод с немецкого Г. П. Федотова. Книгоиздательство «Сеятель» Е. В. Высоцкого. Ленинград 1925 г. (№ 1—2—Г. Зайдель).

В. К. Фредерикс и А. В. Фридман.—Основы теории относительности. Вып. 1. Тензориальное исчисление. Изд. «Academia», Ленинград 1924 г. (№ 7—И. Орлов).

Фридлянд и Слуцкий.—История революционного движения Западной Европы (1789—1914). Хрестоматия. Госиздат. Москва—Ленинград 1925 г., стр. 840 (№ 7—Г. Зайдель).

Генрих Э. Циглер.—Душевный мир животных. Перевод под ред. и с вступительной статьей Н. Н. Ладыгиной-Котс. Стр. 143. Изд. «Земля и Фабрика», 1925 г. (№ 8—9—Б. Завадовский).

ПОПРАВКА.

В статье тов. Б. М. Завадовского «Дарвинизм и ламаркизм и проблема аследования приобретенных признаков» (№ 10—11) выпала произведенная авором разбивка статьи на параграфы. Должно быть: § 1 на стр. 79, со слов Фактическая аргументация...»; § 2 на стр. 82 со слов «Заслуга Вейсмана...»; § 3 а стр. 83 со слов «Еще в молодые годы...»; § 4 на стр. 84 со слов «Начнем с амарксистов...»; § 5 на стр. 86 со слов «Принимаемое мною значение...»; § 6 на тр. 90 со слов «Великий пионер...»; § 7 на стр. 92 со слов «Итак, в чем то ешение...»; § 8 на стр. 94 со слов «Становясь, таким образом...»; § 9 на стр. 96 о слов «Борьба ламаркистов...»; § 10 на стр. 99 со слов «До сих пор мы мели...»; § 11 на стр. 101 со слов «Чтобы сделать понятнее...»; § 12 на стр. 103 о слов «Чем же вызывается...»; § 13 на стр. 104 со слов «Есть лишь один мо-ент...»; § 14 на стр. 106 со слов «Почему марксисты-общественники...»; § 15 на тр. 109 со слов «Чтобы показать всю трудность...»; § 16 на стр. 112 со слов Излюбленным приемом...».

ИЗДАТЕЛЬСТВО „ПРАВДА“ и „БЕДНОТА“.

ИМЕЮТСЯ В ПРОДАЖЕ:

Н. БУХАРИН.

„Международная буржуазия и Карл Каутский—ее апостол“.

СОДЕРЖАНИЕ.

Предисловие.
1) Международное значение Советского Союза.
2) Абсолютизм Романовых и „абсолютизм“ большевиков.
3) Большевистский террор, „социалисты“ и массы.
4) Пролетариат, государство и партия.
5) Советский режим и экономика страны
6) Так называемый „крах коммунизма“ и частный капитал в промышленности.
7) Так называемый „крах коммунизма“ и частный капитал в торговле.
9) Процесс социалистического строительства в целом и его противоречия.
9) Советский союз и капиталистические правительства.
Карл Каутский на службе иностранных капиталистов.
10) Карл Каутский на службе внутренней контрреволюции

4-е издание. Цена 45 коп.

„ЦЕЗАРИЗМ ПОД МАСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ“.

СОДЕРЖАНИЕ.

1) Мировой кризис и всемирный смысл Октябрьской революции.
2) Сменовеховская установка. Экономическое перерождение в СССР.
3) Диалектика экономики. „Термидор“. „Перерождение большевизма“ и классы.
4) Революция и эволюция. Клевета на Ленина. „Философия эпохи“. Фашистский цезаризм.

Ц. 30 коп.

Виктор ВАКСОВ.

СЕМЬ ДНЕЙ, КОТОРЫЕ ПОТРЯСЛИ ЯПОНИЮ.

С предисловием **А. Лозовского.**

Цена 50 коп.

А. БЕЗЫМЕНСКИЙ.

ПУТИ-ДОРОГИ.

ПОЭМА. Ц. 25 коп.

БИБЛИОТЕКА РАБСЕЛЬКОРА:

Бухарин—„О рабкоре“ 25 коп.
Борисов—„Как организовать рабкоров“—30 коп.
Грунт—„Как и о чем писать рабкору“—30 коп.
Зиновьев—„Новый великий почин“—15 коп.
Полецков и Зуев—„Кружок рабк. и стен. газета“—30 коп.
Астров—„ЛЕНИН и Рабочая печать в России“—15 коп.
Борисов—„За правду“—40 коп.
Сосновский—„Дымовка“—30 коп.
Докунин—„Как работать рабкору“—20 коп.
Партия, Рабкор и Селькор—40 коп.
Итоги и перспективы рабселькоровского движения (стенографический отчет 2 Всесоюзного Совещания)—1 р. 50 коп.

Производственно-технич. библиотека „ПРЕДПРИЯТИЕ“.

Наумов—„Уход за нефтяными двигателями“—60 коп.
Сонолов—„Закалка инструментов“—20 к.
Троицкий—„Шихтовка, плавка и уход за вагранкой“—25 коп.
Гуревич—„Как измерять изделия при обработке на станках“—30 коп.
Рыбарж—„Ковка и штамповка“—60 коп.
Рыбарж—„Рецепты для мастеров“—40 коп.
Гуревич—„Как устанавливать на токарный станок изделие и инструмент“.

КУЙБЫШЕВ.
„К вопросу о производительности труда“.
Цена 18 коп.

ЛАПИНСКИЙ.
ГАРАНТИЙНЫЙ ДОГОВОР.
Цена 40 коп.

ЦЕНА НА ВСЕ ИЗДАНИЯ УКАЗАНА С ПЕРЕСЫЛКОЙ.

ЗАКАЗЫ И ДЕНЬГИ СЛЕДУЕТ НАПРАВЛЯТЬ ПО АДРЕСУ:
Москва, Малый Черкасский пер., д. № 3/4.
Издательству газет „ПРАВДА“ и „БЕДНОТА“.

ИЗДАТЕЛЬСТВО

„ПРАВДА" и „БЕДНОТА"

ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1926 г.

	Пдписная плата.							
	На 1 мес.		На 3 мес.		На 6 мес.		На 12 м.	
	Р.	К.	Р.	К.	Р.	К.	Р.	К.
„Правда", центральный орган РКП(б).	1	—	2	85	5	50	10	—
„Беднота", ежедневная крестьянская газета.	—	60	1	75	3	40	6	50
„Комсомольская Правда", ежедневная комсомольская газета. . .	—	75	2	15	4	25	8	25
„Прожектор", двухнедельный литературно-художественный иллюстр. журнал.	—	50	1	40	2	75	5	—
„Предприятие", ежемесячный орган красных директоров.	1	—	2	85	5	50	10	—
„Рабселькор", двухнедельный руководящий орган рабселькоров . . .	—	50	1	40	2	75	5	—
„Большевик", двухнедел. полит.-экономический журнал.	—	60	1	75	3	25	6	—
„Деревенский Коммунист", двухнедельный журнал ЦК РКП(б). . .	—	25	—	75	1	50	3	—
„Под Знаменем Марксизма", ежемесячный философский и полит.-экономический журнал.	1	50	4	25	8	—	15	—

Заказы на все издания „ПРАВДЫ" принимаются в Главной Конторе Изд-ва „ПРАВДА" и „БЕДНОТА".

МОСКВА, Малый Черкасский пер., дом 3/4, а также во всех Отделениях „ПРАВДЫ".

ИЗДАТЕЛЬСТВО

„ПРАВДА“ и „БЕДНОТА“.

ИМЕЕТСЯ В ПРОДАЖЕ

Библиотека „ПРОЖЕКТОРА“.

№ 1. **Всеволод Иванов.** — Рассказы о себе.
№ 2. **Н. Крупская.** — Воспоминания.
№ 3. **Пантелеймон Романов.** — Крепкий народ.
№ 4. **Л. С. Сосновский.** — Советская новь.
№ 5. **Алексей Толстой.** — Голубые города.
№ 6. **С. Зорин.** — Тяжелый год.
№ 7. **Андрей Соболь.** — Рассказ о голубом покое.
№ 8. **А. Воронский.** — Об искусстве.
№ 9. **Ефим Зозуля.** — Лимонада.
№ 10. **Ив. Касаткин.** — Тюли-Люли.
№ 11. **Вл. Лидин.** — Горит земля.
№ 12. **Павел Низовой.** — Среди гор.
№ 13. **Дм. Четверинов.** — Волшебное кольцо.
№ 14. **Павел Сухотин.** — Лисьи норы.
№ 15. **Жюль Ромен.** — Белое вино набережной Ла-Виллетт.
№ 16. **Новиков-Прибой.** — Лишний.

ЦЕНА КАЖДОЙ КНИЖКИ 25 коп., В ПЕРЕПЛЕТЕ 35 коп.

ЦЕНА НА ВСЕ ИЗДАНИЯ УКАЗАНА С ПЕРЕСЫЛКОЙ.

ЗАКАЗЫ И ДЕНЬГИ СЛЕДУЕТ НАПРАВЛЯТЬ ПО АДРЕСУ:

Москва, Малый Черкасский переулок, дом № 3/4,

Издательству газет „ПРАВДА“ и „БЕДНОТА“.

Цена 1 р. 50 к.

Издательство „ПРАВДА“ и „БЕДНОТА“

Москва, М. Черкасский пер., 3/4.

Открыт прием подписки

НА

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ философский и общественно-экономический журнал

„ПОД ЗНАМЕНЕМ МАРКСИЗМА“

Орган воинствующего материализма.

Основная задача журнала—защита ортодоксального диалектического материализма Маркса и Ленина от извращений идеализма и оппортунизма, откуда бы они ни исходили.

Журнал выходит под редакцией А. М. Деборина, Н. А. Карева, В. И. Невского, М. Н. Покровского и И. И. Степанова-Скворцова.

В журнале принимают участие все лучшие силы марксизма и ленинизма, к участию в журнале привлекаются ученые, стоящие на материалистической точке зрения.

В ЖУРНАЛЕ ИМЕЮТСЯ ПОСТОЯННЫЕ ОТДЕЛЫ:

1) Ленин и ленинизм.
2) Актуальные проблемы философии диалектического материализма.
3) Исторический материализм.
4) История материализма.
5) Новое в естествознании.
6) Статьи по вопросам теоретической экономии.
7) История социализма.
8) Вопросы литературы искусства в материалистическом освещении.
9) Трибуна.
10) Отдел переписки с читателями.
11) Библиография.

Журнал рассчитан на активных работников партии, преподавателей и учащихся комвузов, вузов, рабфаков, марксистских кружков и т. п.

НЕПРИНЯТЫЕ РУКОПИСИ НЕ ВОЗВРАЩАЮТСЯ.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: МОСКВА, ТВЕРСКАЯ, 48. ТЕЛ. 4-84-31. Кремлевский [illegible].

Прием по делам редакции от 12 до 2 час.

УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ:

на месяц—1 р. 50 к., на 3 мес.—4 р. 25 к., на 6 мес.—8 р.

Повышение означенных цен кем бы то ни было **ВОСПРЕЩАЕТСЯ.**

Подписную плату надлежит переводить по адресу:

Главная контора „ПРАВДЫ“ и „БЕДНОТЫ“

МОСКВА, М. Черкасский, 3/4.

Подписка принимается также и в отделениях Издательства.

ГУБЕРНСКИЕ ОТДЕЛЕНИЯ „ПРАВДЫ“ и „БЕДНОТЫ“

Ленинград, Проспект 25 Октября, 82. - Харьков, площадь Тевелева, 17.

Артемовск—Площадь Свободы, 15. **Баку**—Улица Зевина, 11. **Воронеж**—Проспект Революции, 31. **Екатеринослав** — Проспект Карла Маркса, уг. Московской. **Киев** — Улица Ленина, 26. **Краснодар** — Красная, 91. **Коломна**—Ул. Ленина. **Луганск**—Улица Ленина, 43. **Н.-Новгород**—Улица Свердлова, 5. **Одесса**—Улица Ленина, 5. **Ростов н/Д**—Улица Энгельса, 61. **Саратов**—Улица Республики, 27/31. **Свердловск**—Улица Малышева, 24. **Смоленск** — Советская, 18. **Сталино** — 1-я Линия, 39. **Таганрог** — Улица Ленина, 23. **Тифлис** — Дворцовая, 6. **Тула** — Площадь Коммунаров, 3. **Ярославль**—Дом Крестьянина.